Лев Копелев

И сотворил себе кумира



ПАМЯТИ
моих родителей, брата,
всех друзей, родных и добрых знакомых,
которых уже нет в живых.

Всем им, вскользь промелькнувшим где-либо
И пропавшим на том берегу,
Всем им, мимо прошедшим, спасибо, –
Перед ними я всеми в долгу.
Борис Пастернак

Лев Копелев

И СОТВОРИЛ СЕБЕ КУМИРА

Ардис / Анн Арбор / 1978

Lev Kopelev
I SOTVORIL SEBE KUMIRA

2901 Heatherway, Ann Arbor, Michigan 48104.

И СОТВОРИЛ СЕБЕ КУМИРА...

Мы дети страшных лет России
Забыть не в силах ничего.
Александр Блок

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Может это истина открылась
Или просто молодость прошла...
Владимир Корнилов

Было время, когда мы говорили о двадцатых годах как о „Золотом веке" Потом нередко золото оказывалось фольгой или „обманкой"

Сегодня мы знаем, что романтические революционные порывы, о которых мы столько раз вспоминали с нежной грустью, у одних выродились в истовое служение палачеству, а других обрекли на каторжные судьбы, на бесславную гибель.

Сегодня мы знаем, как наши тогдашние идеалы и мечты постепенно преобразились в унылое доктринерство или в бесстыдную ложь.

Но *и* сейчас я думаю, что тогда и впрямь жила, жарко дышала молодость. И не только телячья молодость моих ровесников, а *молодость века*. Утро эпохи, которую мы сейчас доживаем.

Были еще молоды надежды миллионов людей, были молоды научные открытия и политические вероучения, сулившие счастье всему человечеству. Были молоды поэты, художники и музыканты, которые возвещали начало новых времен и новых миров.

Мы вслед за Маяковским величали нашу страну „землей молодости". И как веселое заклинание твердили стихи Асеева:

Что же мы, что же мы, неужто размоложены?
Неужто нашей юности конец пришел?
Неужто мы седыми сквозь зубы зацедили?...

Молоды были и другие страны – Польша, Чехословакия, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Югославия, Венгрия – каждая из них была моложе меня. Молоды были республики в Германии, в Австрии, в Турции.

Молоды были и Комсомол и Коминтерн – штаб мировой революции, которой еще предстояло родиться.

И даже наши злейшие враги не были стары: о них писали и говорили „фашистские молодчики".

Сорокалетние родители казались нам старыми, а шестидесятилетние дедки-бабки и вовсе дряхлыми. Они еще помнили царя и революцию 1905 года. А моим ровесникам война с Японией казалась такой же давней историей, как пожар Москвы, восстание декабристов или оборона Севастополя.

Мы не сознавали, как молоды были наши великие современники – Ахматова, Пастернак, Маяковский, Эйзенштейн, Шостакович... И лишь много лет спустя мы начали узнавать о Брехте, Хемингуэе, Фолкнере, Лорке, Неруде, Сент-Экзюпери. Они тоже были молоды в двадцатые годы.

Двадцатитрехлетний Брехт в нищей, голодной Германии писал о грядущих мировых катастрофах, о неминуемой гибели больших городов, от которых останется „только ветер, продувший сквозь них". А четверть столетия спустя, на пороге старости, он славил „рассветы новых начинаний, дыхание ветра с новооткрытых берегов."

Вероятно, это закономерно. Молодость, не сознавая своего счастия, торопится к мудрой зрелости. А в старости острее сознаются утраты и тем дороже былые молодые мечты и молодые силы.

После 1956 года, во время „оттепели", казалось, начали таять и крошиться угрюмые ледники сталинщины и все настойчивее всплывали радужные воспоминания о двадцатых годах, как о поре „настоящей" советской власти.

Старики, которые возвращались после долгих лет тюрем и ссылок, призывали восстанавливать „ленинские принципы", воскрешать романтические идеалы их революционной юности. Они верили, что лишь так восторжествует правда, свобода и „подлинный социализм".

Молодые люди узнавали, как их обманывали учителя,

пропагандисты и литераторы. И верили, что восстановленная правда двадцатых годов поможет им жить разумнее, честнее и смелее, чем прожили незадачливые старики. Эта правда казалась им сродни поэзии Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама, Пастернака, Волошина, прозе Булгакова, Зощенко, Бабеля, Платонова, искусству Петрова-Водкина, Мейерхольда... Эти сокровища национальной культуры, еще недавно запретные и вовсе неведомые большинству молодых, расколдовывались, высвобождались из тайных укрытий в то же самое время, когда реабилитировали, – чаще всего посмертно, – тысячи старых большевиков, тех, кто в двадцатые годы работал, активничал, запевал, верховодил...

Литераторы, художники, режиссеры, артисты радовались, что снимаются запреты и заклятья с наследства двадцатых годов, верили, что возрожденные традиции ослабят цензуру, смягчат казенную идеологическую опеку.

Примерно в то же самое время их коллеги в других странах стали так же настойчиво вспоминать о своих двадцатых годах, о "Roaring Twenties", "Goldene Zwanziger".

Искатели новых путей и послушники очередной моды находили в этих воспоминаниях и мифах, рождаемых ими, неизбытые традиции, неизрасходованные сокровища, несправедливо покинутые идеалы.

Но даже в тех случаях, когда такой ностальгией бывают захвачены молодые люди, я чувствую: это стареющий век тоскует по невозвратной молодости.

„Не календарный, настоящий двадцатый век" (Ахматова) начинался в 1914 году.

Мировая война, революции, мятежи, усобицы были его кровавой купелью. На двадцатые-тридцатые годы пришлись его буйное отрочество и трагическая юность. Тогда еще не были утрачены многие старые надежды, истлели еще не все новые иллюзии; и голоса немногих проницательных современников были почти не слышны в грохоте битв и погромов, в рокотании тревожных, боевых и победных фанфар, в разноголосом галдеже мятежных и ликующих толп...

Запрягайте кони, кони вороныи,
Догоняйте лита мои, лита молодыи.

Мальчишкой, слушая эту песню, я иногда плакал. А с тех пор, как все отчетливей сознаю, что старею, она и печалит и радует. Не запрячь коней. Не догнать лет. Но, если память о молодости еще влечет, еще забирает за живое, значит, живу.

Иногда все же хочется повторить извечно повторяющееся: „Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя." Я стараюсь избегать старческой аберрации восприятия жизни. Впрочем, всем возрастам свойствен *генерационизм,* то есть склонность пристрастно выделять свое поколение, его историческую роль, его добродетели или страдания. Но я внятно чувствую: одряхлели не только мои ровесники, но и век. Холодны его закатные тени.

И суть не в том, что новое „племя младое, незнакомое" по-иному глядит на сегодняшний мир, и не в том, что полвека назад мы совсем иначе видели тогдашний мир. Такие различия естественны.

Но вот мы смотрим на людей, впервые ступающих на Луну, читаем, слушаем о космических полетах, о пересадках сердца, о думающих машинах... И все мы – и молодые и старые – осознаем и ощущаем эти чудеса по-иному, чем некогда люди разных поколений воспринимали полеты Амундсена, Линдберга, Чкалова, Громова, рябое мелькание первых киножурналов, шипение и свист первых радиоприемников, рассказы о конвейерах, об автоматах... Изумление старших, их восторги и страхи, наивные сомнения или дерзкие фантазии заражали или вызывали на споры молодых.

А теперь, хотя мы и не старее, чем тогда были наши деды и родители, но куда более спокойно – даже вовсе равнодушно – воспринимаем несоизмеримо более чудесные чудеса, скорее забываем о них.

Немецкая писательница послевоенного поколения рассказывала в личном письме 12 ноября 1969 года.

> „Чудо высадки на Луне я пережила в деревянном доме, в Австрии, в горах... Мы все таращились на экран, потом некоторые сидели всю ночь, однако я не испытала особого сердцебиения. И вспомнила: моя мать девочкой шла однажды из школы и на дороге встретила красный автомобиль, в котором сидели некие очкастые фигуры в диковинных одеждах. Она решила, что едет сам дьявол и с

криком побежала через поле. А Луна, как мне кажется, была нами воспринята и усвоена еще до высадки. Сидеть всю ночь нужно было для шику. Я говорила с некоторыми из тех, кто не мог обойтись без этого. Нет, настоящим (т.е. личным) событием это для них не было. Просто так. Из честолюбия."

В марте 1977 года я вспомнил об этом письме, потому что мы с женой не могли припомнить, когда же была первая высадка на Луну: в 1972 или в 1973 году. А наши молодые друзья, которые уверяли, что я несправедливо принижаю наше время, говорили: высадка была в 1970 году... Несомненно, многие люди тверже помнят даты недавних великих событий, имена современных героев. (Стыдно признаться, но из имен американских астронавтов я уже могу назвать только Армстронга.) Однако никто из всех молодых людей, которых я спрашивал, не помнил своих первых встреч с телевизором, с самолетом. Для них это повседневный быт. А я никогда не мог забыть, как в первый раз пошел в *синематограф*, как там пахло, как сиял экран. Прекрасное чудо! Годы спустя его стали называть „кино" и это слово сперва казалось мне жаргонно фамильярным.

В часе езды от Киева у железнодорожных переездов крестьяне накрывали головы лошадей мешками, крепче ухватывали под уздцы. Сельские лошади еще шалели, завидя и заслыша поезд.

Осенью 1925 года мой одноклассник, сын преуспевающего врача, вечером, когда родители ушли, показал мне редкостное сокровище. Черная лакированная шкатулка, на ней крохотная металлическая рюмка, с плотно воткнутым свинцовым кристаллом, а рядом на тоненькой стойке короткая проволочная спираль. Он взял с меня клятву молчать, – чудо было запретным – вручил большой наушник, щелкнул рычажком и начал осторожно царапать проволокой по кристаллу... Сквозь шорохи, скрипы, шипенье и свисты внезапно пробилась ниточной струйкой музыка, потом тихий голос... „говорит Москва, радиостанция имени Коминтерна..." Я почувствовал себя героем Жюль Верна или Уэллса.

И почти так же внятно запомнились первый звуковой фильм „Концерт", показанный в Харькове в 1931 году, и первый цветной („Соловей-соловушка" и в тот же вечер „Куккарача" – в 1935), и первый телевизор с экраном не больше открытки,

увиденный весной 1940 года в холле гостиницы „Москва".

В нашем столетии некоторые писатели – Уэллс, Замятин, Орвелл, Хаксли предчувствовали и предсказывали и, видимо, все же надеялись предотвратить вырождение человечества, растлеваемого безудержным научно-техническим прогрессом и разными видами тоталитаризма.

Современные философы, естествоиспытатели и социологи обличают „смертные грехи цивилизации" (Конрад Лоренц), мифологию „машинного века" (Жак Эллюль, Луис Мамфорд), самообманы фанатиков прогресса (Раймон Арон) и вопреки жестоким урокам новейшей истории утверждают „принцип надежды" (Эрнст Блох), идеалы „радикального гуманизма" (Эрих Фромм), призывают обуздать те бесчеловечные губительные силы, которые человеческий разум пробудил и в самоубийственном ослеплении продолжает воспроизводить и наращивать (Андрей Сахаров, Александр Митчерлих, Роберт Ардри, Вольфганг Краус и др.).*

Будут ли наконец услышаны спасительные предостережения, увещания, призывы?

Австрийский писатель Герберт Цанд печально размышлял о неразрешимых противоречиях, возникающих из развития „массового" искусства. „Сегодняшнее общество избирает себе смертных богов, однодневных. Творческий человек создает непреходящее. Исполнитель производит скоропреходящее... Тот, кто стремится к преходящему, уже подсознательно не верит в будущее, осененное атомными грибами, не готовится к будущему. Художник-исполнитель вынужден осваивать прошлое. (У него самого нет будущего, есть только сегодняшняя слава.) Приметы одряхления общества."**

Эти приметы явственны не только в искусстве. *Массовое производство* кинофильмов, механических звукозаписей, репродукций – все виды консервированного, многотиражного, удешевленного искусства ослабляют обаяние того чуда, без которого

* Называю лишь тех, чьи суждения мне представляются особенно значительными и чьи взгляды я, хотя бы частично, разделяю.

** см. Herbert Zand. *Kerne des paradiesischen Apfels.* Wien, 1971, s 124

нет настоящего художественного творения, единственного в своем роде, неповторимого.

Массовое производство технических диковин, изобретений, усовершенствований ослабляет обаяние чудотворной человеческой мысли.

Открытия в макро- и микрокосмосе разрушили те представления об основах реального мира, о времени и пространстве, которые считались незыблемыми с тех пор, как люди стали сознавать эти понятия.

Войны – мировые, гражданские, колониальные, – мятежи и революции разрывали „связи времен" и связи между людьми – родовые, семейные, национальные. А взамен возникали новые – скоропреходящие, но зато далекоохватные, международные связи политиков, ученых, спортсменов, журналистов...

Сотни, тысячи и миллионы разноплеменных странников движутся по земле, пересекают границы и океаны, чтобы найти убежище от бедствий, работу для хлеба насущного или новые досужие развлечения...

Миллиарды газет, журналов, листовок, книг, десятки миллионов телевизоров, киноэкранов, радиоприемников ежеминутно извергают потоки новостей, рекламы, пропаганды... И в этих шумных и мутных потоках отражаются, преломляются, перемешиваются мировые катастрофы и мелочные скандалы, подвиги и злодеяния, блистание недолговечных „звезд" политики, спорта, массового искусства и живой огонь бессмертных светил, изуверские заклинания лжепророков и негромкие уговоры просветителей, болтовня шарлатанов и речи мудрецов, уродливая пошлость и прекрасная поэзия...

Хаос бытия в нашем стесненном и все же необозримом мире, миллиарднократно отраженный хаос, уродует мысли и души, разрушает исторические и нравственные мерила.

И тогда великие события дробятся в мишуру мимолетных сенсаций, а гроздья мыльных пузырей кажутся рождением новых вселенных; балаганы разномастных деспотий воспринимаются как благодатные деяния, а трагедии, разрушающие судьбы народов, толкуются как досадные происшествия; властвующие пигмеи – муссолини, сталины и гитлеры – кажутся великанами, посредственности – гениями, а гении – чудаками, негодяи – героями, а герои – безумцами...

Неужели так будет всегда? Неужели наш век не временный

кризис абсурдно противоречивой, дряхлой, но все еще не издыхающей цивилизации?

Нет, не могу и не хочу поверить, что наступило необратимое вырождение, что навсегда иссякли те родники, которые питали умы и души в давние времена, когда рождались великие религии, а в новые эпохи вдохновляли мыслителей, правдоискателей, художников.

Верю и хочу верить, что нашим внукам еще доведется испытать рассветно знобящую радость новых путей, открытий и начал, что люди новых веков будут знать новые радости, причащаясь тайн вселенной, воспринимая чудеса искусства и поэзии.

...На свете смерти нет.
Бессмертны все. Бессмертно все. Не надо
Бояться смерти ни в семнадцать лет,
Ни в семьдесят. Есть только явь и свет.
Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете.*

Так и я верую. Но кто поможет неверию моему?!

Москва, 1976-1977

* Арсений Тарковский.

Глава первая

БЕЗ ЦАРЯ, НО ЕЩЕ С БОГОМ

Где тот ребенок, что был некогда мною?
Живет ли он еще во мне, или его уже нет?

Пабло Неруда

...сохраню ли я наследство,
Уроки детства, память детства?

Елена Аксельрод

1.

Лето 1917 года. Няня – Полина Максимовна – мама называла ее „бонной" – гуляет со мной и с моим двухлетним братом Саней по Крещатику. Вдруг суматоха. Шум. Няня заталкивает меня в подъезд. По мостовой движется разноголосо орущая толпа. Люди теснятся у края тротуара. Из-под няниного локтя вижу флаги трехцветные и красные. На плечах несут человека, который размахивает руками и что-то кричит. Вокруг говорят: „Керенского понесли." Мне передается испуг няни, но с ним и возбужденное любопытство. Няня любит царя и ненавидит Керенского – „христопродавец, батюшку царя заарестовал... Вот царь вернется, повесят его, а черти в ад унесут." Страшно видеть человека, обреченного на такое. Няня заталкивает меня поглубже в подъезд. На руках у нее толстый Саня. Ей трудно, а я хочу видеть и слышать. Жутко, грешно – и все же неудержимо влечет. Толпа проходит, пестрая, взъерошенная, шумная. Не различаю лиц и голосов...

Няне я верю. Но у дедушки в столовой на стене портрет: носатый, волосы ежиком, френч, как у моего отца. Ничего страшного. Это Керенский. Дедушка говорит: „Он хороший человек;

за свободу, за справедливость.”

Дедушка – несомненный авторитет. Его даже папа слушается. Но прадедушка – отец бабушки, Яков Богданов – самый настоящий герой. У него две георгиевские медали. „На Кавказе воював и в Севастополи.” Он хвастает, что ему скоро сто лет. У него длинная овальная борода, седая, с желтизной, зубы длинные, темноватые. Худое смуглое лицо иссечено морщинами, но ходит прямо, не сутулясь. Он ловко показывает палкой артикул: „На пле-ечо! Ать-два! К но-ги! Ать-два! На крра-ул! Ать-два-тры!” Доблестный прадедушка оказывается ближе к няне.

– Керенський – босяк, лайдак, бесштанный пройдысвит... Я пры пятёх царах жив – пры Александри первом благословенном родывся. Пры Миколи первом на службу взяли, в москали. То строгий цар был. При Александри втором освободителе до дому вернувся... От кто свободу дав. Цар Александр дав, а не цей босяк. Цар дав свободу и мужикам и нам, солдатам. (На площади возле Купеческого сада стоял этот царь, большой, темнобронзовый, с бакенбардами, в длинном сюртуке с пышными эполетами.) И пры царю Александри третим миротворци жив, и при Миколи втором... Той дурковатый царек був, нас, евреев, обижав, японцы его побили и нимци побили, Распутина слухав... А все ж таки цар, значит от Бога. Я еще доживу до шостого цара. От Миколаев брат Михаил – кажуть, геройский будет цар. Вин босяка Керенського выжене, як собаку...

Так первый в моей жизни вождь представал в клубке неразрешимых противоречий. Няня и прадед – против. Дедушка – за. Папа и мама, видимо, согласны с дедом, но не хотят ничего толком говорить: „Подрастешь, узнаешь.”

Потом о Керенском уже никто не вспоминал. Возникали все новые имена – Ленин, Троцкий, гетман, Петлюра, Деникин... Няня твердо держалась царя.

Когда в Киев вошли немцы, на стенах появились плакаты с картинками: царь Николай говорит по телефону с кайзером Вильгельмом, просит помочь ему навести порядок. Этот плакат очень поразил и няню и меня. Мы ведь знали, что кайзер – злейший враг! Совсем недавно она учила меня петь: „Пишет, пишет царь германский, пишет русскому царю: завоюю всю Россию, сам в Москву я жить приду. Ты не бойся, царь наш русский, мы Россию не дадим...”

Но теперь оказывалось все наоборот.

Немцы были явной силой. Много солдат в больших тяжелых касках, огромные пушки, сытые толстые лошади. И все это – за царя.

Няня учила постоянно: царя нужно любить и почитать. Она бережно хранила цветные открытки, вырезки из журналов: царь и царица, порознь и вдвоем или с царевичем Алексеем, с дочерьми. Когда она перебирала эти картинки, то крестила их, всхлипывала, сморкалась, шептала молитвы. Утром и вечером я молился, став на колени в кровати. Няня подсказывала. Я просил у Бога здоровья для папы, мамы, брата Сани, для всех бабушек, дедушек, тетей, дядей и обязательно еще для царя-батюшки, которого надо было называть благоверным. Молились мы с няней тайком от родителей. Она объяснила мне под большим секретом, что они плохой, жидовской веры, что жиды Христа распяли, но я, когда вырасту, могу креститься, стать православным и попасть в рай. Это было соблазнительно. Мы скрывали, что ходим в церковь, что любим царя, что я уже знаю наизусть „Отче наш". Когда мы гуляли, я, вслед за няней, крестился на все купола. Ее иконы Божьей Матери и Николая-угодника висели в углу в детской и к ним-то я обращал все молитвы. Я надеялся, когда вырасту, уговорить родителей креститься и тогда все будет в порядке.

2.

Первый „идейный кризис", первая решительная перемена убеждений была связана с приходом немцев. Раньше их полагалось ненавидеть. Они враги: злые, глупые, трусливые, в касках с острыми пичками. Они удирали от казаков и наших геройских солдатиков. Так было нарисовано в „Ниве"; в Киев они пришли только из-за проклятых изменников большевиков.

Первая неожиданность – каски у немцев оказались без пичков, гладкие, темные, похожие на котлы. Вторая неожиданность – плакат, изображавший дружескую беседу царя и кайзера. И, наконец, выяснилось, что немцы вовсе не злые. Когда наш толстый Саня шлепнулся на скользком тротуаре и заревел, проходивший мимо немецкий солдат весело сказал „гопля", поднял его, ловко пощелкал пальцами и просвистал так звонко,

что Санька мгновенно замолк. А я окончательно убедился, что немцы — хорошие люди и не только за царя, но и за всех нас...

Однажды утром заплаканная Полина Максимовна сказала, что большевики убили царя. Она повела меня в церковь. Там пели торжественно и печально. В толпе стояли и несколько немцев, сняв каски. Я очень старался выдавить слезы, тер кулаком глаза и хныкал, — боялся, что няня обнаружит мое бесчувствие, да и сам стыдился его.

Но все же царь был для меня таким же далеким и неощутимым, как и Керенский; ни картинки, ни восторженные, молитвенные слова няни не придавали ему живой реальности.

До февраля 1917 года мы жили в деревне Бородянка: отец работал земским агрономом. Снежным солнечным утром выбежала соседка, кричавшая: „Ой, лышенько, царя скинули, а Лещинского мужики на базаре порют.” Лещинский — высокий, черноусый, носил длинную саблю и сапоги со шпорами. Он был лесничим. И я со сладким ужасом вообразил — его порют мужики, бородатые, в лохматых шапках и кожухах, порют ремнем, как меня отец, или прутом, как наша кухарка свою дочку Галю... Это было страшнее и поразительнее того, что где-то скинули царя. Откуда скинули? С престола — большого золотого кресла, под золотым двуглавым орлом?

Няня плакала и крестилась. Мама ахала, ломала руки и кричала: „Немедленно в город, в город, на станцию!..”

Мы уехали на станцию за двенадцать верст от деревни и жили там несколько дней в маленькой комнате вчетвером: мама, няня и мы с Саней; потом приехал отец и отвез нас в Киев к маминым родителям. Тогда он и рассказал о событии, которое потрясло меня больше всего.

За несколько дней до крика „царя скинули” ощенилась Милка — папина охотничья собака, шоколадная, с большими молочными пятнами, мягкими, длинными вислыми ушами и добрыми блестящими глазами. Щенята были слепые, крохотные, дрожащие и до слез милые. Я и впрямь ревел, упрашивая маму и няню взять их, когда мы уезжали. Мне говорили, что нельзя, они еще слабенькие, вот подрастут, тогда будешь играть с ними. Первое, что я спросил у отца — „как поживают Милкины детки”, и услышал ужасную весть — они погибли. К отцу зашел его приятель — богатый хуторянин Петр Охримович Добрывечир, а позднее несколько крестьян пришли во двор

и просили кухарку вызвать папу. Мама вскрикнула: „Они хотели тебя убить!" Папа зло: „Дура, они пришли советоваться с агрономом." Но Добрывечир испугался крестьян, побежал прятаться в кладовку и в маленьких сенцах нечаянно затоптал щенков...

...Революция – это скидывание с трона открыточного царя и еще нечто более яркое, но стыдное – голый зад усатого Лещинского, которого порют косматые дядьки, и, наконец, страшное, горестное: растоптанные щенята.

Был май. Мы собирались на дачу. Зимние пальто засыпали нафталином, зашивали в старые простыни и длинные белые коконы висели на стенах квартиры, заставленной корзинами и чемоданами; веселая предотъездная суета длилась два-три дня. Утром одного из этих дней я проснулся от сильного гула. Окно шумно распахнулось, со стены сорвался белый куль – зашитое пальто – и упал на мою кровать. Мама и няня, бледные, быстро одевали нас. Мама кричала – „бежим в подвал". Грохот повторился, задребезжало разбитое стекло. Мы бежали по черной лестнице, в подвале толпилось много людей, горели свечки. Маленькие подвальные оконца затыкали подушками. Пахло сырыми дровами. Какой-то незнакомый бородатый в шинели говорил: „Немцы тикають... На Думской площади уже Антанта с Петлюрой..."

Потом оказалось, что были взорваны пороховые склады. Немцы оставались в городе до поздней осени. Мы жили на даче в Дарнице, в лесу стояли немецкие пушки. Там я наконец увидел офицера в каске с пичком, как на картинках. Он даже приходил к нам на дачу и гулял под руку с маминой младшей сестрой, тетей Тамарой; он позволял мне трогать его саблю, длинную, светлую, с блестящими полосками на ножнах. И сам он был длинный, светлый: блестели очки, пуговицы, серебряные погоны.

Осенью вокруг озабоченно говорили, что немцы уходят и придет Петлюра; это имя звучало все чаще. Моему брату Сане было три с половиной года, он отличался флегматичностью; только начав произносить „р", он старался всюду вставлять полюбившийся звук. Однажды Саня с необычным возбуждением закричал: „Мама, смотрри, там Петррюра пошра. В боршой боршущей шляпе!"

Высокая дама в очень большой круглой шляпе с птичьими перьями и в длинном узком платье шла по тротуару, смешно семеня мелкими шажками. Этот возглас Сани надолго стал одним из семейных анекдотов.

Но я в то время уже знал, что Петлюра это не женщина, а злой атаман. С ним связано страшное слово „погром". Багрово-черное слово. Когда входили петлюровцы мы сидели дома, на улицу нельзя – „будет погром". Из окна я видел колонны солдат в серовато-синих шинелях, похожих на немецкие, и в серых папахах или касках, как половинки дыни, но с рубчатыми гребешками, – такие носили французские солдаты на картинках „Нивы". Прошло несколько дней, мы опять стали гулять. Конница петлюровцев остановилась у скверика. У них тоже были большие пушки. А пели они „Ой, на гори тай женци жнуть" и „Стоить гора высокая" – те же песни, что пела моя первая няня Хима, веселая, голосистая, и мой отец, когда бывал хорошо настроен.

3.

Первые зримые представления о вождях большевиков, о Ленине и Троцком, – карикатуры в газетах, – при немцах и при белых. Больше других запомнилась одна: Ленин-карлик в кепке, скуластый, с куцей бородкой, брюки винтом; рядом Троцкий в больших очках на крючковатом носу, мятый картуз на курчавой шевелюре, тощие кривые ноги в сапогах. Перед ними шеренга оборванцев с дурацкими лицами. Няня говорила про них: „антихристы, цареубийцы." Оба эти имени – Ленин, Троцкий – тогда произносили вместе. Они проникли в мою ребячью жизнь одновременно с грозными шумами войны, были связаны с ее непонятными силами, пугающими, таинственными и влекущими.

Далекие глухие пушечные гулы; все вокруг напряжены, встревожены, что-то будет. Потом близко грохочущие раскаты. Мать кричит: „Уведите детей в ванную." Ванная без окон считалась самым безопасным местом в квартире. Но и там иногда слышны резкие щелчки – выстрелы – частый-частый треск, будто огромная швейная машинка. Это – пулемет. Соседи с верхних этажей приходили к нам; мы жили в бель-этаже. Ниже

был только „Синематограф" и никто не жил. Вечерами соседи и мои родители играли в лото, в преферанс, пели. У нас было пианино. Об отце говорили – „хороший баритон." Чаще всего он пел „Гори, гори, моя звезда", „В этом городе шумном, где вы жили ребенком", „Свидетель жизни неудачной, ты ненавистна мне, луна"... Хором пели „Из страны, страны далекой", „Быстры, как волны", „Мой отец Тихий Дон, мать моя Россия".

Песни были грустными и казались прекрасными. Свербило в носу от теплых слез. Если стреляли далеко, окна в детской закрывали подушками, а нас с братом укладывали. Но через двери слышалось пение, смех, разговоры. Застревали слова: „наступают... отступают... большевики... гетман... немцы... Петлюра... Антанта... Ленин... Троцкий... Деникин... красные... белые... большевики... гайдамаки... наступают... отступают... погром... голод... расстрелы... Чека... контрразведка... паек... обыски..."

Тогда было много таких зловещих пугающих словосочетаний. „Большевики говорят: „Грабь награбленное," – и реквизируют все." „Заложников они расстреливают." „Кто интеллигент, для них контрреволюционер, и к стенке"...

В нашем доме на Дмитриевской улице 37 я не помню сторонников советской власти. В одной квартире с нами жила домовладелица – старая немка мадам Шмидт, – она же владела и синематографом. Она ходила медленно – толстая, широкая книзу; на пухлых плечах торчала совсем маленькая круглая голова с темным, складчатым, бородавчатым лицом, а сзади кукишем – серый узелок. Она оставила себе одну комнату. Я слышал, как мама говорила: „Шмидтиха специально уплотнилась евреями, чтобы красные не национализировали." Но с хозяйкой мама разговаривала чужим сладким голосом, улыбалась и покрикивала на меня: „Скажи „гут морген", шаркни ножкой."

Няня Полина Максимовна ушла от нас в конце 18-го года, еще при немцах, кажется, именно потому, что мать заметила мою православную набожность.

Но добрые отношения с Полиной Максимовной сохранились. Она осталась жить в том же доме у сестры, кассирши синематографа, помогала ей: заменяла в кассе, проверяла билеты. Она иногда пропускала меня в темный, магнитно притягивающий зал. Там пахло остро и приторно особым синематографическим

запахом, похожим немного на аптечный и на кондитерский, но больше всего – на самого себя, на запах именно этого чудесного, огромного зала: 12 стульев в ряд и целых 10 рядов.

На бренчащем пианино играла сестра Полины Максимовны громко, быстро и весело. Это казалось мне более высоким мастерством, чем тихая, медленная и чаще всего печальная игра соседок на нашем пианино. Когда я просил у них веселое, как в синематографе, то они наигрывали чижика-пыжика или „зеленую крокодилу". Это было явно пренебрежительно и оскорбляло человека, который уже сам прочитал толстенного „Робинзона Крузо" и знал наизусть не какие-нибудь детские стишки „Пряник шоколадный в голубом кафтане", а даже Пушкина „Как ныне сбирается вещий Олег..." и „Шестой уж год я царствую спокойно".

В синематографе я смотрел похождения Глупышкина, веселые мультипликации и какие-то непонятные фильмы, в которых показывали Веру Холодную, бледную, с большими темными глазами, в огромных шляпах и длинных-длинных платьях. Она заламывала руки, плакала большими холодными слезами, рядом в зале тоже плакали женщины, я не понимал почему и терпеливо ждал следующего сеанса, который начинал весельчак Глупышкин.

4.

В Киеве часто сменялись власти. Каждый раз была стрельба и тогда соседи приходили к нам играть в лото, в преферанс и петь.

Пока меня не загоняли в постель, я вертелся среди взрослых, разносил фишки для лото и даже удостаивался чести выкликать номера. Я уже знал все цифры, и мама этим очень гордилась.

На смену Полине Максимовне пришла немецкая „фроляйн" Елена Францевна. Высокая, узколицая и светловолосая, неулыбчивая, но справедливая. У нее не было икон, она читала маленькую библию, иногда вслух тихим голосом. Она тоже говорила про Христа, но ее Христос не требовал, чтобы я крестился. Более того, оказывается, и он сам, и его ученики тоже были евреями, хорошими, как мы, а распяли его другие евреи, злые, как Троц-

кий и большевики, которые против Христа. А он учил прощать обиды, жалеть и любить не только друзей, но и врагов. Это было совсем необычно и прекрасно.

Мама любила хвастать моими „поразительными" способностями. Когда приходили гости, в канонадные вечера меня заставляли декламировать. Такое выставление напоказ было противным. Я упирался и получал оплеухи. Должно быть, поэтому я с тех пор раз и навсегда забыл и стихи о прянике и монолог Бориса Годунова. Захлопнулась в памяти какая-то задвижка. Однажды вместо декламации я стал говорить о том, что Христос велел любить врагов и жалеть их. И я жалею Ленина и Троцкого. Жалею, потому что их никто не любит.

Отец скривил рот и ударил меня злее, сильнее, чем всегда, по одной щеке, по другой, больно ткнул в лоб: „Идиот... мерзавец."

Мама закричала: „Он же ребенок, он не знает, что говорит."

Я старался не реветь. Бубнил: „Так Христос говорил. Он тоже еврей. Христос говорил: надо жалеть врагов."

Кто-то из соседей успокаивал отца: „Ребенок... дитя... Его лаской надо..." Мать уволокла меня в детскую, шептала: „Не говори так. Не говори так. Ты хочешь, чтобы мамочку и папочку убили? Не говори так. Нас всех убьют."

Кажется, это было мое первое политическое выступление. Столь же мало удачное, как и все последующие.

Некоторое время я упрямо старался убедить себя, что действительно жалею Ленина и Троцкого. Но они были для меня такими же бесплотными и придуманными, как нянин открыточный царь.

5.

У нас в семье о большевиках говорили: „бандиты, грабители." Помню несколько обысков – „изъятия излишков". Парень в кожаной куртке и высоких сапогах забрал отцовское охотничье ружье, женщина в красном платочке и шинели связывала в узел постельное белье, салфетки. Наутро мама хвасталась соседям, что успела спрятать за корсетом серебряные ложки. Слово „Чека" произносилось испуганным шепотом... На втором этаже, прямо над нами, жил важный старик. Его называли

„прокурор". Высокий, толстый, с короткой раздвоенной седой бородой. И жена у него была важная, полная. А дочь все называли „красавица". С тех пор еще много лет, услышав слово „красавица", я видел именно ее – высокая, белолицая, золотистая коса венком вокруг головы, большие сероголубые глаза и маленький, красным сердечком, рот. Когда стреляли, прокурор с женой и дочерью приходили к нам. Он уговаривал отца быть председателем домкома. Прокурора забрали в Чека заложником и расстреляли. Когда пришли белые, мама ходила с женой и дочерью прокурора искать его тело. Мама, возвращаясь, долго плакала. Многих расстрелянных не успели похоронить. В синематографе показывали фильм „Зверства Чека". Меня не пускали, но в витрине были снимки: трупы лежали на лестницах, на тротуаре. Я не понимал, что значит „заложник", но это слово неизбежно влекло за собой ощущение тоскливого ужаса, как и слова „расстрел", „зверства".

Белые тоже оказались страшны. В первый же день, когда они вошли в город, они арестовали моих родителей. Огромный краснолицый казак с маленькими желтыми закрученными усиками и широченными красными лампасами грубо отпихнул меня ногой. От него воняло по́том и кожей. Я залез под кровать. Потом Елена Францевна увела меня и Саню наверх, где жила приятельница мамы. Ее называли баронессой. Она, вдова прокурора и еще кто-то из соседей пошли выручать арестованных. А я ревел и твердил, что белые хуже большевиков, хуже Петлюры. Наутро вернулись родители. Потом я много раз слушал мамины рассказы о том, как на улицах толпа „разрывала" каждого, о ком скажут „комиссар" или „чекист", как на вокзале сотни арестованных сидели без воды, без пищи и одного за другим уводили расстреливать.

При белых то и дело угрожающе говорили о погромах. На два дня в город опять ворвались красные. Тогда мы ушли на другую улицу к знакомым баронессы, и она ушла с нами. Все вместе мы сидели в подвале. Уходить с Дмитриевской нужно было потому, что ждали погрома. Мама говорила мне: „Если спросят откуда, то скажи – с Кавказа. Если узнают, что мы евреи – убьют." Она шептала исступленно, задыхаясь, и глаза ее становились страшными.

В подвале собралось много людей, неудобно было спать на узлах и тюках. Снаружи доносилась стрельба, отдельные вы-

стрелы, трескотня пулеметов. В последнее утро вошли напиться двое солдат в шинелях с красными погонами. Один постарше, с бородой, другой молоденький. Они говорили: „Краснопузых погнали за Десну. Это жиды их пустили. Жиды нам в спину стреляли."

Мать сжала мне руку так сильно, что потом долго оставался синяк на запястье.

В этот день мы вернулись домой. На улице кучками стояли солдаты с красными погонами и несколько телег. На одной лежал убитый, укрытый с головой шинелью. Торчали ноги в больших ботинках с блестящими подковами. Это был первый мертвец в моей жизни.

Муж баронессы – офицер – приходил к нам в гости и пел вместе с отцом романсы. Высокий, узколицый, с очень гладкими блестящими волосами. Золотистая шелковая косоворотка с вшитыми черно-красными погонами, была перетянута черным поясом с серебряными бляшками; сзади – маленькая замшевая кобура. Он сердито говорил, а мама потом по секрету повторяла его слова другим соседям: „Мы не можем победить. Белое движение гибнет. У красных железная организация. Коммуна – это сила. А у нас хаос, разгильдяйство."

Слушавшие ахали. Мама и другие женщины заламывали руки. Я понимал, что они „представляются". И наперебой говорили: „Погибла Россия... Мы все погибнем... Неужели Антанта допустит?"

Когда я слышал слово „коммуна", то почему-то виделось пустое поле и большой столб с надписью „Коммуна"... „Белое движение" – идут солдаты в белых рубахах и всадники в белых черкесках на белых лошадях... „Железная организация красных" – много железных лестниц, таких, как у нас на заднем дворе, – в мороз они были жгуче холодными, пальцы прилипали. А на лестницах пушки, пулеметы, люди в красных рубашках... „Антанта" звучала как женское имя; но гулкое оранжевое слово напоминало еще о духовом оркестре – сверкающих трубах, треске барабанов, пронзительных тарелках... Антанта была огромна и могуча, но очень далека. А красные где-то близко. О них упоминали все чаще и всегда со страхом. Раньше ждали белых, но с тех пор, как они пришли, у нас в семье их боялись... „Контрразведка" – это звучало так же зловеще, как „Чека". Папиных сестер тетю Лизу и тетю Роню забрала контрразведка

и мама плакала по-настоящему, хотя она этих теток не любила, попрекала отца тем, что Лиза крещеная, а Роня – грубиянка, и обе они большевички.

Поздней осенью мы переехали на другую квартиру, в другой район, на Рейтерскую улицу. Из старого дома к нам иногда приходили только худая баронесса с мужем и вдова прокурора. Потом они пришли прощаться, белые отступали. Женщины плакали и целовались. Вдова прокурора спросила маму:

– Вы не будете возражать, если я благословлю ваших детей?..

Мама отвечала очень вежливо, но я-то слышал – „нарочным”, не своим голосом:

– Что вы, что вы, ведь Бог один.

Прокурорша перекрестила меня и Саню, поцеловала нас, приговаривая: „Христос с вами, Христос с вами.”

Когда они ушли, мама бросилась целовать нас и что-то бормотать по-еврейски. Отец смеялся.

Ни белые, ни красные, ни Петлюра не вызывали у меня симпатии. Только однажды понравился „настоящий генерал”: сиреневая шинель, малиновая подкладка и погоны золотые с зигзагами. Он выходил из дома с колоннами, с карниза свисал большой трехцветный флаг. Часовой во французской каске „с гребешком” выпятил грудь и лихо отмахнул в сторону винтовку напряженно вытянутой рукой. Генерал приложил ладонь к фуражке с красным околышем и сел в автомобиль. Дверцу перед ним распахнул усач в черкеске, с кинжалом; щелкнул каблуками и тоненько зазвенели шпоры. Шофер был в кожаной фуражке с большими прямоугольными очками, в кожаной куртке. Автомобиль зафыркал, зарычал, стреляя сзади синими тучками, и запах от него был острый, пекучий, неведомый. Генерал уехал, козыряя ладонью с небрежно растопыренными пальцами.

Это было великолепно, однако мимолетно. А настоящие белые, те, что каждый день, – это казак, уводивший родителей, это страх погрома и тоскливые речи мужа баронессы...

Так в ту пору у меня, восьмилетнего, еще не было ни политических убеждений, ни вождей, ни героев. Был только Бог, добрый лютеранский Бог Елены Францевны.

6.

Зимой пришли красные, Наша новая квартира была четырехкомнатная. И вскоре нас „уплотнили”.

Одну комнату занял высокий рыжий скуластый латыш в скрипучей кожаной куртке, необычайных сапогах, зашнурованных, как ботики, до самых колен. Он носил огромный пистолет в деревянной коробке. Он редко бывал дома. Мама и Елена Францевна говорили о нем: „чекист”. Говорили со страхом и неприязнью. Но мама упрашивала его сладким голосом:

– Това-арищ, умоляю вас, неужели нельзя входить в дом без этого ружья. У нас дети... вдруг оно выстрелит. Я с ума сойду. Дети могут заболеть.

Он отвечал коротко и смеялся коротко, негромко:

– Ха-ха... Не ружье... Не стреляет... Можно показать.

Мама вскрикивала.

– Умоляю вас, товарищ! Умоляю, не надо. Ради детей.

Он смеялся негромко:

– Ха-ха. Не надо, так не надо.

Его комната всегда была открытой, но меня в нее не пускали.

– Не смей туда ни ногой. Елена Францевна, не подпускайте детей даже к двери. Зараза! Тиф! Он из Чека любую заразу носит. У него и на столе, и на постели газеты, брошюры. Грязная мерзость, прошли всякие руки... А на стене прикнопил своих святителей: Ленина, Троцкого – ихние иконы.

Разумеется, я то и дело норовил сунуть нос в запретную комнату. Оттуда пахло по-другому, чем в любом месте нашей квартиры, – кожей, холодным горьким дымом, совсем не таким, как от отцовских папирос. И еще был особый чужой запах – кисловатый, похожий на то, как пахли газеты и афиши, которыми обклеивали круглую тумбу на перекрестке. На стенке в аккуратных бумажных рамках два вырезанных из газеты рисунка. Лысый, прищуренный, с короткой светлой бородкой и темноволосый в очках, горбоносый, с черной бородкой и высокомерно выпяченной нижней губой.

...Рыжий латыш-чекист уехал.

Опять стреляли. Наступали поляки. Мы жили на третьем этаже и теперь уже мы уходили вниз. В первом этаже жила большая семья. Я слышал, как мама говорила о них презрительно: „Настоящие местечковые жидки; моются, наверно, только раз в неделю."

Там был мальчик – Сеня, моложе меня на год. Тихий, задумчивый, он сутулился, втягивая голову в плечи, и совершенно не умел врать.

А я к тому времени уже знал цену родительским наставлениям: „Никогда не лги! Никогда не говори неправду!" Но сами-то они только что наверху смеялись над матерью Сени: „Остригла патлы, нацепила пенсне и думает, что она уже курсистка-интеллигентка и, конечно, большевичка." А через несколько минут ей же мама говорила, как вареньем мазала:

– Ах, дорогая моя, вы представить себе не можете, как я счастлива, что мы живем в этом доме, с вами, с интеллигентной еврейской семьей и такой советской. Там, на Дмитриевской, весь дом – сплошные белогвардейцы и петлюровцы. Мы дрожали за жизнь каждый день. Клянусь вам здоровьем детей, я Леленьку учила говорить, что мы с Кавказа; сама учила ребенка в таком возрасте говорить неправду. Это сплошной кошмар.

Иногда, слушая мать, я начинал ей верить. Ведь в ее словах всегда что-то было правдой. Но сам я в ту пору врал много и вдохновенно. Когда мы жили на Дмитриевской и Елена Францевна водила нас с Саней гулять в ближний сквер, я рассказывал ребятам, что мой папа – испанский министр, что мы бежали от испанской революции и что я сам с балкона видел, как рубили головы. Почему именно испанская революция – не помню. В новом доме я рассказывал более правдоподобно об уличных боях, которые якобы самолично наблюдал на Дмитриевской. Особенно разработан был эпизод, как у солдата вывалились из живота синие кишки. Об этих синих кишках я рассказывал еще годы спустя, уснащал великолепными подробностями те события, которые действительно видел, как белые арестовали моих родителей, как мы два дня сидели в подвале. Я уверял, что наш рыжий квартирант – главный чекист у Троцкого и каждую ночь расстреливает десятки людей.

Сеня верил всему. А второй мой друг Сережа с четвертого этажа верил мне из солидарности. Он был крепок, лобаст, корот-

ко стрижен, хорошо боролся и сам умел порассказать замечательные вещи. Его отец, офицер и георгиевский кавалер, погиб еще на германской войне. Мать – молчаливая невысокая женщина, работала машинисткой. Сережа был самостоятельнее всех нас. Он сам ходил за покупками, разогревал себе обед. Мне иногда разрешалось ему помогать. В их квартире в шкафу хранилась отцовская уланская каска с квадратной нашлепкой, – еще с японской войны, – настоящая сабля и настоящее кавалерийское седло. Он научил меня новым словам, грандиозным и героическим: эфес, темляк, чепрак, седловка... Сережа рассказывал, как его отец одним ударом сабли рассекал немца от плеча до пояса. На стене висел портрет отца – настоящий герой: гордый взгляд, тонкие усики, широкая грудь с белым крестиком.

Но рассказчик не забывал и себя. Он ездил к отцу на фронт и сам стрелял; не из винтовки, конечно, ведь мал был, а из пулемета, – его поднимать не надо, только целься и нажимай. Этому верилось с трудом, но ведь Сережа по-дружески верил в то, что я под пулеметным огнем бегал по Дмитриевской улице и что у меня на глазах, в десяти шагах, – ну вот, как эта стенка, – из солдата вываливались кишки... Было просто нечестным сомневаться в том, что рассказывал он.

А доверчивый Сеня, изумляясь, верил нам обоим. У него самого был только один сбивчивый рассказ о том, как его папа дружил со студентом, у которого брат в черной косоворотке делал бомбы, а папа тоже носил черную косоворотку, и мама его называла „горьковский босяк", а жандармы его арестовали, думали, что это он делал бомбы, и держали в участке и в тюрьме целую неделю и еще один день...

Сеня был за советскую власть. Он говорил, что Ленин и Троцкий великие вожди, что есть еще Буденный, Щорс, Котовский и Пятаков – они тоже вожди, хотя и поменьше. Но мы с Сережей твердо знали, что великими были Александр Македонский, царь Петр, Суворов и Наполеон; уж это бесспорно. Сережа называл великой еще и царицу Екатерину. Я возражал: женщина, не участвовавшая ни в одном сражении, не может считаться великой, и противопоставлял ей „старого Фрица", самого замечательного из немецких королей. Сережа не соглашался: ведь Екатерине подчинялся даже Суворов, а Фридрих воевал против России и был побит.

Екатерина и Фридрих оставались спорными. Но с величьем каких-то там живых „вождей", мы оба не могли согласиться. Сеня спорить не умел, начинал заикаться, обиженно супился и ссылался главным образом на авторитет тети Ривы, которая была членом партии и работала в Губкомпрофе. У моего отца в шкафу стояли 82 тома, темнозеленых с позолотой – энциклопедия Брокгауза и Ефрона. В них были и Петр, и Фридрих, но не было ни Ленина, ни Троцкого, ни других Сениных вождей. Он после консультации у тети торжественно объявил, что это старорежимные книги. Однако нас это не поколебало. Великолепные книги с картинками, картами, флагами и гербами всех государств, рассказывающие про все страны, города и реки, про всех царей и писателей, заслуживали, конечно, больше доверия, чем любая тетя.

7.

Польские войска недолго занимали Киев. Мальчишек поразил грандиозный парад. Маршировали колонны одинаково обмундированных серо-лиловых солдат. Они согласно топали под музыку, высоко задирая ноги. Рысила кавалерия. В каждом эскадроне были совершенно одинаковые лошади: в одном все вороные, в другом – рыжие, в третьем – пегие с одинаковыми чулками и звездами. Солдаты кричали дружно, громко и непривычно, вместо „ура" – „виват".

Шатаясь по улицам, я то и дело спрашивал польских солдат в квадратных фуражках, которых называли познанцами, по-немецки „который час?" Некоторые весело отвечали и заговаривали: „Сколько тебе лет? Где мама? Есть ли сестры, братья?"

Такими беседами я хвастался перед Сережей, но он их осуждал. Он был против поляков и против немецкого языка, учил французский и говорил, что ненавидит немцев, потому что они убили его отца. Когда мы ссорились, я попрекал его тем, что французы сожгли Москву и убили Нахимова, а вот Петр любил немцев, и Екатерина сама была немкой. Иногда мы дрались, – он за французов, я за немцев.

Сеня в этих ссорах не участвовал и вообще никогда не дрался. Он учил древнееврейский и рассказывал о подвигах Самсона, Маккавеев и Бар Кохбы, который воевал вместе со

своим ручным львом. Но это было похоже на сказки, а бронзовые Наполеоны, скрестив руки, стояли на письменных столах в Сережиной и в нашей квартире. И у Сережи и у нас были огромные позолоченные книги „Отечественная война 1812 г." со множеством иллюстраций. А про Нахимова рассказывал мой прадед, непререкаемо убежденный, что „як бы нэ убыли Нахимова, то мы бы всих тих хранцузов, английцив и турков покыдалы в Чорне море. Нахимов був такий герой, такий мудрый адмирал, шо його сам цар Микола уважав и слухав. А як Нахимова убыли, то Меньшиков-Изменщиков отдав Севастополь хранцузам и английцам."

Великих людей было много, но они все оставались в прошлом, в бронзе, на цветных картинках под папиросной бумагой.

Отступали поляки и опять была канонада. Мы сидели в квартире внизу, точь-в-точь такой же по расположению комнат, как наша. Но у родителей Сени не было ни пианино, ни зеленовато-красного ковра, ни книжного шкафа с Брокгаузом и Ефроном, ни большого письменного стола под зеленым сукном с бронзовым Наполеоном, с огромными чернильницами. У них все было серое, все меньше и везде пахло кислым. Младший брат Сени только начинал ходить и в разных местах сушились его пеленки. Мама потом говорила: „Пролетарская квартира! Ужас, в какой грязи они живут."

Сережа с матерью во время обстрела уходил в подвал к дворнику. И мама говорила: „Эта офицерша – антисемитка, перед нами нос дерет. Тоже мне барыня, стучит на машинке и папиросы курит."

Когда польские войска отступали, в нашу квартиру ворвалось несколько мародеров. Елена Францевна увела меня и брата в детскую; она обнимала нас и молилась по-немецки. Из комнаты родителей слышался громкий, рыдающий голос мамы:

– Чтоб мои дети так жили, клянусь вам, это все, что мы имеем. Вот эти ложечки – настоящее серебро. Часы золотые, клянусь вам жизнью и здоровьем. Возьмите все, но пожалейте детей. У вас же тоже матери есть. И может быть, дети есть. Или будут, чтоб они вам были здоровы. Заклинаю вас жизнью ваших родителей и ваших детей...

Потом она рассказывала, что спасла жизнь отцу. Мародеры – не то поляки, не то петлюровцы, не то просто бандиты, – хотели

его расстрелять тут же в комнате и почему-то именно у зеркального шкафа. Требовали золото.

Два дня слышалась канонада, мы уходили вниз или отсиживались в ванной.

Приход красной армии в этот раз воспринимался как радостное событие. Польская оккупация, несмотря на великолепный парад, не нравилась никому из жильцов нашего дома. Почти ежедневно рассказывали страшные истории о том, как польские солдаты побили молодых людей в сквере и увели их барышню, как они били сапогами лодочника на Днепре, потому что не хотели платить за перевоз. В последние дни рассказывали о том, что они жгут Печерскую лавру, подожгли кирху на Лютеранской и синагогу на Мало-Васильковской, поставили пулеметы и не пускают тушить. Кирха действительно сгорела, но от попадания снаряда. Лавра и синагога остались невредимы. Однако об этих мнимых польских поджогах в Киеве можно было услышать рассказы еще и десять лет спустя.

К нам в квартиру вошли первые красные – двое: командир и боец; постучали и попросили напиться. И мама приветствовала их впрямь искренне, горячо, я слышал „настоящий голос", хотя она и слишком часто и громко повторяла „товарищ, товарищи".

Командир был молодой, в длинной серой шинели, обтянутый портупеями. А красноармеец – в куртке и папахе. Оба звенели шпорами, скрипели ремнями, у них были длинные сабли. Мама усадила их к столу, налила борща. Отец угощал их папиросами. Нас с братом выгнали в детскую. Но я все же вернулся потихоньку; таращился на храбрецов, только что победивших такую мощную, такую нарядную польскую армию, и старался услышать, что они говорят.

Мама потом часто повторяла: „Вот что значит равенство, офицер и солдат сидят за одним столом. Этот красный офицер – вполне интеллигентный человек. Сын врача, кончил гимназию. Солдат, конечно, из простых, но смотрит на него и уже тоже умеет вилку держать, говорит „пожалуйста", „спасибо". Только чавкает еще..."

Молодой командир несколько раз повторял: „Мы армия Буденного... наша армия Буденного". Он произносил это очень выразительно и горделиво. И так же произносил: „Товарищ Ленин

призвал... товарищ Троцкий приказал...”

Я не удержался и спросил: „А вы Ленина и Троцкого видели?” Он улыбнулся и сказал: „Да, видел.”

Что он еще говорил, я не помню, то ли потому, что меня сразу ущипнула мама, а Елена Францевна потащила в детскую, то ли потому, что в последующие годы столько насочинял об этой беседе с буденновцами, что и сам уже не могу отобрать скудные волоконца правды из того, что застряло в памяти.

Через несколько дней был митинг на площади у бронзового Богдана Хмельницкого. В толпу я пробраться не мог, тщетно пытался вскарабкаться на ограду. Но потом рассказывал, что сидел на хвосте Богданова коня. Там действительно клубилась кучка мальчишек, которым я смертельно завидовал. На площади было много красноармейцев, стояли строем конные части. Больше всего было обычных людей, которых ежедневно встречаешь на улице. Впервые я увидел так много красных флагов. На трибуне или на грузовике виднелись несколько человек в шинелях и темных пальто. Один из них взмахнул шапкой и громко закричал: „Гра-аждане Ки-иева!”

В толпе кто-то сказал: „Это Троцкий.” Одни ему возражали, другие поддакивали или шикали: „Дайте послушать.” Оратора я не разглядел, что он говорил – не слышал. В толпе доказывали: „В черной кожаной пальте, в очках, значит – Троцкий...”

Потом я часто рассказывал, как слушал Троцкого с Богданова коня и вполне правдоподобно объяснял, что от сильного волнения и по ребячьей глупости, еще и девяти лет не было, – не запомнил его слов.



1914 год. Семья Копелевых. Двухлетний Лев на коленях у деда и бабки. Справа от деда сидит его мать, сзади стоит отец. 27 лет спустя дед и бабка были убиты в Бабьем Яру.

№ 36. Харьковъ. 21-го Октября 1907 г. Цѣна 5 коп.

„Черная Сотня"

Органъ Харьковскаго Союза Русскаго Народа. Газета политическая, общественная и литературная.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: на годъ съ пересылкой и доставкой 4 руб., до 1-го Января 1908 года—1 р., на 1 мѣсяцъ 40 коп.

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНІЯ: за строку петита въ 1 столбецъ, или занимаемое ею мѣсто—5 коп., для ищущихъ труда—за половинную цѣну.

Контора помѣщается въ Бюро Союза Русскаго Народа—Харьковъ, Университетская ул. домъ № 8, Покровскаго монастыря. Телефонъ № 1627. Для пріема подписки и объявленій открыта ежедневно отъ 11 час. утра до 9 час. веч.

Статьи и стихотворенія, присылаемыя для напечатанія въ „Черной Сотнѣ" должны быть написаны четко, на одной сторонѣ бумаги, размѣромъ не болѣе 2 страницъ писчаго листа. Подпись автора должна быть полная, съ указаніемъ мѣста жительства. Статьи, безъ обозначенія условій напечатанія, считаются безплатными; признанныя негодными—уничтожаются. Редакція оставляетъ за собой право сокращать и исправлять рукописи.

Адресъ редакціи: Дѣвичья, № 14.

Жидовскія продѣлки.

Для наведенія кое-какихъ спра-окъ мнѣ пришлось покопаться въ тарыхъ газетахъ за прежніе годы. 'азбирая газеты, я случайно натнулся на сообщеніе изъ Москвы о озмутительномъ процессѣ жида-рача Шатуновскаго. Суть дѣла въ омъ: достопочтенный врачъ, яко-ы для научной цѣли, тайно прививалъ христіанскимъ дѣтямъ сиилисъ. Это было открыто, жидка рестовали и засадили въ тюрьму, лѣдствіе установило основательость преступленія и дѣлу былъ анъ надлежащій ходъ; но тутъ рачъ-жидъ Шатуновскій, конечно, ри помощи своихъ единовѣрцевъ шабесгоевъ, посредствомъ подупа или чего-нибудь другого, таинтвенно исчезъ изъ тюрьмы, и, таимъ образомъ, дѣло было предао забвенію. Читая объ этомъ воющемъ фактѣ, мнѣ припомнился азсказъ одного симферопольца, коорый мнѣ сообщилъ, что знаменитый врачъ-жидъ Шатуновскій еперь находится въ Симферополѣ

Пословицы о жидахъ.

1) Кто жиду волю даетъ, тотъ самъ бя продаетъ.
2) Жидъ хоть не звѣрь, а ему не рь.
3) Если жиду далъ, то весь вѣкъ у долженъ будешь.
4) Отъ жида и Богъ много разъ акалъ.
5) Жидъ въ хату, ангелы изъ хаты.
6) Жидъ—какъ верба:—гдѣ посашь, тамъ и примется.
7) Жидъ—какъ воробей:—гдѣ бы сѣлъ, тамъ и наѣстся.
8) Жидъ—какъ ржавчина:—грызетъ желѣзо.
9) Жидъ—какъ дырявый мѣшокъ; никогда не насыплешь.
10) Жида дружбой не купишь.
11) Жидъ—какъ свинья:—ничего не иитъ, а все стонетъ.
12) Жидъ скажетъ, что бить, а не жетъ—за что.
13) Около жидовъ богатыхъ всѣ жили въ заплатахъ.
14) Жидъ да бѣда—родные братья.
15) Жидъ да полякъ—чортовъ куть.
16) У жида и чертъ въ нянькахъ жить.
17) Гдѣ жидъ скачетъ, тамъ мукъ плачетъ.
18) Лучше своя хата, чѣмъ жидовя палаты.
19) Лучше съ христіаниномъ потеъ, чѣмъ съ жидомъ найти.
20) Съ жидомъ найдешь, да не раз-



С матерью и младшим братом Саней в 1922 г.

Троцкий, Ленин, Каменев. 1919г.

Немецкие офицеры встречают Троцкого в Брест-Литовске.

ВСТУПАИТЕ ДО ЧЕРВОНОЇ КІННОТИ!



Червона кіннота знищила Мамонтова, Шкуро, Деникина.
Вона била панів і Петлюру,
зараз потрібно знищити недобитка Врангеля.

Робітники й селянє—вступайте до лав Червоноі Кінноти.

Глава вторая

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ И ПЕРВАЯ ИДЕОЛОГИЯ

Чем глубже проникают наши воспоминания, тем свободнее становится то пространство, куда устремлены все наши надежды – будущее.

Криста Вольф

В 1920 году от нас ушла Елена Францевна. Потом за три года сменились еще несколько немецких бонн – Шарлотта Карловна – высокая, пучеглазая, с толстыми влажными губами; Вилярзия Александровна – очень старая, творожно седая, творожно бледная и расплывчатая. Последней была Ада Николаевна, увядшая рижская барышня с печальными, добрыми глазами. Когда я уже ходил в школу, она еще год воспитывала Саню.

Не помню, как и чему учила нас каждая из них, но в итоге мы с братом бойко лопотали, читали и писали по-немецки. Саня в ту пору еще оставался политически индифферентным, – последняя бонна ушла, когда ему исполнилось восемь лет. Но я к десяти годам был убежден, что немцы – самый культурный из всех народов и к тому же лучшие друзья России, а немецкая монархия – самое справедливое государство.

Книги мы брали в лютеранской библиотеке при доме пастора. В кабинете пастора висел большой, во всю стену, портрет Лютера. Вдохновенный взгляд, обращенный к небу, темнокоричневая сутана, темнобагровый фон. Для меня этот портрет еще долго оставался образцом прекрасной живописи, впервые увиденной вблизи. В романах Карла Мая благородные немцы совершали подвиги в самых разных странах света, чаще всего среди северо-американских индейцев. Не менее увлекательны

были книги о „старом Фрице", – великом короле Фридрихе II, о подвигах „черных егерей" Люцова в 1813 году.

Больше всего я радовался, когда немцы оказывались союзниками русских и вместе воевали против шведов, против Наполеона.

Два лета – 1921 и 1922 годов – мы жили в совхозе, где отец работал агрономом. Директором совхоза был Карл Майер, который раньше арендовал эту же землю как садовод. Совхоз по привычке называли „садоводство Майера", – но теперь он принадлежал Горкомхозу; вместо цветов разводили картошку, капусту, свеклу... Лишь на тех участках, где земля отдыхала, буйно росли задичавшие тюльпаны и георгины.

Директору оставили большое приусадебное хозяйство с фруктовым садом. Карл Майер – высокий, грузный, седой, с бельмом на левом глазу, с густыми длинными усами – был величествен и молчалив. Домой он приходил только к обеду и к ужину.

Мама говорила: „Он просто не умеет плохо работать. И все должен сам проверить, каждую грядку. Вот поэтому немцы и живут хорошо, что они так работают, Они прилежные, добросовестные, потому и стали культурными!"

Вся большая семья Майеров работала. Каждый точно знал свои обязанности. Жена – „гроссмутер Ида", рослая, прямая, смуглая, с блестящими глазами, всегда замысловато причесанная, ведала садом, огородом, птичником и собственным домом. Ее свекровь – 80-летняя „гроссмутер Мариа" заведывала коровами, свиньями и крольчатником. Лицо, словно вырубленное из сухого дерева, почти без морщин. В большом рту желтели большие зубы. Она курила самодельные сигары – на чердаке сушились табачные листья. Гроссмутер Мариа вставала раньше всех, носила темную затрапезную юбку, темный передник и грубые башмаки на деревянной подошве без задника. Жилистыми, по-мужски широкими руками она легко носила полные подойники и ведра с кормом. Она была так же молчалива, как сын, казалась еще более строгой, чем он, вовсе не говорила по-русски. Только изредка ругалась: „зволичь... зукин зын."

Дочь хозяев – „танте Люци" – высокая, белолицая, всегда озабоченная, готовила, убирала в доме, шила, чинила, занималась с детьми, учила их грамоте и арифметике.

Муж Люци – „онкль" Ганс Шпанбрукер, перекапывал сад

и огород, возил навоз, чистил коровник и свинарник, плотничал, слесарничал, ведал инструментальной кладовой. Он был плечистым, сильным – легко поднимал бревна, которые мы, ребята, вчетвером не могли сдвинуть с места. Веселые, светлые глаза глядели из-под мохнатых бровей и нос был веселый, курносый, вздернутый над роскошными усами, темно-русыми, толстыми, с лихо подкрученными кончиками. Солдат немецкой армии, он никогда не воевал против России, а, напротив, вместе с русскими солдатами сражался в Китае в 1901 году, участвовал в штурме императорского дворца в Пекине. Танте Люци горделиво показывала его трофеи: черный лакированный ларец с нежным пестрым рисунком, который пахнул таинственной, сладковатой горечью, шелковый халат, черно-сине-оранжевый, звонко хрустевший, и несколько медных статуэток. Все это были сокровища китайского императора, добытые героем в честном бою. Там, в Китае, солдат Шпанбрукер заболел, его положили в русский военный госпиталь и привезли в Киев, где лютеранский пастор и его прихожанки навещали немецких солдат. Так он познакомился с дочерью садовода Майера и остался у них „приймаком".

У Люци и Ганса было трое детей: старшая, моя ровесница Лили, белобрысенькая, рассудительная, хозяйственная, тихоня и чистюля; Эрика, быстроглазая озорная чернушка, на год моложе ее, и шестилетний Буби, щуплый, болезненный, но упрямый. Он все время таскался за нами, расшибал нос и коленки, ел известку и зеленые ягоды, иногда пугливо ревел, но никогда не жаловался.

Онкль Ганс возился с нами больше, чем все другие взрослые. Когда он работал, мы помогали ему, а он неторопливо рассказывал. Наваливал навоз в тачку и рассказывал. Потом отвозил ее в кучу компоста, а мы подметали, подгребали в коровнике. Он возвращался и продолжал. Он рассказывал о войне в Китае и о разных животных, о коровах и о китах, о лошадях и слонах, о Наполеоне и старом Фрице, и о том, зачем нужно удобрять землю. Работать с ним, выполнять его поручения было почетно и радостно. Девочки чаще помогали матери в кухне или бабушке в саду. Буби и мой брат Саня, который был его ровесником, еще мало что могли. Поэтому я считал себя главным помощником дяди Ганса, зазнавался и ревновал его. Обидно было, когда он вдруг поручал не мне, а одной из девочек

принести гвоздей или длинную палку с подвязанным на конце мешочком и ножом для срезания яблок.

Но лучше всего была охота. Дядя Ганс с двустволкой и патронташем становился еще более величественным и прекрасным. Охотился он главным образом на воробьев, реже на куропаток. Мы ходили за ним и подбирали сраженную дичь. Страшно было добивать раненых воробьев, испуганно и бессильно трепыхавшихся. Но дядя Ганс учил: „Добивай! Не отворачивайся, не бледней. Чтоб не мучился. Нельзя мучить ни птиц, ни животных. Поэтому бей сразу головой о камень, о твердую землю. Будешь трусить, они будут больше мучиться. Мужчина не должен бояться крови, не должен бояться смерти, ни чужой, ни своей. Девочкам простительно, а ты будь мужчиной..."

То были уроки рассудительной и как бы даже справедливой жестокости. Я очень старался их усваивать, закусив губу, колотил о землю дрожащие тельца, капавшие бусинками крови, и казался себе настоящим суровым воином. Было жалко, страшно до тошноты и все же увлекательно. Почти так же я раньше сладострастно лупил девочек. Именно девочек – с мальчишками просто дрались. Примерно до девяти лет влечение к девочкам сводилось к тому, чтобы побить, а потом пожалеть. Так и мечталось перед сном. И тогда же влекли описания казней, пыток, убийств. Годам к 9-10 все начало меняться. Позывы к насилию, любопытство к страшным книгам и картинам дополнялось острым чувством жалости. Читая, плакал. И к девочкам тянуло по-другому. Все же было что-то родственное в этих постыдных, но неудержимых, соблазнительных влечениях.

Онкль Ганс стал для меня первым настоящим героем, увиденным вблизи. А его дочь Лили была первой девочкой, в которую я влюбился „по-настоящему", и очень старался испытывать страсть и страдание, и отчаяние... Влюбился так, как только можно в 9-10 лет, когда уже прочел „Айвенго" и „Князя Серебряного", уже презирал Чарскую, – хотя украдкой почитывал, – и совсем недавно узнал, от чего именно родятся дети.

Когдя мы играли в прятки или строили домики в старом высохшем бассейне и в густых малинниках за усадьбой, я всегда старался быть рядом с Лили, прикасаться к ней. Иногда, прячась, мы вдвоем забирались на чердак, где с непонятным для меня пренебрежением были свалены поразительные сокровища – кипы старых немецких журналов, газет, календарей за несколько

десятилетий, множество книг с картинками, елочные украшения, испорченные игрушки, разная утварь. Мы с Лили подолгу застревали в разных закоулках на чердаке или в кустах, очень серьезно шикали друг на дружку, озабоченные тем, чтобы нас не нашел тот, кто „водил". Однажды я неожиданно поцеловал ее, чмокнул, сам пугаясь, куда-то между розовой щекой и беленькими завитушками на затылке. Она сделала вид, что ничего не заметила, но когда я попытался второй раз, она зашептала: "Nei, nei, man darf nicht..." – и удрала, покраснев, и, как мне показалось, рассердившись.

Тогда я пошел на проселочную дорогу, по которой изредка проезжали телеги и не каждый день грузовик, – грохочущий, фырчащий, чадящий, – и лег поперек жесткой, пыльной колеи. Я хотел покончить самоубийством от несчастной любви, старался вызвать в себе чувство скорбного отчаяния. Об этом намерении я под величайшим секретом успел сообщить моей двоюродной сестре. Она всполошилась, суетилась, бегала взад и вперед, уговаривала меня остаться в живых и вернуться к игре. Стриженая, как мальчишка, – после скарлатины, – в больших круглых очках, из-за косоглазия, она необычайно азартно выполняла роль посредницы и в конце концов сообщила мне, что Лили твердо обещает выйти за меня замуж, когда вырастет. Мы и до этого иногда играли „в семью": Лили и я были „родителями", Эрика, Саня и Буби – нашими детьми. Лили готовила, пекла взаправдашние пирожки, жарила воробьев, мы пили „вино" – вишневый и малиновый соки.

После несостоявшегося самоубийства я несколько раз многозначительно спрашивал ее: когда же мы наконец вырастем? Этот вопрос стал нашей общей тайной, общей секретной шуткой, почти фривольной. Лили густо краснела и называла каждый раз другой возраст в пределах от 15 до 20 лет. Дальше начиналась старость.

Мама ни за что не хотела пускать меня в „босяцкую советскую школу". Нас с братом учили дома и, когда мама, наконец, смирилась и было решено, что я поступлю в третий класс – тогда говорили „третью группу", – то оказалось, что я слишком невежественен для „босяцкой" школы. Правда, я болтал по-немецки, знал всех царей, благодаря Данилевскому и Мордовцеву, а многих немецких, французских и английских королей – благодаря Вальтер Скотту, Дюма и Шекспиру, которого мне подари-

ко дню рождения. Но я ничего не смыслил в арифметике, писал с ятем и твердым знаком, о географии имел весьма смутные представления, основанные главным образом на Жюль Верне, Майн Риде и Карле Мае.

Тогда-то и появилась в моей жизни Лидия Лазаревна, которая готовила переростков, вроде меня, в новую школу. Она преподавала словесность, историю, географию, и переучивала по новому правописанию. Лидия Лазаревна была низкорослая, широкая, скуластая, смуглая, глаза близорукие на выкате из-за базедовой болезни, – большие, серые, очень добрые глаза, – большой нос, большой рот, волосы темные, гладкие, связанные сзади большим круглым пучком. Зимой она носила круглую меховую шапочку, летом черную шляпку-блин, всегда ходила в длинных темных платьях.

От Лидии Лазаревны я впервые услышал, – может, и раньше слыхал или читал, но *услышал* впервые именно от нее, – такие слова, как *идеал, гуманность, человеколюбие, народное благо, народное дело, любовь к народу...*

Мы занимались три раза в неделю. Она жила на Большой Подвальной в двух кварталах от нас. Я нетерпеливо ожидал каждого очередного урока. Правда, бывали и скучные минуты, когда нужно было высчитывать за каких-то купцов цены разные „штук" ситца или угадывать цены яблок, которые на столько-то дороже груш. Смешны и диковинны были цены в старом задачнике Шапошникова и Вальцева. Они считали на рубли, копейки и даже полушки. А на улице две ириски стоили три миллиона рублей! Впрочем, в арифметике были свои увлекательные задачи, когда можно было придумывать, почему один путник должен догонять другого или кто именно едет во встречающихся поездах.

Но всего лучше, разумеется, была словесность. Лидия Лазаревна читала вместе со мной стихи и прозу. И каждый раз так, будто она сама это читает впервые. Иногда она плакала, тщетно пытаясь скрыть слезы, жалуясь на насморк. Мы вместе плакали, читая Некрасова – „Русских женщин", „Железную дорогу" и, конечно же, „Размышления у парадного подъезда", – плакали и над стихами Никитина – „Вырыта заступом яма глубокая", „Эх, товарищ, и ты, видно, горе знавал", – и Надсона – „Я рос одиноким, я рос позабытым", – плакали над рассказами Короленко „Сон Макара", „Чудная", „В дурном обществе", – над „Оводом" и над „Хижиной дяди Тома".

Когда она говорила, что нужно быть правдивым, жалеть слабых, уважать храбрых и добрых, презирать трусов, лицемеров, себялюбцев, скупцов – это было убедительно не потому, что она находила какие-то особенные слова, а потому, что она сама действительно восхищалась красотой правды и добра, и по-настоящему радовалась хорошим людям, хорошим поступкам и по-настоящему ужасалась корысти и злу.

Ей было очень трудно жить в той громкой, сложной и хитрой жизни, которой жили все вокруг нас – мои родители, наши соседи и знакомые. Иногда она даже казалась мне беспомощной и не только потому, что, теряя шпильки, тщетно пыталась их найти.

Лидия Лазаревна была убежденной народницей. Она любила Некрасова больше, чем Пушкина, хотя, забывая обо всем, могла часами наизусть читать „Полтаву" и „Медного всадника". Она любила Короленко больше, чем Толстого и Чехова, хотя говорила, что именно они самые великие писатели, которые когда-либо жили на земле. Имена Желябова, Перовской, Кибальчича, Веры Фигнер она произносила с таким обожанием, с каким ни одна из моих бонн не произносила имени Христа.

Мама ревновала меня к Лидии Лазаревне больше, чем раньше к немецким боннам. Своим приятельницам при мне иногда говорила с насмешливой неприязнью:

– Эта старая курсистка не совсем нормальная. Своих детей не имеет, так липнет к чужим... Она знает только то, что в книжках, а не в жизни... Не от мира сего. Но, конечно, добренькая, чего бы ей не быть добренькой...

В такие минуты я ненавидел мать и кричал со злостью:

– Лидия Лазаревна самый лучший человек в мире, самый умный, самый добрый!

– Так ты ее любишь больше, чем мать, да? Больше, чем родную мать, которая тебе жизнь отдает? Чтоб я лучше подохла, как собака, до того, как услышала это... Малохольную курсистку, слезливую квочку он любит больше, чем родную мать... Вот так и живи для детей, отдавай им всю свою кровь, все здоровье... Вы похоро́ните меня, тогда поймете...

Входя в раж, мама громко плакала, била себя в грудь и по голове, рвала волосы, кричала уж вовсе нечленораздельно. Потом постепенно затихала, пила валерьянку, причитала:

– Никто вас так не любит, как мать, никто, никогда...

Но в другой раз, другим, или тем же самым собеседникам, она говорила то умильно, то саркастически, в зависимости от настроения:

– У нашего старшего сына такая прекрасная учительница, что он ее любит больше отца и матери... Ну что ж, понятно, она светлая личность. Народница! Бестужевка. Бессеребренница... Правда, немножко „того"; знаете, – одни книжки, брошюрки, стишки. В общем, неземные идеалы... Конечно, благородный человек, настоящая интеллигентка. Таких можно почитать, преклоняться. Но чтобы жить так же, – нет, упаси Боже. Ни себе, ни людям. Одни воздушные замки и глаза испорченные. Вы б видели, как она читает!

Мама очень похоже и очень смешно показывала, как близорукая Лидия Лазаревна тычется носом в книгу и растроганно сморкается.

2.

Весной 22-го года я стал скаутом – „волчонком". КВОС – Киевский Второй Отряд Скаутов – гордо называли: „волчий". Волчатами командовала бледная, высокая, коротко остриженная девочка, Аня. Она рассказывала нам про Баден Пауля*, учила гимнастике со скаутским посохом; обещала научить разжигать костры и ставить палатки. Она требовала, чтобы волчата, носившие голубые галстуки, завязывали на них узлы после каждого доброго дела, – например, помог слепому перейти дорогу, заступился за малыша, которого били более сильные пацаны, догнал прохожего, уронившего сверток.

Она же пела „Покс, токс, свенсен-прима, что вы задаетесь, мы побили вас вчера, вы не признаетесь". Покс и Токс были первый и третий отряды. „Свенсен-прима" – отряд при частной школе Свенсена, тогда еще такие школы существовали.

Легенды о великих битвах между отрядами скаутов я не раз слышал, сам пересказывал и сочинял, но ни одной такой битвы не видел. Помню только перебранки и несколько мелких драк во дворе Софийского собора, в скверах, на Владимирской

*Баден Пауль (1857-1941) – английский офицер, основал юношеское движение скаутов во время англо-бурской войны.

горке и в Ботаническом саду. Но эти драки бывали уже и политическими. Поксовцев считали почему-то „белыми", кричали им, что они за царя Николашку и за панов, которые в Черном море купаются. У Свенсена были маменькины сынки и маккабисты, — то есть, сионистские скауты, которым кричали „тикайте в Палестину!", а в Токсе, якобы, преобладали „желто-синие" петлюровцы, которые нарочно хотели только „балакать". Зато у нас в Квосе были самые настоящие скауты, они защищали бедных и слабых и не возражали против Советской власти. Среди них-то и появились первые „юки" — „юные коммунисты".

Скаутские отряды начали распускать в 1923 году и окончательно запретили в 1924 году. Новый вожатый „юк" Миля водил нас к себе домой на Прорезную в большую квартиру. Его отец был зубным врачом. Миля захватил комнату за кухней с антресолями, которую объявил клубом юных коммунистов. На стенах мы развесили вырезанные из газет и журналов портреты Маркса, Ленина, Троцкого, Карла Либкнехта, Розы Люксембург, Калинина, Демьяна Бедного, Чичерина, Луначарского, Буденного, Котовского. Сами намалевали лозунги „Пролетарии всех стран, соединяйтесь!", „Лордам по мордам!", „Мы - молодая гвардия рабочих и крестьян", „Да здравствует комсомол и юные коммунисты!"...

Мы собирались после школы, пели новые песни: „Флот нам нужен, побольше дюжин, стальных плавучих единиц", „А комсомол смеется, смеется, он к западу несется" и, конечно, „Смело мы в бой пойдем за власть советов". Пели и украинские песни: „Заповит", „Ой на гори тай женци жнуть".

Миля объяснял нам, что мы живем на советской Украине, что по-украински говорят не только петлюровцы, но и все крестьяне и многие рабочие, что скауты, которые в школе уходят с уроков украинского языка и насмешничают над украинскими надписями, вывесками и плакатами — дураки и контры. Их нужно агитировать, перевоспитывать или бить морды. Это мне нравилось: я с детства слышал дома украинскую речь и украинские песни от первой няни Химы, которую любил больше всех бонн, от друзей отца — агрономов. Бабушка — мать отца — говорила только по-украински и по-еврейски. Случалось, что она сердито обрывала меня: „Та не троскочи ты по кацапську, я ж так не розумию. Як не знаешь ридной мовы, ни лошен кейдиш, ни идиш, то хочь говорь по-людски, а не по-

-паньски: *па-ажалиста-а... ето што такой...*"

3.

Лето в садоводстве Майера, любовь к Лили, мои собственные грядки в огороде, на которых я выращивал редис, огурцы, салат и даже несколько кустиков помидоров, отвлекали от скаутско-юковских забот.

Осенью 23 года я стал наконец школьником. Меня приняли в третью группу, слово „класс" все еще полагали „старорежимным". Школа была далеко от дома, на углу Мариинско-Благовещенской и Владимирской, бывшая частная прогимназия, теперь называлась начальной школой, имела номер. Но никто его не помнил, а говорили „школа Лещинской", по фамилии директора. Фаня Григорьевна Лещинская преподавала сама арифметику и природоведение. Нас учили также русской словесности, французскому языку, пению, рисованию и гимнастике. Мне в школе было не по себе. Поступил я поздно — мы переехали в город уже глубокой осенью. В третьей группе я был самым рослым, ребята из младших групп кричали мне „каланча" и „достань воробушка". Но я знал меньше всех других, вернее, вовсе не знал того, что они уже прошли; это было обидно. Мама постоянно восхищалась моими успехами — это раздражало, но было уже привычным. А тут мне ставили в пример каких-то куцых сопляков и даже девчонок с косичками и бантами. На уроках пения я тоже оказался из худших: какой-то худосочный пискун, которого я мог отлупить одной правой рукой, считался запевалой и первым учеником, хотя у него был противный, почти девчоночий голос. И на гимнастике не везло, я был сильнее многих, но зато менее ловок, просто неуклюж.

Школу я невзлюбил сразу и, когда заболел корью, обрадовался этому, как избавлению. Блаженствовал в полутемной комнате — как полагалось тогда при кори — и, впервые сам сочинив стихотворение, прослезился. Стихи назывались „Молот" и начинались: „тяжки, грозны удары млата, но не железо так он бьет, он рушит все дворцы, палаты, дробит стекло, булат кует."

Я скрывал эти стихи от мамы, чтоб не хвасталась, но, разумеется, прочитал их Лидии Лазаревне, которая отнеслась к ним

серьезно, одобряла; осторожно заметила, что не нужно повторять строки из чужих, даже пушкинских стихов, что я теперь должен больше читать именно поэтические произведения, надо искать свои слова. Конечно, в молодости многие пишут стихи, но, может быть, у тебя и впрямь божья искра...

Став школьником, я продолжал ходить к Лидии Лазаревне; она не притворялась, когда говорила, что рада меня видеть, в ее книжном шкафу всегда можно было найти еще не читанную книгу – не Жюль Верна, Буссенара или Нат Пинкертона, которых я добывал у других ребят, – а романы Амфитеатрова „Шестидесятники" и „Семидесятники", роман о народовольцах Бржозовского „Зарево", воспоминания Кропоткина, Степняка-Кравчинского, Веры Фигнер, журналы „Былое", „Каторга и ссылка", „Природа и люди" и переводные книги – Шпильгагена, Джека Лондона, О.Генри, Эптона Синклера...

Когда я рассказывал Лидии Лазаревне о школе, о том, что хорошие скауты перешли к юкам, которые вскоре стали называться юными спартаковцами, а потом и пионерами-ленинцами, ей все это было по-настоящему интересно и важно.

От родителей мне приходилось скрывать свою политическую деятельность. Мама зло насмешничала и проклинала босяков, которые натравливают детей на родителей. Отец грозил: „Увижу с красной тряпкой – выпорю, сидеть не сможешь. Запру дома, в школу не пущу."

А Лидия Лазаревна слушала очень заинтересованно.

– Это очень хорошо, что у вас товарищество, что хотите делать добро, помогать людям... Коммунизм – прекрасный идеал. Первым коммунистом был Христос. Все лучшие люди мечтали о равенстве, братстве, справедливости – Бакунин, Кропоткин, народовольцы... Но очень важно, чтобы идея была чистой и чтоб осуществлять ее с чистым сердцем и чистыми руками... В Библии есть такие слова – не человек для субботы, а суббота для человека. И коммунизм должен быть для человека, а не наоборот...

Иногда я приставал к ней с расспросами, хотел знать, что именно она думает о Ленине и Троцком, о Советской власти. Лидия Лазаревна отвечала сбивчиво, краснела пятнами. Она не умела говорить неправды, но, видимо, боялась внушить мне такие мысли, которые стали бы для меня опасными.

– Ленин очень умный. Даже гениальный. И, конечно, на-

стоящий революционер... Он из хорошей семьи. Его старший брат был народовольцем, героем, – так же, как Желябов, выручал товарищей. Ленин пошел за братом. Он, конечно, любит народ. Хочет добра. Но, видишь ли, он слишком нетерпеливый и нетерпимый. И поэтому допускал жестокости. Ну, так же, как Робеспьер, как Марат. И потом он – материалист. Не лично, нет, лично, он, конечно, идеалист. Это все говорят: он бескорыстен, скромен. Но по убеждениям он – материалист, то есть не верит в силу идеалов. Это у него от Маркса. Тот тоже был, конечно, гениальным и лично благородным. Но признавал только материальные силы – капитал, товар, фабрики, деньги. Вот и Ленин так же думает, что главное – это захватить материальные силы, захватить власть. А все остальное – потом. Потому ради революции хороши любые средства. А что получилось? Все голодные против всех сытых; рабочие и крестьяне против всех имущих, против интеллигенции... Грабь награбленное. Но ведь Пушкин и Толстой были помещиками, и Тургенев. Я знала многих дворян и купцов и фабрикантов, которые помогали революции: Софья Перовская – дочь генерала. А сами большевики? И Ленин – дворянин, и Луначарский, и Чичерин, и Коллонтай. Но считается, что это – исключения, и нужна беспощадная классовая борьба. А всякая беспощадная борьба делает людей безжалостными, жестокими, несправедливыми. И тогда не может быть никакого равенства, не может быть братства, не может быть свободы. Об этом писали Короленко, Толстой, Куприн, Горький – все лучшие писатели. И в других странах тоже. Обязательно прочти Диккенса „Повесть о двух городах" и Гюго „Девяносто третий год"... Ленин, конечно, гений и лично добрый человек, а Троцкий – холодный, жестокий, честолюбец. Конечно, он тоже выдающаяся личность – полководец, оратор... И тоже был революционером. Но он хуже Ленина. Он думает больше о политических доктринах, чем о народе; о государстве, об армии – а не о народном благе...

Почти так же рассуждали мои родители, их приятели, знакомые, когда говорили о политике.

– Ленин все-таки гений. Лично порядочный человек, но одержимый... Ему коммунистические эксперименты, а народу страдания... Нет, не говорите, Ленин большой государственный ум... Это он ввел свободную торговлю. И крестьянам теперь куда легче... Деревня теперь, как сыр в масле... Не дай Бог,

если придет Троцкий. Опять будет террор, начнется война с Антантой... – Троцкому, видите ли, срочно нужна мировая революция. Он вызовет такой антисемитизм, какого раньше и не бывало...

В отряде мы пели: „Красная армия, смело вперед, нас товарищ Троцкий в бой ведет", – и еще: „Ленин и Троцкий и Луначарский – они основали союз пролетарский".

А на откосах Владимирской горки и Царского сада беспризорники хриплыми голосами выкрикивали частушки: „Шо я вижу, шо я слышу, Ленин с Троцким влез на крышу. И кричат всему народу: подавайте нам свободу!"

Нашу квартиру опять уплотнили. В комнате, где раньше жил рыжий чекист, поселились две сестры-рабфаковки. Потом к ним приехал еще и брат, школьник. Старшая была красивая и неразговорчивая. Младшая – медно-рыжая, круглолицая, веснушчатая, в красной косынке, часто пела громко и картаво: „Мы комсомол, страны рабочей гордость... родных полей надежда и оплот, и знает весь наш трудовой народ, что проявить свою сумеем твердость." Песня была заунывно-романсовой, надсадно гортанной. Но мне она казалась воинственной и пророческой. „Мы идем на смену старым, утомившимся борцам, мировым зажечь пожаром пролетарские сердца..."

Сестры повесили в комнате портреты Ленина, Троцкого, Крупской, Коллонтай. Однажды я сказал, что я за Ленина, но против Троцкого. Младшая сестра щелкнула меня больно по лбу и сказала: „Сопляк, что ты понимаешь: Лев Давыдович самый лучший друг, товарищ и помощник Ильича, он самый лучший ленинец." Я обиделся и стал кричать про жестокость и про честолюбие. Тогда брат и сестра просто вытолкали меня за дверь.

С братом мы расквитались потом, когда он остался один. Он был старше и сильнее меня, но я позвал на помощь Сережу; вдвоем мы свалили его и затолкали под кровать, требуя, чтобы он кричал: „Долой Троцкого!" Он пыхтел, барахтался, но кричать не хотел. А мы не пошли дальше легких тумаков – лежачего не бьют.

4.

Весной 1923 года я впервые прочел настоящие „взрослые" политические книги, – Вильгельм Либкнехт „Коммуна" и Фердинанд Лассаль „О прусской конституции". Это были две брошюры в темнокрасных обложках, напечатанные по-старому – с ъ и ѣ, на хорошей бумаге, что придавало им особую солидность и убедительность. Новые школьные учебники и новые книжки и брошюрки печатались на темной, ломкой бумаге, слепым шрифтом, быстро тускневшим.

У Лассаля я почти ничего не понял, но проникся тем большим уважением к нескольким вразумительным фразам о необходимости власти народа и неизбежности социализма. Зато Либкнехт понятно рассказывал о героизме и страшной судьбе парижских коммунаров. Читая о кровавой майской неделе, о гибели Домбровского и Делеклюза, я плакал такими же горячими слезами, как и над самыми любимыми страницами Некрасова, Короленко, Диккенса. И окончательно решил, что я убежденный коммунист.

Летом мы жили в деревне Соболевка к западу от Винницы на сахарном заводе, где отец работал агрономом, в доме заводского механика пана Тадеуша Вашко; его младший сын Казик был моим ровесником, младшая дочь Зося – на год моложе. С ними дружили сыновья мастера-аппаратчика одноногий Збышек и Казик, которого в отличие от чернявого Казика Вашко, называли „Казик Рудый". Влюбился я сразу же в Ядзю – круглолицую дочку химика. Она была неразлучна с младшей сестрой Хеленкой, остроносенькой, молчаливой озорницей, и с подружкой Вандой, маленькой, пухленькой, непрерывно болтавшей.

Все эти ребята и девочки были верующими католиками. По воскресеньям их, накрахмаленных, наглаженных, возили в костел в городок верст за двадцать. Ко мне они сперва отнеслись недоверчиво, так как я сразу же объявил, что я юный коммунист, демонстративно читал в саду красную книжечку „Коммуна" и к тому же оказался жидом. Пока я усвоил, что по-польски „жид" – вовсе не ругательство, а то же самое, что по-русски „еврей", состоялось несколько драк. Впрочем, они же возбудили

у нас взаимное уважение. Казик Вашко был меньше меня ростом, но дрался лихо, метко бил костлявым кулачком, не плакал и не прекращал боя, когда текла из носа кровь, а, потерпев поражение, не злился. Второй Казик, рыжеватый, веснушчатый, плотный, был хитрее, умел опрокинуть неожиданной подножкой, ударить зло под ложечку, а, проигрывая, падал с криком: „Лежачего не бьют!" Его старший брат Збых ходил на костылях, но они служили отличным оружием в потасовках с хлопцами из соседних деревень.

Польские ребята вскоре приняли меня в свою компанию, называли Ле́он; со мной приняли и Сережу, сына агронома из соседнего совхоза. Раньше его чуждались и дразнили москалем.

Между поселком, где мы жили, и заводом тянулся большой пруд – ставок. На самом дальнем берегу была деревня. В кустах и зарослях очерета, окружавших несколько маленьких глинистых пляжей, происходили бои между заводскими и сельскими ребятами. На первых порах и я принимал в них участие. Но мне было не по душе, что мои новые друзья вели эти бои как часть вечной войны польских рыцарей с „хамами", „схизматами", „быдлом"... Вспомнив скаутские и юковские наставления, я решил стать миротворцем. Сельские ребята, босые, простоволосые, в серых холщевых штанцах до половины икры и драных сорочках, отнеслись ко мне грубо недоверчиво. Однако я говорил по-украински, хотя и не их „говиркою", рассказывал про Киев, про войну, про книжки, умел спивать „Стоит гора высокая", „Хмель", „Реве тай стогне". С одним из их заводил – Митько – коренастым крепышом – мы постепенно сблизились. Боролись по-честному, без подножек, и оказались примерно равной силы, хотя я был на голову выше ростом. Это ему льстило, тем более, что я признал равенство после того, как уложил его на лопатки приемом „двойной нельсон", недавно изученным по книге Берроуза „Тарзан". Наша дружба приобрела еще и экономическую основу. Мы с Казиком Вашко завели общий крольчатник в старом каменном сарае, который нам предоставил его отец. Первых кроликов мы купили за наличные, которые выпрашивали или крали у родителей. В ход шли и новые пятаки, и старые „лимоны", и даже керенки, гетманские „шаги" и деникинские „колокольчики". Потом мы главным образом менялись кроликами с сельскими ребятами или приобретали новых в обмен на тетрадки, книжки, на клетчатую и лино-

ванную бумагу. Митько был главным инициатором, посредником и партнером в большинстве таких сделок. Он же добывал корм для наших кроликов – рожь и пшеницу. Небольшой мешок – несколько килограммов зерна – стоил один „химический” карандаш или два простых.

Митько раньше был знаком с Сережей, который и свел меня с ним, но с польскими ребятами он сходился туго. На мои велеречивые уговоры отмалчивался, либо отвечал коротко, но скептически. Он был сурово лаконичен и обычно не возражал по существу, а только выразительно бросал „то це ты так кажешь” или просто „кажи́, кажи́!”

Я обижался, кипятился, клялся. Говорил о польских друзьях Шевченко, пересказывал свежепрочитанные романы Сенкевича, соответственно изменяя некоторые интонации и детали, и всячески убеждал, что у поляков есть очень хорошие, замечательные люди. Пересказывал и Короленко и, конечно, Либкнехта.

Митько и его хлопцы слушали внимательно, иногда вроде бы и соглашались. Драки между заводскими и сельскими почти прекратились. Но все же не получалась та идиллическая дружба „всех со всеми”, какая воображалась мне, когда перед сном, в теплой темноте, я мечтал о будущем, о воинских подвигах, достойных пана Володыевского, о мягких розовых губках и тугих грудях Ядзи, о выведении новой породы кроликов, о славе поэта-революционера и государственного деятеля в Киеве, в Париже, в Берлине...

5.

Дом Вашека был окружен большим садом, густыми зарослями смородины и малины. Сзади, на добрых полверсты, тянулся фруктовый сад, парники, огороды. Впереди густо росли клены, каштаны, липы, акации, синеватые елки-туи. А за сетчатой проволочной оградой пролегала широкая пыльная улица поселка. На противоположной стороне была „кооперация” – лавка, длинный дом с низкими широкими окнами и крытой „гальдерееей” с деревянными побуревшими столбами. Внутри пахло селедкой, махоркой, керосином, рогожей, мешковиной, мышами и запыленными приторными сластями.

Мать Кази и Зоси пани Агнеш польско-русской скороговор-

кой пугала нас: „Там завше хлопы; завше пьяны; брудны. Така грязь! Лайка! Невольно детскам..." Моя мама, как всегда и везде, боялась заразы. „Там же холера, брюшной тиф. Заклинаю вас жизнью матери, ни к чему не прикасайтесь."

Но иногда одному из нас удавалось получить официальное поручение – купить стекло для керосиновой лампы, спичек, перцу или керосину. Разумеется, друзья его сопровождали. Случалось, и по пути на ставок мы забирались в лавку просто так – поглазеть или купить на раздобытый гривенник переводных картинок, карамель-подушечки. Дядьки, стоявшие у прилавка или курившие махорку у возов, привязанных тут же, нас попросту не замечали. Это было обидное, равнодушно презрительное отчуждение. Впрочем, не лучше бывало, когда какой-нибудь усач помоложе, загорелый, в сероватой сорочке с выцветшей вышивкой, пахнущий потом, дегтем и соломой, вдруг спрашивал усмешливо, но не ласково: „А ты, хлопчик, из яких будешь – з ляхив, з кацапив чи з жидив?.. А ну кажи – кукурудза с гречкою. А ще кажи – паляныця."

Предполагалось, что еврей не может выговорить „р", а поляки и русские не способны правильно произнести мягкое, вкусно пахнущее слово „паляньщя".

Однажды утром к нам в сад прибежали запыхавшиеся, взволнованные Ядзя, Хеля и Ванда. Они наперебой, задыхаясь от ужаса, рассказывали: там на лавке повесили картину, страшную насмешку над Маткой Бозкой. Такая подлая, такая ужасная насмешка, такой грех, такое злодейство. Пухленькая Ванда все время ойкала – „Езус Мария! Езус Мария!" – и силилась плакать. Они стали шептаться с ребятами, и я вдруг почувствовал, что все они отдаляются от меня, ведь Матка Бозка была только их святыней.

Смятение и ужас девочек, сердитый шепот ребят, горькое чувство внезапной отчужденности усилили все то, что я знал раньше от Лидии Лазаревны, из Короленко, из скаутских книжечек-спутников – нельзя оскорблять чужую веру, нельзя смеяться над тем, что другим свято. А Ядзя была так прелестна, когда, сжимая кулачки у подбородка, вздыхала: „Свенто панна, цо то бендзе! Яки то гжех!"

И тогда я ощутил силу, поднимавшую, как на качелях, – тревожно холодившую, легкую, властную силу, – вроде того, что испытываешь, когда нужно драться с опасным противником

или прыгать с большой высоты или идти по узкому мостику без перил... Ни с кем не говоря, я выбежал из сада и перешел через улицу. На двери лавки висел большой желто-коричневый плакат-карикатура. Кривомордый лорд Керзон в виде мадонны и бородатый Чернов-младенец.

В конце „гальдереи" несколько дядьков о чем-то спорили, не глядя в мою сторону, лениво матюкаясь. Я выждал несколько секунд, сорвал плакат, сунул под рубашку и, с трудом удерживаясь, чтобы не побежать, широким, напряженным шагом пошел обратно. Затылок болел от желания оглянуться и от боязни того, что могло быть сзади... Но зато в саду девочки кричали: „Бохáтер! О, Лéон, я́ки бохáтер!" Ванда и Зося даже поцеловали меня. К сожалению, Ядзя только улыбалась, хотя глядела нежно и покраснела. Казик Вашко обнял меня и сказал, что мы теперь – друзья на всю жизнь. Збых похлопал по плечу и только рыжий Казик, скептически ухмыляясь заметил, что ничего особенного не произошло, ведь сын пана агронома не католик, а коммунист, ему все равно ничего не было бы, если бы и поймали. Вот для других это был бы риск. Но великодушные девочки напустились на него; плакат мы изорвали и торжественно сожгли. Его исчезновение осталось без последствий, хотя несколько дней я опасливо поглядывал на всех незнакомых людей, появлявшихся у нашего дома и еще долго не решался подходить к лавке.

6.

В немногих верстах от деревни находилось местечко. Через него я несколько раз проезжал с родителями в фаэтоне по пути в гости на соседний завод.

Дома были невысокие, беленые, но облупленные, с грязно-серыми и бурыми крылечками. У домов, у лавок стояли бородатые мужчины в котелках, в картузах или в ермолках, в длинных сюртуках. Они разговаривали громко, певуче и картаво. Женщины звали детей пронзительными и заунывными нараспев голосами: „Шлем-ке-е-е!.. Мойшеню-ю-ю!"

Когда начался охотничий сезон, Сережа, Казик Вашко и я увязались за отцами. В субботу большая компания заводских охотников на линейках поехала на дальние болота. Все ночевали

в домике у лесничего, спали на полу, завтракали вкуснейшей румяной ряженкой и медом прямо из сот. Охотники уходили еще до рассвета, а мы потом искали их по звукам выстрелов, опасливо подкрадываясь, как индейцы. Нам было запрещено приближаться, чтоб не подстрелили случайно. Обедали у костра густым кулешом, дичиной, печеной картошкой, пахшей дымом и болотом. Взрослые пили водку, домой возвращались хмельные, громко хвастались или оправдывались, ссылаясь на осечку, на то, что солнце било как раз в глаза.

На обратном пути в воскресенье линейки остановились в местечке. Взрослые пошли в лавки, мы оставались на улице.

Линейку окружили босые мальчишки в картузах с обломанными козырьками, в мятых шапчонках, из-под которых свисали вдоль ушей курчавые пейсики. Они галдели, смеялись, тыкали в нас пальцами. Их явно смешили мои короткие штаны до колен. Все они – так же, как сельские и заводские ребята, – носили длинные, подвернутые, или полудлинные штанцы. Крики „кирце хейзеле"* звучали саркастически. Я попытался заговорить с ними по-украински и по-немецки, меняя „а" на „о", чтоб было похоже на еврейский. Ребята постарше отвечали, мешая еврейские, польские и русско-украинские слова. Ни скаутов, ни юков среди них не было. Когда я сказал, что я тоже еврей, они зашумели недоверчиво и враждебно. Чаще и громче всего слышалось „хазер" – то есть, свинья, „апикойрес" – то есть, безбожник, и „мамзер" – ублюдок. Один курчавый, глазастый, в огромном продавленном котелке, спросил зло: „А паныч йисть хазер – свиню?" Я признался, что ем, и пытался объяснить, что древний запрет годился для жаркой Палестины, а здесь свинина не опасна.

Несколько голосов заорали: „Сам свиня... хазер... мамзер... киш ин тухес!"** Полетели увесистые комья грязи, и только вмешательство бородачей, стоявших неподалеку, предотвратило большую драку.

Мне было и жалко этих оборванных, тощих, бледных пацанов и неприятно смотреть на них, слушать их. К тому же было еще и стыдно перед Сережей, и Казиком, и кучером. Ведь эти ребята говорили на том же языке, что и мои дедушки, бабуш-

*Короткие штанишки.

** „Поцелуй в задницу!"

ки, а иногда и родители. Они были мне как-то сродни. Но я стыдился их, и еще мучительнее стыдился этого своего стыда.

Из Соболевки мы уехали поздно осенью. Я порядком опоздал в школу. Но зато обогатился такими знаниями, каких не нашел бы ни в одном учебнике. Я научился говорить и читать по-польски; открыл книги Сенкевича и Мицкевича, полюбил историю Польши – всю, начиная от Мешко и Болеслава Храброго до Костюшко, Домбровского и повстанцев прошлого века. Заражаясь волнением моих друзей, я с ними пел „С дымом пожарув...” и „Еще Польска не згинела”. Тогда я был уверен, что Домбровский, о котором говорится в припеве их гимна, это тот же бесстрашный и благородный генерал Парижской Коммуны, о котором писал Либкнехт. Там я навсегда излечился от неприязни к полякам, которую раньше внушали мне Загоскин, Гоголь, воспоминания о польских войсках в Киеве и недобрые шутки иных взрослых. Кроме того, я научился плавать „на вымашку”, играть в крокет, узнал много существенно важного о диких утках, о том, как делают сахар, какие бывают калибры охотничьих ружей и как набивают патроны...

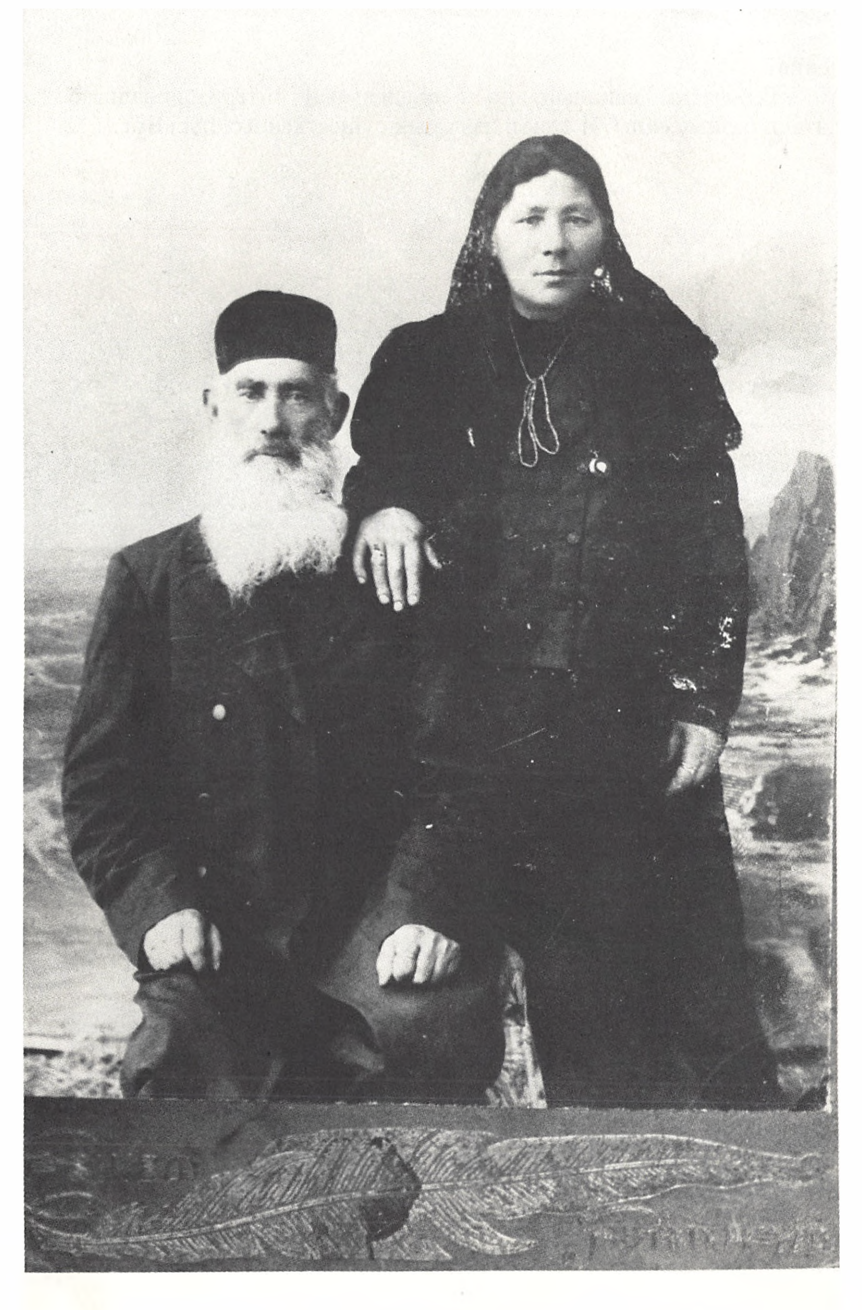
Полюбив Польшу и поляков, я не изменил Германии и немцам. На Рождество мы несколько дней прожили у Майеров, и я опять влюбился в Лили и окончательно решил, что женюсь все же на ней. Хотя не мог забыть Ядзю. А в школе на соседней парте сидела Софа; она еще носила большие банты и короткие платья, из-под которых виднелись кружевные панталончики и цветные подвязки. Но у нее были уже выпуклые груди, и мальчишки на переменках норовили „жать масло” прежде всего из Софы.

Германию я любил уже по-новому – не за королей и полководцев. Я прочитал книгу Алтаева „Под знаменем башмака”*. А в газетах писали о баррикадных боях в Гамбурге. В клубе юков были брошюрки о Марксе, Энгельсе, Либкнехте и Розе Люксембург. И мое детское германофильство легко сплавлялось с тем живым человеколюбием, которым дышали уроки Лидии Лазаревны, повести Короленко „В дурном обществе”, „Сон Макара”, „Без языка”, рассказ Куприна „Гамбринус”, „Итальянские сказки” Горького, скаутские и юковские настав-

* Исторический роман о крестьянской войне в Германии.

ления.

Ребячески наивный, но неподдельный интернационализм питали разные силы. И одной из самых существенных был Бог.



›адед Яков Богданов (1822-1924) с женой. 1909 г.



Лето 1923 г. Деревня Соболевка. Лев сидит третий слева.
С родителями, братом, „бонной" Адой Николаевной и
семьей Вашко.



Лидия Лазаревна (см. гл. 3 и 4), Лев (в меховой шапке, стоит), брат Саня (сидит).

Глава третья

ПОТЕРЯ БОГА

І не лишилось вже нічого...
Ні Бога, навіть ні пів-Бога.

Тарас Шевченко

1.

До шести лет я верил в православного Бога няни Полины Максимовны. Потом еще четыре года верил в лютеранского Бога, в того евангельского Христа, которого чтили Елена Францевна и ее преемницы. Но мне так и не пришлось поверить в еврейского Бога дедушки и бабушки.

Впрочем, по-настоящему набожной была только бабушка, – мать отца. У нее в квартире хранились отдельно мясная и молочная посуда, соблюдался особый ритуал уборки. По пятницам она молилась над свечами. Приходя к нам, она ничего не ела.

– У вас же всэ трэф... Вы й свиню йистэ. Вся посуда не чиста, перемишана...

Она соглашалась только пить чай с тем вареньем, которое сама раньше подарила. Сахар она тоже почему-то считала нечистым.

Но дед, когда приходил к нам без нее, спокойно ел ветчину и любую снедь из любых тарелок.

Бабушкин Бог был мелочен и нелепо требователен. Почему грешно „молочной" ложкой зачерпнуть мясной бульон?

– Грих и всэ. Так Бог наказав и пророки. А ты ще мале порося. Мусиш не пытаты, а слухаты. Не то Бог покарае, ослипнеш, паралик скрутыть руки и ноги.

– А почему папа и мама все едят, а Бог их не карает? (На деда я не хотел ябедничать.)

– Воны апикойресы, гришни – Боже их просты и поми-

луй! – Бормочет что-то сердито по-еврейски. – Я за их молюсь, а ты не пытай, як дурень. Ще малый за батьковы грихы пытаты. Язык в тебе дуже довгий, одризать треба...

Мама часто клялась Богом всемогущим, угрожала: „Будешь врать – Бог накажет. Не будешь слушать родителей – Бог накажет...” Не помню, чтобы она хоть когда-нибудь молилась всерьез. Но осенью перед „судным днем” покупалась курица, и мама вертела ее над головами у меня и брата, бормоча какие-то заклинания. „Это, чтобы от вас все грехи и все болезни ушли.” Потом ту же грешную и больную курицу благополучно съедали. Когда я спросил, не съедим ли мы обратно все грехи и болезни, мама сердито прикрикнула: „Ничего не понимаешь; вот вырастешь – поймешь.” Но позднее пересказывала родным и знакомым мой вопрос, восхищаясь: „Ну скажите, разве не поразительно умный ребенок!”

В судный день мама постилась и упрекала отца, что он ест.

– Ты думаешь, твоя мамаша все замолит. Должно же быть хоть что-то святое в жизни.

Однако мама была не столько верующей, сколько суеверной. Она ничего не начинала в понедельник. Боялась сглаза. Потеряв что-либо, прежде чем искать, завязывала ножку стола платком. Самым верным способом добиться от нее чего-нибудь, было заклятие: „Заклинаю тебя моим здоровьем... сделай то-то, позволь мне то-то.” Когда умерли мамины родители, оба один за другим в 21 году, то мама, ее сестры и братья несколько дней кряду сидели в их квартире на полу разутые. Мне объяснили, что это траур по еврейскому обычаю. Ничего торжественного, а какое-то странное подобие детских игр. Только все печальны.

О „маминой бабушке” я знал, что она тоже не ест трефного, блюдет отдельную посуду и в субботу ничего не делает, а дедушка в гостях охотно лакомится запретными блюдами. Его я однажды видел молившимся. Бледный, с узкой седой бородой, он накрылся белым шелковым покрывалом с черными полосами, обмотал руку ремешками, ко лбу прикрепил черный коробок и надел черную шелковую шапочку. Но в еврейские праздники мы прежде всего навещали родителей отца. „Отцовского дедушку” я не помню молящимся. Он был коренастый, плечистый, краснолицый, короткая седая бородка. Иногда он объяснял мне значение праздника. И любил рассуждать „о политике”.

Говорил многословно и скучно. Я делал вид, что слушаю, и нетерпеливо ждал, когда получу подарок, полагающийся в „Хануку", или когда уже начнем есть пироги с маком, которые бабушка пекла в Пурим.

Самым важным праздником была Пасха. Все дети и внуки должны были приходить на „сейдер" – пасхальный ужин. Мужчины сидели за столом в шапках – у нас дома такое считалось неприличным. В церквах, в кирхе и в костеле полагалось снимать шапку. Это была понятная вежливость перед Богом.

Бабушка замечательно готовила. Это признавала даже моя критически взыскательная мама. Ее фаршированная рыба, фаршмаки, винегреты, печеночные паштеты с гусиными шкварками, борщи и суп с клецками были необычайно вкусны. И великолепна редька, варенная в меду, – горечь и сласть.

Пасхальный стол был особенно обилен. Посреди него красовалась чаша вина для пророка Ильи, все отливали в нее из своих бокалов. Наружная дверь оставалась открытой – чтобы пророк мог войти.

Все было бы хорошо, если бы не запрет есть хлеб. У бабки в пасхальные дни подавалась только пресная безвкусная маца. Однажды я решил схитрить и принес из дому в кармане кусок французской булки. За столом старался незаметно отщипывать. Но был изобличен, бабушка надавала мне злых, жестоких тумаков, велела выбросить булку во двор, вымыть руки, прополоскать рот и еще долго ворчала, перемежая украинские и еврейские ругательства, причитала, жалуясь, что в такой праздник должна была наказывать грешного внука.

Младший брат отца Миша – мама иначе не называла его, как „Мишка-бандит"* – и муж младшей тетки – тоже Миша, прокурор, член партии, во время сейдера перемигивались, отпускали иронические замечания, но так, чтобы бабушка не слышала, и подливали вино в бокал лимонада, который полагался мне.

Несколько раз я задавал традиционные вопросы младшего

* Он побывал в белой и в красной армии, командовал фортом в Севастополе, украл дочь бывшего царского офицера, дезертировал, был уголовником, потом явился с повинной, где-то служил, а бабка обратила его жену в еврейство и даже водила ее в синагогу. Потом он образумился. Учился. Стал инженером „по сельхозмашинам". Погиб в 1941, в первые месяцы войны.

за столом к старшему, заучивая предварительно текст, написанный русскими буквами: „маништано халайло хазе" – „почему мы празднуем этот день?" Потом внуки отыскивали кусок мацы, спрятанной дедом, и требовали выкупа.

Эти подробности пасхального ритуала, хотя и не казались мне такими некрасивыми, как шапки за столом, и такими досадными, как отсутствие хлеба, все же не внушали благоговения. Бабушка, главная представительница еврейского Бога, была необъяснимо сурова и к тому же явно не любила мою маму. Как правило, после каждой их встречи у матери с отцом возникали перебранки. Если мы с братом еще не спали, родители старались говорить по-еврейски, но словосочетание „дайне маме" было понятным и произносила его мама то с ненавистью, то с насмешкой. Отец распалялся, орал „дура", иногда слышались шлепки пощечин. Она истерически кричала „убийца!" и проклинала весь его род. Мы с Саней начинали реветь, и отец уходил, с грохотом швыряя входную дверь.

Так, Бог нашей родни, Бог тех бородатых стариков в длиннополых сюртуках, которые толпились у синагоги, разговаривали нараспев и размахивая руками, не вызывал у меня ни любви, ни почтения.

Мама иногда говорила насмешливо или презрительно: „Тише, что за гвалт, не устраивайте тут синагогу..." – „У такого-то или такой-то противный акцент..." – „Умойся, ты грязен, как местечковый капцан..." – „Сними шапку, ты не в хедере..." – „Не размахивай руками, как остерский жидок..." (в Остре родился отец и жили многие его родственники).

Она же с гордостью уверяла, что ее семья из старого раввинского рода, тогда как отцовская – „безграмотные шикеры", солдаты, сапожники и, в лучшем случае, мелкие лавочники. Отец обижался, сердился и возражал, что она все выдумывает, что ее дед был балагулой (извозчиком), а отец – конторщиком у помещика. А его родные плевали на любых раввинских предков. Они честно зарабатывали свой хлеб мозолистыми руками на мельницах и в мастерских.

Когда мама ссорилась с отцом, то каждый раз напоминала, что у него одна сестра крещеная, а брат – бандит и женат на „шиксе" (то есть, не еврейке) – и кричала, что его мать – ханжа, но своих новых „гойских" родичей любит и только ее, мою маму, ненавидит и попрекает нечистой посудой.

Слова „антисемит", „юдофоб" для нее были бранными, пугающими. Боннам, домработницам и знакомым она объясняла, что есть, мол, евреи, и есть жиды; еврейский народ имеет великую культуру и много страдал; Христос, Карл Маркс, поэт Надсон, доктор Лазарев (лучший детский врач Киева), певица Иза Кремер и наша семья – это евреи, а вот те, кто суетятся на базаре, на черной бирже или комиссарствуют в Чека, – это жиды; жаргон – это испорченный немецкий язык, он уродлив, неприличен, и ее дети не должны его знать, чтобы не испортить настоящий немецкий язык, которому их обучают. А древнееврейский – это прекрасный культурный язык. Сама она его не знала, но соглашалась с бабушкой и дедушкой, которые требовали, чтобы нас с братом учили древнееврейскому.

Тогда же, когда я начал заниматься с Лидией Лазаревной, появился и учитель древнееврейского. Илья Владимирович Галант был до революции профессором истории в Киевском университете. Но в те голодные годы он давал частные уроки иностранных языков и древнееврейского. Он казался мне очень старым, был рассеян, неряшлив; забывал то снимать, то надевать калоши; его пиджак был постоянно осыпан папиросным пеплом, он крутил тоненькие папироски дрожащими, узловатыми пальцами. Пенсне на тонком шнурке то и дело падало с большого синесизого носа, и на дряблых щеках топорщилась серая щетина. Начал он учить меня древнееврейской грамоте; она оказалась такой же скучной, как и гаммы Бейера, которые я разучивал, долгими часами бренча на пианино. И сразу же не понравилось, воспринималось как нелепость, чтение шиворот-навыворот, справа налево.

Зато очень интересны были рассказы Ильи Владимировича. Начинал он просто излагать библейские предания, историю Иудеи. Но потом увлекался и, забывая об учебниках, о Библии, подробно говорил о Вавилоне, об Ассирии, о Древнем Египте, о древней Греции и Риме. А я благодарно расспрашивал, проверял сведения, почерпнутые из исторических романов. Так же подробно и увлеченно рассказывал он о битве при Калке, о Фронде, о Ричарде Львином Сердце, о сравнительных достоинствах Суворова, Наполеона и других полководцев, описывал, как были вооружены египетские и еврейские воины, афинские гоплиты и римские легионеры, рисовал осадные машины и боевых слонов... Илья Владимирович должен был учить меня ев-

рейской религии, но он говорил, что Бог один у всех народов, что во всех религиях есть много предрассудков, но много и хорошего, что и Моисей и Христос были великими пророками, и только наивные фанатики приписывают им божественность. Самым великим пророком для него был Лев Толстой, о котором он говорил с волнением, заметным даже для меня. И с гордостью показывал свою брошюру, – кажется, что-то об истории еврейского вопроса – предисловием к которой были письма Толстого и Короленко.

Дедушка и бабушка с огорчением убедились в том, что после целой зимы уроков профессора Галанта я не знал ни одной еврейской молитвы и не видел никакой разницы между Моисеем и Христом, – благо многие рассуждения Ильи Владимировича совпадали с тем, что говорила Лидия Лазаревна. Когда я ее спрашивал о Боге, она отвечала, что Бог, конечно, не старик с бородой, как на иконах и на картинках, а великий закон любви, идеал добра, та сила, которая позволяет различать, что хорошо, а что плохо.

– А что с нами будет после смерти, где находятся рай и ад, об этом поговорим, когда подрастешь, все это очень непросто...

Мне сказали, что Илья Владимирович заболел и больше не будет давать уроков. Новым учителем стал студент, который должен был обучать меня и древнееврейскому и музыке. Долговязый, худой, очкастый, он постоянно утирал свой длинный розовый нос грязно-серым платком. Не помню, как он учил меня религии и что говорил о Боге. Главным в его уроках были уверения, что все евреи должны уехать в Палестину и создать свое государство. Он учил меня петь сионистский гимн и печальную песню на слова Фруга „Друг мой, я вырос в чужбине холодной, сыном неволи и скорби народной. Два достоянья дала мне судьба – жажду свободы и долю раба."

Но в то время я уже стал юком, умел петь „Интернационал" и был убежден, что сионистских скаутов-маккабистов нужно лупить так же, как „белых" поксовцев и „жовто-блакитных" токсовцев. Когда мечтал о путешествиях и странствиях, то, – никогда о Палестине, а, прежде всего, об Африке, об Индии, о Южной Америке. Очень хотел поехать в Германию, где вот-вот должна была начаться революция, или в Америку, где небоскребы, ковбои, индейцы, негры, и тоже революция

не за горами.

Нового учителя я так не взлюбил, что даже не запомнил его имени. Впрочем, и занятий состоялось немного. Несколько раз он больно щелкал меня по темени за то, что я не выучил заданного. Когда я сказал, что не хочу ехать ни в какое еврейское государство, он назвал меня идиотом, повторяющим чужие слова. Обиженный, обозленный, я сказал ему:

– Если вы такой умный, чего же вы живете в Киеве и учитесь в киевском университете? Уезжайте в свой Эрец Исроэл, а я хочу остаться в Киеве. Это мой город. Я здесь родился...

Тогда он стал по-настоящему лупить меня и драть за уши. Я орал и отбивался. Прибежали мама и Ада Николаевна. Мама кричала: „Убийца! Зверь! Я не позволю трогать моего ребенка грязными лапами. Чтоб ноги вашей не было в моем доме, сопливый меламед!” – и еще что-то ругательное по-еврейски.

Он злобно отвечал ей по-еврейски и ушел, рывком захлопнув дверь.

Мама побежала согревать воду для ванной – отмыть меня от заразы. Ада Николаевна ахала и причитала:

– Das ist ein Henker! Ein Pharissäer! Ein böser pharissäischer Henker! *

Я не успел поверить в сурового еврейского Бога. И как-то неприметно отвык от величественного, нарядного православного Бога. А лютеранский Бог, менее пышный, но более снисходительный, почти семейный „либе Готт”, легко уживался с той светлой обезличенной религией добра, которую внушали уроки Лидиии Лазаревны и Ильи Владимировича.

Когда я впервые прочел „Песню радости” Шиллера –

Brüder, über im Sternenzelt
Muss ein lieber Vater wohnen.

– то воспринял это как ликующую истину, как выражение наивысшего смысла жизни. Моим Богом стал добрый отец всех людей, всех племен и народов, – Бог Льва Толстого и „Сна Макара”, Шиллера и Диккенса.

Ему был сродни Христос из немецких пересказов Евангелия и Сакья Муни из стихотворения Мережковского, который падал ниц перед голодными и нищими. Этот единый и многоликий Бог помогал мне избавляться от смутных мыслишек, от

* Палач! Фарисей! Злой фарисейский палач!

темных чувств, порождающих неприязнь к людям, которые говорят на другом языке, верят другим богам, живут по другим обычаям, принадлежат иному роду-племени.

2.

В четвертой группе я стал постепенно свыкаться со школой. Но именно только свыкаться. Главная жизнь была не в школе, а в отряде, во дворе, на улице, в садах – Золотоворотском, Николаевском, на Владимирской горке, в ботаническом парке... Там мы играли в футбол, в „чижа" (один выбрасывал острую деревянную палочку из гнезда в земле, ударяя по ней второй палкой и стараясь, чтобы „чиж" летел подальше; другие должны были подкинуть его прямо в гнездо, а бросавший отражал), в „казаков-разбойников"; дрались, обменивались книжками... В школе тогда мы еще только учились. Правда, в каждой группе был выбранный староста и каждый день назначался дежурный. Но школьная общественная жизнь началась для меня только с пятой группы.

А самым значительным событием 1923 года, двенадцатого года моей жизни, стала потеря Бога.

Утерял я его, увы, при крайне несерьезных обстоятельствах. Несколько одноклассников пришли ко мне в гости. Мы стали играть в прятки – и Зоря, с которым мы вдвоем заползли под кровать, в душном запахе пыли и старой обуви, сообщил мне, что Бога нет. Меня знобило от скорби и ужаса. Зоря говорил шопотом, серьезно, убежденно. Он узнал это от своего старшего брата и еще от каких-то заслуживающих доверия лиц. Зоря – щуплый очкарик – считался самым образованным в школе; он собирал камни, собирал гербарии, коллекционировал марки, больше всего любил читать про зверей, птиц, вулканы, кристаллы. На его этажерке стояли огромные тома собственного Брэма; на подоконнике – аквариум; в клетках жили птицы – канарейки, щеглы, попугаи, – а в кладовке в ящиках – черепаха, еж и еще какая-то живность.

Отец Зори, врач и известный киевский эсер, в то время был на Соловках; мать – тоже врач – казалась мне чрезвычайно суровой. Сыновей она называла не иначе, как босяками, бандитами, архаровцами, золоторотцами и т.п., и постоянно их

наказывала: запирала в комнате – они удирали через окно по водосточной трубе, оставляла без обеда и ужина – они дочиста обирали буфет и кухонные шкафчики, колотила чем попало – они орали нарочно громкими голосами „убила, умираю!" и ловко увертывались. Старший Гриша учился в профшколе, уже гулял с девочками, был вожатым у скаутов, потом у юков, переплывал Днепр, боксировал, ездил на велосипеде и прыгал с крыши двухэтажного дома – словом, являл нам абсолютный идеал мужских доблестей. Младший Ося учился в третьем классе, но знал такие ругательства и похабные частушки, которых не знал даже Гриша, матерился в рифму, любил сам драться и стравливать других ребят; самыми частыми в его речи были выражения „стукнуться", „дать по сопатке", „пустить юшку"...

Зоря был слабее братьев, но яростно лез в драку, если они посягали на его сокровища. Я уважал в нем ученого, а ему были любопытны мои политические рассуждения и стихи, которые я обильно сочинял, подражая Лермонтову, Некрасову, Надсону и Демьяну Бедному. Были у нас и общие увлечения – Жюль Верн, Майн Рид, история России и особенно Народная Воля. Зоря очень любил отца, уверял, что тот лично знал Желябова и Веру Фигнер, говорил, что отец за советскую власть, но только без коммунистов; Ленина уважает, а Троцкого нет...

В тот знаменательный день под кроватью Зоря начал объяснять мне, что Бога нет и никогда не было, люди произошли от обезьян, а вообще все живое из клеток и амеб. Я и раньше знал, что в Библии много путаницы, что Адам и Ева и Ноев ковчег – сказки. В детской энциклопедии и в неоспоримых томах Брокгауза и Ефрона были статьи с картинками, рассказывающие о Вселенной, о древних эпохах, бронтозаврах, ледниках. Я уже знал, что мир бесконечен, и очень боялся этого. Особенно страшно бывало в темноте перед сном. Или в деревне вечером, под огромным открытым небом, когда вдруг думалось о холодной беспредельности там, над звездами. Бог был единственным утешением.

Пытаясь возражать Зоре, я ссылался на Шиллера и на Пушкина. „И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть..."

Зоря не знал Шиллера и тем более решительно отверг его, а Пушкина призвал в союзники. „Никакого Бога нет, одна равнодушная природа." Он был неумолим. „Стихи – это только фантазии, выдумки, а наука – это правда, и наука доказала, что

Бога нет."

Лидия Лазаревна, к которой я пошел, потрясенный жестоким открытием, опять стала объяснять, что Бог – это нравственный идеал, добро; опять рассказывала про Толстого – царство Божие внутри нас; говорила о силе гармонии, управляющей движениями звезд и планет. Но так она лишь подтверждала урок моего первого наставника в атеизме. Ведь вовсе не это люди называют Богом. Исчез тот всеобщий, добрый и мудрый отец, в которого я верил еще и после ее уроков.

Но я не рассердился на учительницу. Она же не просто обманывала меня, а жалела, хотела предохранить от холодного ужаса бесконечной пустоты, лишенной Бога, от горестного сознания своего ничтожества и бессмысленности жизни: вот умру, закопают, сгнию и все – ничего больше.

Но я старался мужественно преодолеть этот страх. Когда мы приехали на елку к Майерам, и я торжественно сообщил Лили, что наука отменила Бога, она испугалась, затыкала уши, едва не плакала. „Это грех, очень большой, я не хочу слушать, ты не должен так говорить." А потом обещала, что будет молиться за меня, чтобы я исправился. Она ни разу не пыталась ни спорить, ни возражать, просто не хотела слушать. Рядом с ней я чувствовал себя умудренным жизнью и наукой, сильным и храбрым. Но тайком, не признаваясь себе, радовался ее обещаниям молиться. Все-таки это могло оказаться полезным...

После Нового года мы вернулись в город, и к нам приехали из Соболевки погостить Сережа с отцом. Я с гордостью водил друга по городу, показывал Богдана, Владимирскую горку, Золотые ворота, памятники княгине Ольге, Александру Второму, Николаю Первому; жалел, что зима, что он не видит настоящего зеленого Киева, настоящего Днепра.

Сереже я тоже, разумеется, сообщил о своем безбожии. Он не столько испугался, сколько возмутился. В отличие от робкой Лили, он спорил, ссылался на книги, на примеры из истории, из жизни, на случаи исцеления после молитв, на обновление церковных куполов, на чудотворные иконы... Мы спорили жестоко и, хотя я был хозяином, принимавшим гостя, и поэтому пытался сдерживаться, пару раз даже подрались. В то время, подражая какому-то книжному герою, я стал в драках угрожающе скалить зубы и прикусывать нижнюю губу. Сережа так стукнул меня по челюсти, что я высек зубом кусо-

чек мяса и наглотался крови. Обозлившись, я на мгновение забыл о законах гостеприимства и разбил ему нос. Мы быстро помирились. Сейчас, когда я бреюсь, едва заметный шрам иногда напоминает, как я потерял Бога... Я вижу темный зимний вокзал. Сережа с отцом уезжают. Мы с ним целуемся печально, куда холоднее, чем при встрече, и он шепчет сердито, заклинающе:

– А ты помни: Бог есть, Бог есть, ты должен верить.

И я действительно поверил, но уже в совсем других богов.

3.

Вечером пришел дедушка, встревоженный: „Ленин умер. На Думе черный флаг повесили." Я закричал: „Это опять враки. Сколько раз уже такое говорили!" Отец дал мне подзатыльник: „Не смей дерзить дедушке, болван! Пошел вон!"

Я ушел в детскую, лег на кровать и ревел в подушку. Я верил, что горюю о Ленине, что ненавижу буржуев, которые хотят его смерти, ненавижу отца и деда. Но в тот же вечер все оттесняли обычные, предсонные мечты, воинственные и тогда уже эротические. Я командовал боевым кораблем, преследовал пиратов, открывал новые земли, вроде таинственного острова Жюля Верна, цветущие в неизвестных теплых течениях, и обязательно спасал голубоглазых девушек с длинными золотистыми локонами, в белых кружевных платьях, перепоясанных широкими синими шелковыми лентами. Раньше такие вечерние мечты бывали жестокими: я бил девочек за какие-то вины по нежнорозовым ягодицам, а они каялись, плакали, целовали меня. Позднее я уже спасал их от побоев, наносимых другими... В скаутскую пору мне объяснили, отчего рождаются дети. Сначала было противно до тошноты. И почти болезненно стыдно от мысли, что все взрослые так. И мои родители, и дедушка с бабушкой. Так же, как собаки, на которых мне показывали „просветители", как было нарисовано углем на стенке в дальнем дворе... Не хотелось верить, и я спросил у Лидии Лазаревны, единственной взрослой, которой верил. Она долго рассказывала, краснея и сморкаясь, о цветах, тычинках и пестиках, о законах природы. Говорила, что подробности мне знать ни к чему, что в свое время все узнаю, но должен запомнить,

что только невежественные, грязные люди могут произносить гадкие слова и смеяться над прекрасной тайной двух людей. Ведь это любовь. Из этого возникают дети, семьи, продолжается человеческий род...

Слушал я жадно и благодарно, с чувством радостного облегчения, словно избавлялся от липучей пакости. Но уже несколько минут спустя я смотрел на ее широкие, мягкие бедра и вспоминал ее щуплого мужа – инженера, молчаливого, всегда глядевшего словно бы удивленно сквозь круглые очки, приветливо улыбаясь из-под щеточки усов. И мерещилось: вот и они так же, – тычинки и пестики...

Предсонные мечты, – когда с головой под одеялом и в плотно зажмуренных глазах пестрые искры, цветные пятна, узоры, а потом живые картинки, – становились разнообразнее. Желанные девушки появлялись уже не только с распущенными золотыми волосами и в белых кружевных платьях, но и такие, как вожатая Аня – стриженые, отмахивая пряди со лба, в белых апашках и синих плиссированных юбках. Я целовал их и спал с ними в одной постели, хотя все же не совсем ясно представлял себе, что при этом нужно делать. И я уже не просто командовал кораблями, преследуя пиратов и открывая неведомые острова, я воевал за революцию, строил баррикады в Париже и в Берлине, становился вождем американской „народной воли"...

В ту январскую ночь я приезжал к Ленину из революционной Англии, завоевав сердце королевской дочери, этаким красным д'Артаньяном, и Ленин назначал меня Наркомвоенмором Англии, командующим всем флотом. Он очень хвалил меня: „Ты молод, но доказал, что достоин." И Ленин говорил обо мне самыми лучшими словами Лидии Лазаревны: „Настоящий революционер – идеалист! Благородный, бескорыстный юноша." А я гордо проходил мимо смущенно молчавшего Троцкого. Вожатая Аня смотрела на меня влюбленными глазами. Сережу я назначил своим первым помощником, осыпал благодеяниями всех ребят из нашего двора, из группы, из отряда...

Утром по дороге в школу я увидел на первом же углу толпу у афишной тумбы. Лист в черной рамке: сообщение о смерти Ленина.

В школе вместо первых уроков несколько групп объединились в музыкальной комнате и мы разучивали песни: „Вы жертвою пали", „Замучен тяжелой неволей", „Не плачьте над

трупами павших бойцов", повторяли „Интернационал" и „Заповит". Песни были печально торжественные. Некоторые девочки плакали. Но после большой переменки начались обычные уроки. По расписанию был французский. Месье Картье – высокий, с большим овальным лицом, великолепным пробором, уже издалека источал запах одеколона. Мы его почему-то прозвали „картошкой" и придумали нелепые стишки: „Месье картошка, влюблен немножко, пэт этр, фенэтр, сантиметр." На уроке я стал сочинять стихи о Ленине. И строфа за строфою показывал их Зоре. Стихотворение было высокопарным и невероятно длинным. В первом варианте оно начиналось: „Погиб наш вождь, невольник чести." Зоре стихи нравились, и он давал дельные критические советы. Так, он сразу же отверг „невольника чести".

Месье Картье заметил нашу переписку, – мы сидели за разными столами (в школе вводили Дальтон-план и не было парт), – и выхватил у меня исписанные листки: „Кес ке сэ? Пошему ты опять мешаль урок?"

Я смотрел на него страдальчески и гордо: „Это стихи на смерть Ленина. Может быть, вы знаете, что вчера умер наш вождь товарищ Ленин?"

Картье смутился, вернул мне листки и отошел, пробормотав, что надо все-таки вести себя прилично, тем более, в такой печальный день.

В отряде мы еще долго читали вслух стихи и рассказы про Ленина, пели траурные песни. Ребята постарше рассуждали о том, кто теперь будет вместо него. Некоторые называли Троцкого. Им возражали, что он даже на похороны не приехал. Называли Калинина, Луначарского, тогда я, кажется, впервые услышал имена Рыкова, Зиновьева и Каменева. Но о Рыкове чаще всего говорили непочтительно: пьяница. Поэтому и водка – „рыковка".

Летом 24-го года мы жили на даче в Дарнице. Фамилия хозяина дачи была Шевченко. А его сына, моего ровесника, звали Тарас, чем он очень гордился. Наш дачевладелец был лишенцем – „куркулем", кроме того дома, который он сдавал на лето, ему принадлежали еще две хаты, мельница, и никто не знал точно, сколько у него коров, коней, овец. Когда я спрашивал Тараса, тот отвечал:

– Скильки треба, стильки и е. А я не знаю, бо то не вси

батьковы, а есть которых тетки поставили у нас, бо чоловики в москалях, ну, значить, в армии.

Тарас объяснял, что куркуль – это поганое слово, придуманное босяками, лодырями из комнезама*.

– Ленин говорил: „Даешь культурных хозяев!" – хотел, чтоб селянин был культурным. Мой батько был в червоной армии, героем был, с пулемета стрелял, ранетый сколько раз, а потом стал культурный хозяин. Вот у него и молотарка и сепаратор, и сеет не на три поля, а как по культуре надо – на семь полей. Ну, а комнезамы против культурных селян. Вот и дразнятся „куркуль". Ленин был за селян, за Украину. А комнезамы и Троцкий за городских, за москалей...

Тарас рассказывал, когда батько услышал, что Ленин умер, то сел вон там на бревнах в углу двора, и целый день плакал и ни до кого не говорил.

Отец Тараса был угрюмо суров: висячие серые усы, красно-бурые, клешнистые руки. Однажды за какие-то грехи Тараски он ухватил его за волосы и стал хлестать кнутовищем так яростно, что тот, взвизгнув разок: „Ой, тату, не буду," – потом лишь надрывно орал на одной нескончаемой пронзительной ноте. Отброшенный коротким злым пинком, он забился под веранду и долго тоненько всхлипывал: „Вси кости перетрошив..."

Я дрожал от ужаса и жалости и хотел немедленно бежать в милицию. Но Тараска обреченно шептал, хлюпая носом: „Не смий, його вся милиция боится. Вин може всих поубивать, вин як Махно..."

И этот грозный человек, бесстрашный и беспощадный, как те запорожцы и гайдамаки, о которых я читал у Гоголя, Шевченко и Сенкевича, плакал, когда умер Ленин. Он говорил моему отцу, с которым иногда советовался, называя „гражданин агроном" и стараясь произносить слова по-русски:

– Як бы Ленин был живой, он бы дав нам настоящую волю хозяйствовать. Он понимал и уважал сельского хозяина. А эти, як их там, цыковы-рыковы, что они понимают? Троцкий тоже до нас неласковый. Он городской, военный. Конечно, там на фронтах он был герой, главком. Это я добре знаю, сам воевал и в Петрограде, и на Перекопе, и аж в Сибири. Но теперь эти цыковы-рыковы уже и Троцкого наладили, сами царевать хочут.

*„Комитет незаможних селян". В России – комбед, т.е. комитет бедноты.

Значит будет разруха и в селе и в войске. А без села и без войска держава не стоит. Тут английцы и французы, и японцы и поляки нас голыми руками поберут.

Потом отец несколько раз пересказывал своим приятелям этот разговор как пример народной мудрости. Он вспомнил о мрачных предсказаниях нашего дачевладельца, когда в газетах было опубликовано ироническое письмо Бернарда Шоу советскому правительству и злой рифмованный ответ Демьяна Бедного, который называл Шоу „вяленой воблой" и восклицал: „До какой же ты подлости довялена!" Я, разумеется, был целиком на стороне Демьяна, почитаемого мною автора „Главной улицы". Наша группа выучила эту поэму наизусть и декламировала ее на разные голоса со школьной сцены и в день годовщины Октября, и в день Парижской Коммуны, и 1-го Мая, и в первую годовщину смерти Ленина. Правда, я не принадлежал к тем энтузиастам, которые считали это самыми лучшими из всех стихов, когда либо написанных. Я соглашался, что стихи у Демьяна Бедного, возможно, лучше, чем у Пушкина и Жуковского, – ведь те были аристократы, – но у Лермонтова и особенно у Некрасова, пожалуй, не хуже получалось.

В ту зиму я в первый раз в жизни попал в оперу, слушал „Демона", после чего то и дело распевал „не плачь, дитя, не плачь напрасно" и „будешь ты царицей мира", а в литературных спорах отражал оппонентов сокрушительным аргументом, что стихи, которые стали оперой, несомненно значительнее таких, которые остаются только стихами. „Сказка о царе Салтане" и „Евгений Онегин" восстановили в моем сознании пошатнувшийся было авторитет Пушкина.

Но Демьян Бедный, даже уступая авторам оперных стихов, был неизмеримо выше какого-то нахального англичанина. Несколько книжек Шоу, оказавшихся в отцовском шкафу, были заполнены малопонятными пьесами и многословно скучными статьями. А союзник Шоу – отец Тараса, был куркулем, и я уже знал, что это кличка сельских буржуев. Но моя защита Демьяна Бедного, обличения дарницкого Шевченко и далекого Бернарда Шоу закончились тем, что отец надавал мне пощечин: „Болван! идиот! Повторяешь, как попка, газетную брехню! Попка-дурак! Не смей читать эти вонючие газеты!"

Мать заступилась, как всегда с воплями и слезами: „Ой, ты убьешь ребенка! Чего ты от него хочешь, ведь его этому учат!"

– Ах, этому их в школе учат! Так я тебя лучше в сапожники отдам!

4.

Осенью 24-го года я перешел в пятую группу в другую школу – в „Единую трудовую школу №6"; она помещалась в здании бывшей реальной гимназии, напротив маленького сквера, где тогда еще стояла белая статуя княгини Ольги и по обе ее стороны такие же белые изваяния монашек и монахов.

В отличие от немноголюдной школы Лещинской, где всем заправляли директор и учителя, – это называлось „старорежимный прижим", – новая школа была огромной, многолюдной и привольной. Одних пятых групп было четыре („а", „б", „в", „г"). Я попал в группу „б", которая, разумеется, оказалась лучшей в школе, самой дружной, самой сознательной и, конечно, именно в ней были самые боевые пацаны.

Директор школы товарищ Маркман до революции был сапожником. Он говорил невнятно, картаво и певуче. Поэтому выступал редко и немногословно.

– Ну вот, издесь все в общем и целом сказали пхавильно. Значит, надо, чтобы сообща, как следуит, учеба по-ленински, значит. И чтоб дисциплина и успехи. И на отлично, значит. И учком тоже должен, значит, обеспечить дисциплину и учебу. И чтоб учителям не ставить палки в колеса, значит. Никакая демагогия, никакая па-ахтизанщина, никакой хулиганизм нельзя допускать. Нам хабочий класс и советская власть создают какие условия! Значит, единая тху-удовая школа. Учебные пособия. Помещение. Вот буфет для питания, высшее качество. Мастехские имеем. Учком, свое самоупхавление. Значит, даешь учебу. Сейчас надо уже не даешь Вахшаву, а даешь учебу. Это, значит, надо понимать, надо иметь сознательность школьническая, ну, школьная, такая, то есть всеобщая сознательность по заветам Ильича, значит, даешь учеба на отлично...

Настоящим хозяином школы был завуч Николай Иванович Юдин, оставшийся еще от реальной гимназии. Он преподавал физику в старших группах. А его жена, сухонькая, тонкогубая француженка, преподавала географию с тех пор, как отменили уроки французского.

Когда „проходили" Египет, она рассказывала, как Наполеон, воодушевляя своих солдат, говорил о том, что „сорок веков смотрят на нас с высоты этих пирамид". И потом обязательно спрашивала: „А ты помнишь, что сказаль император Наполеон о пирамидах?" и „Почему это сказаль император Наполеон?" – и сладенько улыбаясь, кивала, когда отвечали правильно. Я ответил урок сносно, однако на вопрос о Наполеоне возразил:

– А зачем это нужно повторять, что сказал какой-то император? Он был угнетатель народа, эксплуататор, контрреволюционер и ни при чем к географии.

Маленькое остренькое личико учительницы покраснело, румянец был влажный, гневный.

– Ты говоришь глюпость. Император Наполеон был великий гений.

– Он был злой гений, и никакой не великий, а контрреволюционер, белогвардеец, он французскую революцию в крови утопил.

– Это неправда, это глюпий ложь. Ты глюпий, дерзкий мальчишка. Уходи из кляса.

– За что уходи, я урок знаю.

– Уходи из кляс, я буду тебе ставить неуд.

– Ах, так! Значит, неуд за то, что я не признаю вашего Наполеона, да еще из класса уходи. У нас тут не старорежимный класс, а группа, советская школа. И нам не надо никакого Наполеона, никакой контрреволюции.

– Уходи из кляс, сейшас уходи, немедленно! Ты есть дебошир, ты есть анаршист...

Теперь она уже кричала, стуча по столу маленьким кулачком, и в пискливом голосе дрожали слезы. А я чувствовал себя все сильней и азартно наглел.

– Ладно, я уйду! Но не один. Ребята, кто против старого режима, давай за мной. Пусть она тут остается со своим Наполеоном.

Почти все пацаны и даже кое-кто из девочек с веселым гудением ринулись к двери. Урок был сорван. Меня в тот же день вызвали на учком, пришли Маркман и Николай Иванович, был долгий спор, за меня заступался представитель шестых групп Филя Фиалков, а председатель учкома Толя Грановский, – он был уже комсомольцем, носил кожаную куртку и огромную

кепку, – назвал меня идиотом с партизанскими ухватками, за что я возненавидел его на всю жизнь. Но и сам себе не признавался в этом, так как чтил его величие, когда он так уверенно, угрюмо председательствовал на собраниях и хриповато, надсадно ораторствовал, призывая к сознательности, к смычке с деревней, ко всеобщему вступлению в ряды МОПРа или общества „Друг детей".

Учком вынес мне выговор за срыв урока, но отметил и неправильную политическую линию преподавательницы. Вскоре после этого собрания меня выбрали в учком и я стал членом редколлегии общешкольной газеты „Ленинская искра". Кроме того, как пионер, я участвовал и в сборах пионерского „форпоста". Стенгазетой заправляли девочки из 7-го класса – Инна Антипова и Таня Юрченко; Инна – светлорусая, стриженая, писала стихи, поражавшие меня великолепием составных слов: „динамит-кличи", „энерго-взлеты", „победо-май". Таня была рослой, крепкой физкультурницей, с каштановой косичкой и чуть раскосыми темными глазами.

После долгих колебаний, – в кого из двух, – я влюбился в Таню, однако, не смел признаться. Несколько раз по вечерам я рвал цветы на клумбах городских садов, ловко укрываясь или удирая от сторожей. Опасность придавала особую значимость букетам, которые я потом засовывал в ручку двери Таниной квартиры и, позвонив, стремительно удирал. Когда на следующий день в комнате учкома, где мы делали газеты, Таня рассказывала, что опять какой-то неизвестный подкинул огромный букет цветов, а мама дразнит ее и называет неизвестного почему-то печальным рыцарем, я старался не глядеть на нее, краснел, потел, делал вид, что не слушаю, и боялся упустить хоть слово... Год спустя, уже многоопытным парнем, испытавшим первые любовные разочарования, я встретил Таню, которая после семилетки поступила в профшколу, и признался, что это я носил букеты. Она смеялась, сказала, что сама догадалась, „но нельзя же девочке спрашивать". Три года спустя я узнал, что Таня утонула, переплывая Днепр, полночи плакал.

Иногда в поезде вечером, проезжая незнакомые места, вдруг замечаешь освещенное окно, силуэт девушки, и на мгновение уверен – вот оно, счастье; сейчас бы соскочить на ходу, пойти к ней. А потом несколько минут саднит печаль. И много времени спустя еще вспоминается то окно и та неведомая девуш-

ка, каждый раз по-другому прекрасная, единственная...

В учкоме и на форпосте моими главными делами были стенгазета и борьба за дисциплину. Мы должны были заботиться, чтоб не дрались на переменках, не убегали с уроков, не били стекол, не воровали в буфетах пончиков. Учкомовцы по очереди дежурили – т.е. расхаживали по коридорам и по двору, разнимая дерущихся, успокаивая слишком резвых и шумных пацанов из младших групп.

Эти милицейские обязанности я не любил не только потому, что иногда самому доставалось от более сильных нарушителей, но еще и потому, что очень трудно отделить усилия охранителя порядка от обычной драки, если тебе тычут кулаком в скулу или под ребра. Как тогда ограничиться увещаниями и призывами к сознательности? И всего труднее было соблюдать справедливость. Самые отчаянные „бузотеры" и „битки" Сева Морозов, Петя Вильскер и Коля Сивачев учились в моей группе – причем Петя и Коля были моими „корешками" и родственниками моего лучшего друга Коли Бойко. Все они снисходительно иронически относились к общественной деятельности. Их занимали главным образом футбол, Нат Пинкертон, летом Днепр, а зимой коньки и во все времена года кино: в какой клуб легче „протыриться", т.е. пройти без билета, чтоб в десятый раз посмотреть Гарри Пиля, Дугласа Фербенкса, „Красных дьяволят" или „Трех мушкетеров".

Коля Бойко читал те же книги, что и я, любил исторические романы и душевные стихи. Мои учкомо-пионерские дела он то называл „бузой" вроде собирания марок, то вдруг распалялся грандиозными и неисполнимыми проектами усовершенствования, чтобы были свои клубы, оркестры, живая газета, библиотека и даже общежитие-коммуна. С Колей можно было всерьез толковать на политические темы. И чаще всего наши взгляды совпадали. Мы безоговорочно почитали величие Ленина, были убеждены, что Советская Власть самая правильная, самая справедливая власть на земле, а большевики самая лучшая партия. Так же думали и в то же верили, пожалуй, все наши товарищи в школе и в отряде. Политические разногласия возникали только по частным вопросам – кто важнее: Троцкий или Буденный, правильно ли, что советское государство торгует водкой, нужно ли учить в истории про царей...

5.

К Троцкому я впервые испытал чувства приязни, когда прочитал в школьной хрестоматии „Освобожденный труд", в чьих-то воспоминаниях о гражданской войне, как доблестный наркомвоенмор вдохновлял своими речами бойцов, бесстрашно и находчиво командовал, а после боя обнимал и целовал красноармейцев, не имея для них других наград. В книге Ларисы Рейснер „Фронт 1918 года" Троцкий представал уже вовсе легендарным героем. Он вместе с охраной своего поезда отразил налет казаков, забросав их консервными банками, которые те приняли за гранаты и бежали, подставляя спины меткому огню малочисленных, но хладнокровных стрелков.

Прозу дополняли стихи. Моим любимым поэтом после Демьяна Бедного в то время стал Есенин; меня восхищали и его соблазнительно грешные, кабацкие, хулиганские стихи и героические – „Повесть о великом походе", „Баллада о 26-ти". В „Повести" были слова, которые впоследствии исчезли из новых изданий: „Ленин с Троцким наша двойка, ну-ка пробуй-ка, покрой-ка... Ой, ты атамане, не вожак, а сотский, и зачем у коммунаров есть товарищ Троцкий? Он без слезной песни и лихого звона приказал коней нам наших напоить из Дона."

Словесник Владимир Александрович Бурчак был похож на портреты Шевченко – лысый, с густыми седеющими запорожскими усами и густыми бровями. На вид он казался суровым, но в действительности был добродушен и наивно хитроват. Он так же, как Лидия Лазаревна, любил Некрасова больше, чем Пушкина. Но Лидия Лазаревна, посетовав на то, что Пушкин писал „нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю", могла сразу же вслед за этим добрый час читать пушкинские стихи, утирая слезы восторга... А Владимир Александрович только иногда „зачитывал" несколько строф для примера и говорил сердито:

– Стихи у него, конечно, прекрасные, очень прекрасные, но крепостных он имел и на волю не отпускал. А герои у него кто? Такие же господа, как он, паны и панычи, те самые, кто мужиков пороли и продавали, как скот, на собак меняли. Мазепу и Пугачева он как показал? Негодяями и преступниками.

А они кто были? Народные герои! За свободу воевали. Зато царь Петр у него как показан? Почти святой! А ведь от Петра-то и пошло настоящее самодержавие, всеобщая солдатчина, жандармы...

Это звучало убедительно, хотя и вызывало трудные сомнения, Сколько я себя помнил, я любил Петра, царя-героя. Любил его, благодаря Пушкину, благодаря золотообрезной книге из серии „Жизнь замечательных людей", благодаря Брокгаузу и Ефрону, романам Данилевского и Мордовцева и, наконец, благодаря опере „Царь-плотник". Царя изображал друг моего отца Николай Николаевич Орешкевич. Он красиво пел и замечательно лупил голландских солдат табуреткой и даже столом. В Петре соединялось множество дорогих и важных для меня свойств: он был храбр, добр, любил Россию, – „о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога", – и в то же время любил немцев, называл города немецкими именами...

Но потом я узнавал о нем и дурное. У калитки Золотоворотского сада сидел молодой слепец-лирник. Высокий, тяжелый лоб нависал над маленьким треугольным лицом. Светлая, вышитая, „гаптованная" сорочка виднелась из-под потертого городского пиджака. Серая барашковая шапка лежала на тротуаре на аккуратно расстеленном рушнике с черно-красными узорами. В шапку бросали деньги. Вертя ручку старой коробчатой лиры, которая позванивала печальными и тоненько дрожащими медно-проволочными всхлипами, он не то чтобы пел, а скорее выговаривал напряженно повышенным гортанным речитативом старинные „Думы" и стихи Шевченко, заунывно вытягивая концы строк...

„Ой, ляхи и татары дывылысь, жахалысь, як Петрови злые каты над нами знущалысь. Як погналы на болота столыцю робыты и заплакалы по батьках голодныи диты."

На Владимирской горке другой слепец, старый седоусый бандурист в холщевой драной сорочке и холщевых штанах тоже выпевал стихи Шевченко вперемежку с думами про Морозенко, про дивку-бранку Марусю Богуславку. И тоже пел скорбно-сердито и о Петре, и о Екатерине Второй: „Катерина, вража дочка, що ж ты наробыла..."

В школе мы учили историю по книжечкам-выпускам „Русская история" Шишко. На блекло-синих, блекло-зеленых и мутно-красных обложках был эсеровский девиз: „В борьбе обретешь

ты право свое". В этих книгах описывались все цари как тираны, самодуры, дураки и развратники. Петру было посвящено несколько очень злых страниц, на которых попадались и вовсе непонятные мне ругательства: садист, сифилитик, параноик... Пришлось обращаться за помощью к энциклопедии. Правда, мое доверие к урокам истории существенно ослаблялось тем, что всем нам не нравился преподаватель – плешивый желтолицый старик с грязно-седой бороденкой и мокрым лягушачьим ртом. Он плохо слышал и, спрашивая урок, вызывал к столу, требовал, чтоы говорили громко, хватал за плечи и придвигал к себе цепкой липкой рукой. А девочек иногда и вовсе не отпускал, гладя плечи, хихикал. „Так, деточка, так, а засим расскажи, откуда пошла поговорка 'вот тебе, бабушка, и Юрьев день' "? Этот старый слюнявый козел тоже ругал Петра. Как тот поганый дьяк, о котором писал Есенин: „у царя Петра с плеча сорвался кулак. И навек задрал лапти кверху дьяк."

Царь Петр вызывал сомнения, а Наполеон – тем более. Книга Эркмана-Шатриана „Волонтер 1813 года", стихи Лермонтова, романс „Во Францию два гренадера", который очень выразительно пели Николай Орешкович и мой отец, представляли Наполеона не только великим императором, но и хорошим человеком, доблестным „маленьким капралом". Но я прочел „Войну и мир". Первый раз читал, опуская французские тексты, описания природы и пересказы, кто что думает. Но, не отрываясь, упоенно, читал о событиях – Толстой описал Наполеона куда убедительней, чем Шишко, который просто бранил узурпатора, душителя великой революции, кровавого идола солдатни.

И я решил, что несправедливо сравнивать с ним нашего геройского наркомвоенмора.

Осенью 1924 года появились статьи об „Уроках Октября", в них о Троцком писали зло и неуважительно, доказывали, что он всегда был противником Ленина, меньшевиком. Статьи Зиновьева и Каменева меня не убедили, они были многословны, иногда просто непонятны, к тому же они сводили личные счеты. Троцкий еще раньше напомнил, что Зиновьев и Каменев накануне революции струсили, пошли против Ленина, вот они и обозлились и „едут на обратных".

Именно тогда я впервые услышал имя Сталина. Из всех, кто писал против Троцкого, он мне показался наиболее понятным. Но он доказывал, что Троцкий не был великим полковод-

цем, а я не мог этому поверить после „Освобожденного труда", после Есенина и Рейснер. К тому же Сталина опровергал сам Шурка Лукащук, бывший ординарец Котовского... Он учился в седьмой группе, был старше всех, – ему уже исполнилось семнадцать.

Широколицый, скуластый, чубатый, он носил матросскую форменку, распахнутую почти до пупа и брюки-клеш необычайной ширины и длины, так, что ботинок не было видно. Фуражка-блин то непонятно как лепилась к затылку, то надвигалась на самый нос, широкий, угрястый, лихо вздернутый. Он плевал необыкновенно шумно, с присвистом и на огромные расстояния, сморкался в два пальца, ходил „по-моряцки" – вразвалку, круто сгибая колени. На школьные вечера он нацеплял кобуру с наганом, которая свисала на правую ягодицу. Шурка был сиротой, жил в детдоме и, как уверяли его почитатели, каждое воскресенье ходил обедать и пить чай к Котовскому. В школе у него не было друзей. Нас, „мелких шибздиков", он презирал величаво, не снисходя даже до затрещин. Активистов, уговаривавших его выступить с воспоминаниями, он отшивал безоговорочно.

– Нет, не буду трепаться. Григорий Иванович сам не трепется и не уважает таких, кто „бала-бала-бала, мы – герои"... Возьмите книжки и почитайте, там все написано, за Григория Ивановича и еще за кого надо.

В школе о Шурке рассказывали легенды: он из нагана за сто шагов убивает летящую ласточку... Наган у него дареный за храбрость, и поэтому он его может носить даже в школе... У него есть любовница! Кто-то даже пытался утверждать, что у Шурки есть незаконный ребенок.

Иногда в благодушном настроении Шурка заходил в учком или на пионерский форпост. Он садился на стол или на подоконник – так он, приземистый, мог на всех смотреть сверху вниз, и, засунув руки в карманы клеша, курил, ловко двигая папироску губами туда и обратно, или, зажав ее в одном углу рта, метко плевал через всю комнату в урну. Если учком обсуждал поведение какого-нибудь злостного „волынщика", который сорвал урок, обругал учителя или дрался на переменке, Шурка иногда вмешивался и говорил хриповато:

– Та шо его уговаривать, як слона. В гражданку мы таких шлепали. К стенке, и все. А теперь гнать надо. Хай идет в котел

до беспризорников, если ему рабоче-крестьянская трудовая школа не нравится.

Несколько раз Шурка снизошел и до редколлегии, одобрил нашу стенную газету и даже похвалил мои сатирические стихи, которые я подписывал „Жало”. Я был счастлив и старался выспросить его о прошлом. Он рассказывал, постепенно распаляясь.

– От раз послал Григорий Иваныч разведку до одного села. А те разведчики зашли только на край, в одну-две хаты. Напились там воды чи молока и вертают. Говорят, порядок. Пошли в село колонной, поэскадронно, з музыкой. А там банда. Махно. Как ушкварят из пулеметов... Японский бог! Наших, может, двадцать – ни, двадцать два – убитых, а сколько ранетых, так без счета. Ну, Григорий Иваныч, как положено: даешь боевой порядок! Захождение с флангов. Развернули тачанки с пулеметами. Батарея вдарила. Потом уже лавой. Рубай все на мелкие щепки!.. Взяли село... Тогда он зовет тех, которые в разведке были, кто живые остались. Через вас, говорит, погибли геройские товарищи. Через вас наша кровь марно потекла. За это вам кара: всех до стенки. Полный расстрел без всякой пощады. Там один хлопец был, ну трошки застарше меня. Григорий Иваныч его любил, сам воспитал. Смотрит на него, покраснел, еще больше заикается, чем как всегда. „Ты, каже, мне за сына был, я на тебя надежду имел... Но пощады тебе не дам.” Комиссар тот пожалел хлопца. Каже: „Может, этого помиловать, как несовершенные у него года.” Но Григорий Иваныч только глазом зыркнул и зубами скрипнул: „Н-нет, каже, справедливость одна для всих. Стреляйте его в мою голову...” Ну и постреляли... А они что? Стояли молчки, понимали же, что виноватые. И Григорий Иваныч тот потом ночью плакал и еще целу неделю глаза кажно утро червоные были. Так переживал.

Несколько раз Шурка повторял рассказ о том, как сам Котовский отбирал бойцов.

– Наша котовская дивизия была самая славная на всю Украину, на всю Россию, да, може, и на весь свет. Геройская дивизия. Одно слово: непереможна, непобедимая. И скрозь до нашей дивизии шли добровольцы. И городские и сельские. Кто босой, обдертый, голодный, а кто на своем коне со справным седлом, с карабином или с шашкой; с той войны сберег или отнял у кого. И еще мешок харчей везет. Григорий Иваныч сам принимал каждого и спрашивал: ты, значит, кто будешь, кто

батько, зачем воевать хочешь? И завсегда давал такой последний вопрос: а в Бога веруешь? И если кто скажет „верую", то Григорий Иваныч говорил: тогда ты мне не подходящий. Хоть бы какой геройский был с виду, и с конем, и с оружием, – не брал. Иди, говорил, до кого другого. Потому, что у меня так: я в людях понимаю, и когда человека узнал, то знаю шо с него ждать, шо спрашивать. Но если у него Бог есть, то я уже не могу знать, шо ему той Бог прикажет. А у меня в дивизии должен быть один бог – комдив.

Когда в газетах начали писать про „Уроки Октября", Шурке не нравилось, что ругают Троцкого. „Это все тыловики на него кидаются, интенданты сраные на геройского наркома гавкают." Зиновьева и Каменева он презирал безоговорочно. „Эти же и пороху не нюхали, только заседали там, трепались, книжки читали, бумажки писали." О Сталине отзывался мягче, но тоже неодобрительно.

– Этот на фронт ездил. Ну, был вроде комиссара. Но только до товарища Троцкого ему, как взводному до Григория Ивановича. Калибр не тот. А злой он на Троцкого за то, что ему когда-то по жопе насмалял, бо он плохо воевал. Война – не в игрушки играть, там строгость нужна. Лев Давыдович строгий, еще строже от Григория Иваныча. Он тоже своих стрелял, когда надо. Вот Сталин и заимел на него зуб. А теперь с этими интеллигентами-интендантами на него кидается. Но так не по-бойцовски, не...

Шурка был для меня величайшим авторитетом. Однако ему внезапно противостал сам Демьян Бедный.

Вожатый нашего отряда, рабфаковец Сеня, настоящий пролетарий, проработавший уже целый год учеником токаря, и высокообразованный комсомолец – он даже на сборы отряда приходил с пачкой книг, среди которых были сочинения Маркса и Ленина, – утверждал, что Демьян был самым близким другом Ленина и что его нужно считать не просто великим поэтом, но еще и вождем революции. И вот в газете „Правда" появилось большое стихотворение Бедного „Бумеранг", в котором описывалось, как автор ходил к разным вождям. Троцкого он не застал, но увидел каких-то ленцнерят (Ленцнер был редактором собрания сочинений Троцокого), которые зубрили по складам „у-у-ро-ро-ки-ки Ок-ок-тя-тя-бря-бря". После чего остроумно и складно говорилось: „что-то в этом бряканьи намечалось, но Октября

не получалось". Я воспринял это как образец блестящей и благородной поэтической критики. Демьян не согласен с Троцким, но не ругает его лично, а потешается над какими-то ленцнерятами, тонко показывая свое отрицательное отношение к „Урокам Октября". Рифмованные описания встреч поэта с Калининым, Зиновьевым, Каменевым, Рыковым не произвели на меня особого впечатления, но очень понравилось, как он посетил Сталина – добродушного, приветливого, простецкого молчальника. Поэт наседал с разговорами, а тот только улыбался: „Нам бы с Францией надо понежней, с голубкой – запыхтел трубкой. С Англией бы поладить давно – поглядел в окно..." А на прощание сказал ласково: „Заходите, так приятно поговорить."

Вожатый Сеня тоже считал, что Сталин – один из хороших вождей, такой же, как Бухарин. Они оба не носят шляп и галстуков, до которых стал унижаться даже Калинин. Ну, может, ему и надо для иностранных послов, как Чичерину. Но вот Рыков, Луначарский, Каменев, Зиновьев – почему они фигуряют, как буржуи? Это уже получается обрастание. Троцкий тоже задается, хочет быть первым над всеми. И на Ленина критику навел, да еще исподтишка, когда Ильич умер. Он и раньше был против Ленина, но потом замирился, получил доверие. А теперь думает, что по-своему командовать будет. Нет, маком! Вот Сталин, сразу видно, рабочая душа. И как одетый и как пишет. По-рабочему, красиво и просто.

Сомнения, которые в те годы возбуждал Троцкий, не умаляли его величия, даже придавали ему некую живую реальность, привлекательность. Ведь разноречивыми были оценки всех великих людей – царя Петра, Наполеона и Бисмарка, которого так чтили мои бонны и Ганс Шпанбрукер, а потом оказалось, что он был за царей, против рабочих и против Парижской Коммуны.

А Сталин казался мне похожим на некоторых героев Дюма, Диккенса или Жюль Верна – суровых с виду, грубоватых, молчаливых, но потаенно добрых чудаков, самоотверженно преданных своему долгу – королю, даме сердца, опекаемому дитяти или другу. Самые ранние впечатления, связанные с именем Сталина, были в общем положительными.

6.

В апреле 25-го года мне исполнилось 13 лет – возраст „бар-мицво” – еврейского религиозного совершеннолетия. Бабушка была в отчаянии: я не знал ни одной молитвы и еще ни разу в жизни не был в синагоге.

Своенравная сила памяти – тот „холодный ключ забвения”, что исцеляет боль сердца, – помогала мне еще в детстве стремительно забывать все, что было не по душе: „Пряник шоколадный”, монолог царя Бориса, те несколько музыкальных пьес, которые я уже было играл наизусть, и даже нотную грамоту. Так же прочно забылась еврейская азбука и почти все слова, кроме тех немногих, которые запали на самых первых уроках Ильи Владимировича: „бейс” – дом, „йолед” – ученик, „эрец” – земля... Все прочее словно выдуло, вымело начисто.

Позднее, бывало, очень хотелось подойти к пианино, сыграть хоть что-нибудь. А как противны были недоверчивые ухмылки иных знакомых, когда я не мог прочитать еврейскую надпись. Но я ничего не мог вспомнить.

Дедушка считал необходимым, чтобы я отметил торжественный день, как положено по древнему обычаю. Нельзя отрекаться от своего рода и от своего народа. Отщепенцев презирают все – и те, кому они изменили, и те, до кого хотят прилепиться. Отщепенец – не человек, а так, дурная трава; как перекати-поле или сорняк, что растет где попало и везде мешает, всем противный.

Для того, чтобы я не стал таким отщепенцем, дедушка уговаривал меня выучить наизусть хотя бы только одну молитву и короткую речь, которую по ритуалу должен произносить достигший 13 лет. И то и другое он сам написал крупными русскими буквами с подстрочником, на листке прочной бумаги из гроссбуха. Разметил ударения, паузы, даже интонации („громче”, „радостно”, „серьезно”, „печально” и т.д.).

К счастью, отец в то время работал на сахарном заводе, далеко от Киева. Он как послушный сын стал бы выколачивать из меня уступку деду. Мама была не так настойчива, хотя в этот раз оказалась союзницей свекра и требовала, чтобы я под-

чинился. Но ведь я давал торжественное обещание юного пионера-ленинца, я уже был заместителем звеньевого в пионер-отряде, в школе членом учкома, состоял в обществах „Друг детей", МОПР, „Долой неграмотность!" и в „Союзе безбожников". Я не хотел и слышать о синагоге. Дедушка решил не ссориться и предложил мне сделку: я не стану заучивать молитву, а только прочту по бумажке текст, записанный русскими буквами, и за это он подарит мне велосипед, настоящий новый велосипед.

В нашем отряде ни у кого не было велосипеда, а в школе только в параллельной группе сын директора какого-то треста имел настоящий велосипед – предмет всеобщей зависти. Я, разумеется, доложил звену о проекте деда. И начался ожесточенный спор. Некоторые ребята доказывали, что раз я не верю в Бога и все это знают, то хождение в синагогу и молитва сами по себе ничего не значат: сказал раз-раз, и прощайте. Рыжий Толя с Бассейной улицы, живший за крытым рынком, тайный курильщик, биток и матерщинник, но лучший агитатор среди беспризорников и лучший барабанщик отряда, сердито доказывал, что все разговорчики про „честное слово", про пионерскую совесть – чи можно обманывать, чи нельзя – одна трепня. Буржуйская, интеллигентская, мещанская трепня. Как у скаутов с их добрыми делами – ах, честное слово, помри, но держись! А по-нашему, по-рабочему, по-большевицкому, надо просто решать: велосипед – это дело. На нем все могут научиться. И для Красной Армии польза, и для милиции – бандитов ловить. Ради такого дела можно один раз послушать деда. И это даже не обман. Ты ж ему говорил, что ты неверующий, значит, не обманываешь, Заучи, что он хочет, как стишки на елку, бери велосипед и давай в отряд. Я б за велосипед пошел и в синагогу, и в церкву, и попу руку поцеловал. А потом плюнул бы, сел на велосипед и айда!..

Большинство девочек было против уступки. Аня-малая, самая злоязычная и умная из всех, кричала:

– Я тебя уважать не буду, если ты так сделаешь. Толька и пацаны хотят покататься, а ты чтобы ради них подлости делал... Да, да, подлости. А что если просто украсть велосипед? Это тоже хорошо для отряда, для Красной Армии и для мировой революции? На краденом кататься?..

Толя побаивался „языкатую" Аню и втайне обожал ее, но уступать не мог.

– Ну и что ж, что краденый? В гражданскую войну или когда в подполье, как делали? И велосипеды крали, и автомобили, и целые поезда. И разведчики переодевались в белогвардейцев и разве так брехали, если надо?.. А ты „подлость", „уважать не буду" – мещанство какое!

– Мещанство? Ты сам дурак!..

– А ты не лайся! Шибко умная.

– Тише, ребята, просите слова, не кричите!

– А ты чего смотришь, звеньевая? На сборе дураком обзывают. Я, может, почище умею...

– Ребята, ребята, будьте организованны! Ты, Анька, не ругайся, извинись, а то я лишу тебя слова.

– Извиниться? А он за „мещанство" извинится?

На полчаса все отвлеклись процедурной дискуссией. Что оскорбительнее – мещанство или дурак? Толя доказывал, что если бы он сказал „мещанка", тогда можно было бы сравнивать. А то он идейно спорил, а она ругается. Аня, так и не извинившись, произнесла пылкую речь.

– Нет, в гражданскую войну не крали, а воевали. И разве можно сравнивать? Тогда была война, революция, тогда и людей убивали. А теперь кража – преступление. И у нэпманов нельзя украсть и на базаре. Когда воруют несознательные, беспризорные, их надо перевоспитывать, а пионер – всем пример. Какой же тут пример – ходить в синагогу ради велосипеда? Позор!

Кричали все допоздна. Вернувшись домой, я долго не мог уснуть. Меня одолевали неразрешимые противоречия. Толя был прав: обман пройдет, а велосипед останется. Одобрение Толи привлекало: настоящий, свой парень. Но ведь и Аня права – действовать против того, чему веришь, обманывать, притворяться перед какими-то бородатыми раввинами унизительно и подло. И ради чего? Не на фронте, не в разведке, не в подполье. Ради велосипеда.

В конце концов я устоял. Мама, убедившись, что компромисс невозможен, нашла выход. Меня уложили в постель, объявили больным и дня рождения вообще не праздновали. Ребят из отряда и из школы, которые пришли меня проведать, мама даже не пустила в квартиру, так как пришел дедушка. Бабушка, разумеется, не пришла. Она еще долго сердилась на меня и на маму; едва разговаривала с нами, когда мы приходили к ней. Дед заглянул ко мне в комнату, поздравил печально и неласково.

А потом долго толковал о древней религии, которую нужно уважать, даже если не веришь.

Но, оставшись без велосипеда, я все же не мог себя чувствовать таким уж доблестным подвижником атеизма. Ведь я не боролся, не отстаивал свои взгляды, а просто спрятался за мамину хитрость. Дедушка в тот вечер говорил, что после выздоровления нужно будет все же пойти в синагогу. Мама за его спиной делала умоляющие глаза, прижимала руки к сердцу и кивала головой, мол, скажи „да"; а я только вздыхал, жаловался на боль в горле и трусливо избегал прямого ответа.



Харьков. Июнь 1927 г. Выпуск 36-й школы. Во 2-м ряду 1-ая слева – Шура О., крайний справа – Зоря Б. 1-й слева в 3-м ряду – автор, 6-й – Борис З., 7-й – Иван Горяшко.

Сталин, Рыков, Каменев, Зиновьев.



Тельманн
на демонстрации.

Глава четвертая

МЕЖДУ ПОЦЕЛУЯМИ И ГАЗЕТАМИ

Liebe und Trompetenblasen
Nützen zu viel guten Dingen.
Viktor Scheffel *

Ist es die verschwundene süsse,
Blöde Jugend-Eselei?
Heinrich Heine **

1.

Летом 1925 года мы жили на даче в деревне Будаевка. Там я целыми днями не вылезал из пруда, учился плавать „разными стилями", издавал стенную газету „Сплетни Зеленой улицы", в которой были карикатуры на знакомых и незнакомых дачников, стишки и фельетончики с пошловатыми намеками — самые что ни на есть доподлинные сплетни. И никакой политики.

Осенью в газетах писали о двадцатилетии революции 1905 года и снова напоминали о Троцком. Была переиздана его книга „1905 год". Я читал его воспоминания о первом Петроградском совете, об аресте, тюрьме, ссылке, побеге из Обдорска. Читал, как Дюма или Купера, пропуская рассуждения.

Однако больше всех политических событий меня увле-

* Любовь и игра на трубе
Бывают весьма полезны.
Виктор Шеффель

**Где вы, сладкие томленья,
Робость юного осла?
Генрих Гейне (пер. В.Левика)

кали тогда сугубо личные дела.

Наш отряд имени Семашко сформировался в клубе Медсантруд. Попал я в этот отряд потому, что ходил в клуб с „корешком" – Жоржиком Браиловским, сыном врача. Потом отряд перевели на окраину в Александровскую больницу. Там проводились общие собрания и торжественные вечера. Но в обычные дни мы старались собираться где-нибудь поближе. Вечерами неприятно было проходить через пустыри и темные переулки. Мне раза два пришлось возвращаться домой с фонарями, синяками и ссадинами, в разорванной рубашке, измазанной кровью – увы! – из моего носа.

Сборы мы стали проводить пораньше и уходить всем скопом, только что не со знаменем и барабаном. Однако репетиции живой газеты, занятия кружков, изготовление стенгазеты требовали неограниченного времени и небольшого числа участников. Стенную газету стали делать у нас в квартире. Отец, как обычно, жил в деревне, мама часто уезжала к нему, либо по вечерам уходила в гости. Никаких бонн уже не было, всем заправляла домработница: глуховатая, хлопотливая, добродушная тетя Маша. Десятилетний Саня обычно гонял с ребятами во дворе, либо зубрил уроки в детской.

В распоряжении нашей редколлегии оставались столовая с обеденным столом и буфетом и большая комната родителей с диваном, кроватью, письменным столом, пианино и книжным шкафом – ее называли то спальней, то гостиной, то кабинетом. И в той и в другой комнате можно было расстелить по четыре листа ватмана впритык. Собирались несколько ребят и девочек. Писали и рисовали, шутя, смеясь, распевая „Картошку" или „Взвейтесь кострами". Иногда объявляли переменку, я приносил самовар, и все пили чай с сухарями.

Закончив работу, мы играли в нехитрые детские игры, главное, чтоб со штрафами, с фантами. Выкупая фант, нужно было петь, плясать, декламировать или поцеловать того (ту), кто больше всех нравится. Особенно частым выкупом назначалась „исповедь". Задавали обычно три вопроса: в кого влюблен? если не влюблен, то кто из друзей иного пола больше всех нравится? с кем хотел бы дружить? и т.п.

Некоторые называли два или даже три имени. Меня это в первый раз поразило как примета „нового быта". В книгах, которые я читал, влюблялись не так. Правда, нередко изменяли.

Но то были нравы лицемерного старого мира. У нас все должно быть по-иному...

Звеньевая Феня – румяная, курносая, запевала, хохотушка, лучшая в отряде гимнастка и прыгунья, отвечая на вопрос о влюбленности, покраснела и назвала трех: первым – вожатого соседнего отряда, который восхищал нас увертками лихого строевика, зычными командами и тем, что „вертел солнце" на турнике, а вторым -- меня. Потрясенный неожиданным счастьем, я даже не заметил третьего соперника. А „взрослый" восемнадцатилетний вожатый чужого отряда был фигурой настолько идеальной, что ревности не вызывал.

В то время я, разумеется, тоже полагал себя влюбленным. И тоже – колебался, не зная, кого предпочесть. Таня Юрченко, которой я тайком носил цветы, была старше на целый год; она благосклонно снисходила до разговоров со мной, но оставалась недосягаемо далека. Люда Ш. из пятой группы – беленькая, пухлая, с большой русой косой – казалась мне самой красивой в школе. Правда, ее называли глупой, не развитой. Она не была пионеркой – ей запрещал отец-священник – носила крестик. Но разве не заманчиво было перевоспитать дочь классового врага? Наставить такую красавицу на правильный путь...

Феня больше походила на задиристого пацана, чем на девочку, в которую можно влюбиться. Однако, после ее признания, я заметил, что она очень привлекательна. Весело блестели зеленоватые глаза. Ярко пунцовы были толстенькие губы. Она смеялась, далеко запрокидывая лохматую, рыже-русую голову, открывая нежную белую шею. А спортивную блузку распирала большая грудь...

На следующий день мы переписывали последние заметки, подкрашивали заголовки ножиками и резинками. Ответственный редактор номера Аня-маленькая внезапно сказала, что все в общем и целом закончено, а мелочи пускай доделает Феня – она самая аккуратная. Ну, и ты ей поможешь. А то, если всем гамузом возиться, только мешать друг другу.

Наш главный художник Витя пытался возражать. Он хотел нарисовать еще несколько виньеток. К тому же, он жил по соседству с Феней, им все равно вместе идти – накануне он, исповедуясь, назвал ее первой из нескольких девочек, в которых был влюблен. Однако, она же и попросила его:

– Вить, зайди, пожалуйста, к моим. Скажи маме, что я

задержусь.

И мы остались вдвоем в тихой темной квартире.

На ковре белела-пестрела распластанная стенгазета. Меня знобило от нетерпеливого страха. Мы недолго возились, что-то дорисовывая, дописывая. Лежали рядом на ковре на животах. Каждое прикосновение, как ожог. Наконец, она сказала: „Ну, хватит. Можно отдохнуть..."

Уселись на диван. Не помню – и в тот вечер уже не помнил, – о чем говорили натужными голосами, пока я, наконец, не выдавил давно придуманный хитрый вопрос:

– А ты не рассердишься, если я тебя поцелую?

Быстрый взгляд. Веселый.

– Н-нет...

Задыхаясь, потея, – только бы она не заметила, как мне страшно, как дрожу, – я чмокнул тугую румяную скулу.

– Да разве так целуются? Ты, видно, еще не умеешь?

Она обхватила мою шею твердыми, как у мальчишки, руками и поцеловала в губы. Влажно; сильно. Ничего подобного я еще никогда не испытывал. Обдало запахом словно от тепловатой простокваши и холодных котлет. Закружилась голова. Поташнивало. Но я осмелел. Стал целовать еще и еще. Губы. Щеки. Шею. Развязал тесемки, стягивавшие ворот спортивной блузы. Женскую грудь я видел только на картинках. Запах какой-то молочно-мясной, сладковатый. На темнорозовых твердых сосках – капельки пота. Мутит, наплывает дурнота. Но целую, целую...

– Ого, быстро ты научился...

Мы уже не разговаривали. Только целовались. Прижимались порывисто грудь в грудь. Меня снова и снова пробирало ознобом. Эрекция становилась надсадно болезненной. Тошнота удушливей. Когда в передней грянул звонок – возвращались мама и Саня, – я испытал облегчение. Только боялся, чтобы мать не заметила, какие мы возбужденные, красные, взъерошенные.

Феня жила далеко. По тогдашним понятиям почти на окраине – на кривой Бассейной улице, за крытым рынком – „Бессарабкой". Провожать ее полагалось только до рынка. Мальчишки Бассейной славились неумолимой свирепостью: шайки из враждующих дворов мгновенно объединялись, чтобы избить чужака. Феню они все знали – ее отец-мясник работал тут же на Бессарабке. Ей прощали и красный галстук и приятелей-

-пионеров. Она и Витя – сын жестянщика, чинившего всем жителям улицы кастрюли и примусы, – были „своими". Их не тронул бы и самый отпетый босяк. Но гости с других улиц решались навещать их только днем, а если вечером, то большими группами, либо в сопровождении местных жителей.

В тот вечер мы с Феней долго добирались до пограничного рубежа у Бессарабки. По пути было немало уютных подворотен и подъездов, в которых мы целовались. А в промежутках я уверял ее, что люблю, что теперь уже окончательно понял, уверен, что люблю впервые по-настоящему, что она мне нравится неизмеримо больше, чем все девочки в отряде, в школе и вообще все, каких я знал и знаю.

О своем счастье я рассказал только одному из друзей – однокласснику Жоржу Браиловскому. Его я считал наиболее серьезным экспертом сложных житейских проблем. Правда, сам Жорж еще ни разу не „крутил романа" – был застенчив и заикался. За малый рост и монголоидные черты лица его дразнили „япошка" или „ходя". Но тем не менее он считался весьма осведомленным теоретиком во всех областях платонической и плотской любви. Он знал больше, чем все мы, ровесники, об особенностях женской психологии и физиологии, о разнообразной технике нормальных и извращенных половых отношений, об опасностях венерических заболеваний и вреде онанизма... Серьезный тринадцатилетний мужчина наставлял меня, предостерегая от горячности и легкомыслия.

– Т-ты не должен заходить слишком далеко. Ведь т-ты сам признаешь, что это т-твой первый роман. П-п-первый, но не последний. Вы оба должны п-проверить в-ваши чувства. Она, конечно, хорошая д-девочка. Н-но все же слишком темпераментна. И т-ты тоже. Вы, конечно, как пионеры, против мещанства, ревности, семейных драм и т-тому подобное. Но т-ты же еще не знаешь, что т-такое ревность. Не можешь даже себе п-представить.

Он советовал мне „подвергнуть наши чувства испытаниям", не встречаться неделю или даже две. И если после такой разлуки ничего не изменится, то можно будет уже говорить о серьезных отношениях.

Этому совету я не успел последовать. Когда мы опять выпускали очередной номер стенной газеты, ответственной за

него назначили Раю, которая мне казалась строгой, неулыбчивой „задавакой”. Она пришла по-новому постриженной и причесанной – челка, раньше по-детски ровная, задорной косой прядью спускалась на одну бровь. Открыв Рае дверь, я сказал, что это здорово и очень ей идет. Она улыбнулась тоже по-новому и посмотрела искоса. У нас это называлось „строить глазки”.

– Вот как? Оказывается, ты замечаешь. А говорят, что ты видишь только одну-единственную.

– Кого же это?

– Только не притворяйся, пожалуйста! Ненавижу, когда притворяются!

Мы разговаривали быстрым полушепотом в передней. А в большой комнате ребята уже разостлали скленные листы ватмана. И Аня-большая пела, по-деревенски взвизгивая, „Как родная меня мать провожала...”

Феня пришла после всех, запыхавшаяся.

– Ух, ребята, как я беспризорников агитировала! Трое пацанов – старшему двенадцать и девочка совсем малая. Сидят у асфальтного котла на Фундуклеевской. Грязные, черные, как трубочисты. Только глаза и зубы видно. Чешутся; вшивые. И едят французские булки. Я с ними целый час говорила. Про текущий момент. И что зима скоро. И вообще за смысл жизни. Дала им газетку. Повезло, как раз у меня была со статьей про общество „Друг детей”. Они много спрашивали. Хорошие такие пацаны. Обещали, что сегодня же пойдут в детприемник на Подоле. Я завтра обязательно туда позвоню.

Она говорила, говорила... Непрерывно. Громко. Азартно. Мне стало казаться, что „фасонит”, представляется. Она была, как всегда, весело шумной. А мне уже казалось – бестолково суетливой.

Зато Рая была ей во всем противоположна. Темноволосая, темноглазая, тихая. Говорила мало; неторопливо, негромко. И почему только я считал ее строгой, заносчивой? Она была задумчивая, печальная. Но зато когда улыбалась... И я начал сочинять стихотворение про ее улыбку: „Будто солнечный луч в тихий пасмурный день...”

Жорж однажды сказал, что Феня и она похожи на Ольгу и Татьяну из „Евгения Онегина”. Рая покраснела и смолчала, а Феня была недовольна.

– Очень даже глупо! Сравнивать пионерок с помещицами,

с барышнями. Ты хочешь сказать, что я такая дура, как Ольга?!

В тот вечер мы опять играли в признания. И отвечая на роковой вопрос, я назвал первой Раю, а Феню только второй. Она поглядела удивленно, но потом опять заговорила быстро, весело и смеялась еще чаще и громче.

А Рая, когда ей пришлось исповедываться, тихо, но без запинки назвала сперва меня, а потом какого-то родственника-студента.

Уходили все вместе. Мы с Феней проводили сначала Раю, потом Аню-большую. Дальше пошли вдвоем.

Серый, лиловый октябрьский туман. Мутно-желтые пятна фонарей. Тускло-белые, розовые, оранжевые прямоугольники витрин. Под ногами шуршали опавшие каштановые листья. Мы говорили мало и напряженно о какой-то чепухе. В конце Крещатика у витрины книжного магазина Феня остановилась.

– Дальше не ходи. Холодно. Я побегу, озябла. Давай простимся. В последний раз.

Мы обнялись на свету. Крепко поцеловались.

– Будь счастлив. И давай будем друзьями.

– Конечно. И ты будь.

Возвращался я торопливо. Одинокому пацану вечерние улицы иногда кажутся джунглями. Внезапный свист из подворотни. Окрик „эт-та хто по нашей стороне шляится?!" – придавали стремительное ускорение...

Все же я успел и погрустить, и ощутить элегическое удовлетворение: кончилась первая настоящая любовь. И нетерпеливое любопытство: какой будет новая?

Рая жила недалеко, на крутой шумной Прорезной улице. Можно было чаще видеться, дольше оставаться вместе. И с каждой встречей она представлялась мне все более умной, скромной и загадочной. Она никогда не целовала первой. И словно неохотно подставляла щеку. Мягко, но решительно отстраняла слишком настойчивые ласки. Редко-редко удавалось поцеловать ее в губы – плотно стиснутые, неподатливые.

– Ну, довольно. Хватит! Неужели нужно все время только так... Давай лучше почитаем.

Она любила стихи. Мы читали по очереди вслух. Главными нашими поэтами были тогда Некрасов и Демьян Бедный, нравились Кириллов, Жаров, Казин, Безыменский, Орешин.

В 1925 году почти все внезапно влюбились в Есенина. Влюбленность была тем сильнее, что считалась греховной. Ведь он сочинял „упадочные", безысходно тоскливые стихи. Про самого Демьяна написал так насмешливо и ругательно, что нельзя было напечатать. Но даже многие взрослые запоминали наизусть: „Ты только хрюкнул на Христа..." То были стихи по поводу большой поэмы „Новый завет без изъяна евангелиста Демьяна", которая печаталась в газетах.

Мы все были, конечно, убежденными атеистами. Маршируя по улицам обязательно пели:

Долой, долой монахов,
Раввинов и попов!
Мы на небо залезем,
Разгоним всех богов!

Но злые, идейно неправильные стихи Есенина привлекали больше, чем непомерно многословная и местами вовсе непонятная антирелигиозная поэма, тянувшаяся день за днем через газетные „подвалы".

А стихи о Москве кабацкой мы читали наперебой, когда однажды вся редколлегия – рассудительная хитренькая Аня-маленькая, тихоня Рая, задира Феня, горластая певунья Ана-большая, флегматичный Витя и еще несколько пацанов и девочек решили вдруг устроить „вечер нарушения уставов".

В мамином буфете стояло несколько бутылок – водка, наливки. Восполняя изъятия водой, я нацедил кому стакан, кому чашку, горланя „Налей, налей стаканы полней!". Мы пили понемногу, но с пышными тостами и застольными песнями. Все закурили папиросы, раздобытые мной из отцовских тайников. Курили, кашляя, дурея от тошноты. Рассказывали анекдоты о вождях советской власти и пели частушки: „Ленин Троцкому сказал: пойдем, Лейба, на базар. Купим лошадь старую, накормим пролетарию." Снова и снова читали стихи Есенина и целовались без фантов, просто кто с кем рядом оказался. Это называлось „предаваться распутству", „вот как буржуазия разлагается".

В тот вечер я еще был влюблен в Феню и мне было неприятно, что она целовалась с другими ребятами, громко смеясь. А Рая, которую я тогда безуспешно попытался поцеловать, явно избегала этого. Когда все уже расходились, она сказала Фене

и мне:

– Ну, поваляли дурака и хватит. Больше так не надо. Никогда. Это нечестно! И вообще – противно.

Тогда она показалась мне „кисейной барышней", маменькиной дочкой. Я спросил:

– Что противнее – пить, курить или целоваться?

Феня засемялась. А Рая ответила сердито:

– Не притворяйся дураком. Противно все, что нечестно.

Рая жила в маленькой тесной квартире, заставленной громоздкой старой мебелью. Ее отец работал в какой-то конторе. Родителей ее я, кажется, никогда не видел. Всем в доме распоряжалась старая няня, ворчливая и добродушная. У Раи был свой угол, отгороженный огромным шкафом. Там стояли маленький стол и большой сундук, покрытый старым ковром. На этом сундуке мы подолгу сидели, читая вслух стихи, рассказы Куприна или Аверченко. Прозу мы читали и про себя, висок к виску, а стихи вслух. Няне говорили, что готовим уроки. И чтобы не врать, мы еще действительно решали задачи, зубрили химические формулы. Рая училась в другой школе, но тоже в пятой группе. Мне казалось, что я люблю ее с каждым днем все сильнее.

Мама давно собиралась повезти сыновей в Харьков, где жили ее сестра и брат. Наконец, свершилось. Поехали к Рождеству 1925 года.

Ночь в вагоне. За окнами снежные поля, серо-белые леса. Далекие огоньки. Тусклые желтые фонари. На станциях дядьки в кожухах, бабы, замотанные платками. Гундосо звенит колокол. И снова снежные поля, сугробы и деревья назад, назад. Лес то набегает, то откатывается. Мир ощутимо бесконечен. И загадочен. Моя первая дальняя поездка.

Грустно от множества людей, чужих, безразличных и вовсе не замечающих тебя. Грустно и любопытно. О чем думает эта сердитая красивая женщина с локончиками, прилепленными перед ухом, как на женских портретах времен Пушкина? О чем говорят вполголоса двое мужчин в толстовках и высоких сапогах, неторопливо обгладывающие темнорыжих, плоских сухих рыб – тарань? Перед ними на столе в мятой газете растет куча костей, голов, чешуя.

Я лежу на верхней полке. Приобщаюсь к необычности поезд-

ного быта. Наконец-то я путешественник. Принят в огромное, разноликое племя пассажиров. Раньше только читал о них.

Перестук колес. Теплый душный полумрак. Издалека неразборчивые, приглушенные голоса. А рядом, за дощатой перегородкой, на соседней верхней полке храп с чмоканьем и свистом...

Внизу мама рассказывает случайной попутчице фантастическую историю нашей семьи. Отец уже заснул и она может беспрепятственно сочинять, как ее мужа хотели назначить министром сельского хозяйства у Петлюры, но он отказался ради семьи, и как лучшие профессора в Киеве говорили о гениальности ее сына.

Утром долго подъезжаем к Харьковскому вокзалу. Тянутся закопченные кирпичные здания, разбегаются и сбегаются рельсы. Красные и серые товарные поезда, водокачки, пакгаузы. Вокзал не похож на Киевский – куда больше и куда нарядней. Огромное здание с куполом, как в церкви. Подземные переходы, стены кафельные, как печки у нас дома. На площади множество извозчиков, их зовут „ванько", и сани у них ниже, чем у киевских. Все они в одинаковых толстых синих пальто с широченными складчатыми задами. Впервые вижу автобусы, желто-красные с темными, железно-вафельными мордами моторов. А трамваи здесь иные, чем в Киеве, – у киевских дуга, длинный гнущийся прут, увенчанный роликом, а у харьковских трубчатая рама, расширяющаяся наверху.

Любопытны особые, харьковские слова. Трамвайные номера называют „марками". „На какой марке ехать до Сумской?" В набитом людьми вагоне те, кто пробиваются к выходу, спрашивают у стоящих впереди: „Вы встаете на Павловской?" „Вставать" означает здесь „выходить".

Экзотично звучат выкрики кондуктора: „Улица Свердлова", „Площадь Розы Люксембург", „Площадь Тевелева", „Улица Карла Либкнехта". У нас в Киеве новые названия еще не привились. Хотя я и стараюсь говорить „улица Короленко" вместо Владимирской или „улица Воровского" вместо Крещатика, все равно по-настоящему не получается. Даже истовые пионеры постоянно забывают, и я ловлю себя на том, что думаю о Думской площади, а не о площади Маркса, о Купеческом саде, а не о Первомайском.

Харьков – столица. Это заметно сразу. Людей очень много,

тротуаров не хватает, идут по мостовой. Впервые вижу столько автомобилей, и легковых и грузовых. В Киеве они редки, единичны, а здесь их, пожалуй, не меньше, чем извозчиков и ломовиков.

В Харькове уже есть новые дома. Мы проезжаем мимо большого красного здания „Пассаж" и серого – редакции газеты „Коммунист". На крыше возвышается статуя рабочего с молотом. Встретивший нас дядя говорит, что начали строить настоящий небоскреб.

Когда у нас в Золотоворотском сквере впервые после революции забил старый фонтан, когда отремонтировали большой дом на Нестеровской улице, сгоревший еще при поляках, а на Владимирской горке поставили новую ограду и покрасили скамейки, я на сборе звена говорил о значительных успехах социалистического строительства. А тут были совсем новые многоэтажные здания. И новенькие автобусы с лоснящимися оранжево-красными боками. И в разных местах на улицах желтели строительные леса. Много нарядных витрин и пестрых вывесок. Вечером яркие фонари. В Харькове было куда больше государственных и кооперативных магазинов, чем частных. Разноцветные буквы ХЦРК (Харьковский Центральный Рабочий Кооператив) сверкали в каждом квартале. А в Киеве еще преобладали частные магазины и лавки. Мама покупала молоко, масло, творог, ветчину и сметану только у Назаренко на Прорезной. И на мою агитацию против нэпманов отвечала просто: „В твоем рабкоопе продают, может, и дешевле, но гнилье, тухлятину, и еще нахальничают. А у Назаренко все свежее, и они верят в долг." То, что пирожные и конфеты в кондитерской у Фрузинского лучше, чем в рабкоопе и чем в школьном буфете, я и сам знал.

Но в Харькове в кондитерских УКО (Украинское Кондитерское Объединение) простые молочные ириски казались мне слаще нэповских трюфелей.

И совсем по-столичному бегали вдоль улиц пареньки-газетчики, оравшие надсадными голосами: „Ви-и-черние радио! Ви-и-черние радио! Зверррское убийство на Холодной горе... зверррское убийство!.."

Улицы казались узкими – после киевских; совсем плоские, ни одного подъема. Сады и бульвары были меньше, жиже. Тощие речки в грязных берегах перетягивали куцые, затоптанные мосты: они кишели прохожими, дрожали под трамваями. Убогие

речки с диковинными кличками: Лопань, Харьков, Хоть и Нетечь. Старая шутка: „Хоть лопни, Харьков не течет!" Дико было бы сравнивать их с огромным, величавым Днепром. Короткие затрапезные набережные разворачивались неказисто и неуклюже.

А там, в Киеве, осталась Владимирская горка высоко над Днепром и Подолом, над крышами, улицами, церквями, над приглушенными шумами... Зелено-желтые откосы Царского сада, Мариинского парка, Аскольдовой могилы, поросшие густым кустарником и старыми деревьями. На том берегу Днепра распахивались далекие просторы. Зимой – серо-сизые с прочернью; осенью – золоченые с красными отсветами; весной и летом – голубые, зеленоватые, лиловые... В закатные часы яркооранжевое, золотистое зарево, пониже вспышками пурпур и багрянец, а сверху тянутся фиолетовые тонкие пряди облаков. В пасмурные вечера сквозь темные тяжелые тучи едва просвечивает матово тлеющая или бледная желтизна. Либо только светлорозовое мерцание в белесом тумане...

Каждый день заднепровские дали иные. Но всегда притягивают, влекут, и необъяснимая грусть перехватывает гортань, и нет ни желаний, ни мыслей, а только бы глядеть и глядеть...

Не раз я тщетно старался описать все это в стихах, в дневнике. И так же тщетно пытался высказать, объяснить себе, что именно я ощущаю, испытываю, когда смотрю на Днепр и Заднепровье.

Вспоминая о Киеве в деловито-суетливом, шумном Харьклве, я думал, что это устаревшие, красиво-бесполезные чувства, вроде как стихи Пушкина, которые упрямо звучали в памяти, вопреки убеждению, что они чуждые, „не наши". Неожиданно вспоминал: „...перед новою столицей... порфироносная вдова", либо сравнивал себя с якобинцами из аристократов и народовольцами из дворян. Сен-Жюст и Перовская покинули семьи, поместья, родные края, наполненные воспоминаниями, чтобы уйти в городские трущобы, в сумрачные кварталы бедноты. С гордостью „узнавал" я свои чувства на страницах книжек Гюго, Эркмана-Шатриана, Веры Фигнер, даже в опере „Травиата" в трогательной арии Жермена: „Ты забыл Прованс родной..."

Привлекательность Харькова была очевидна, понятна и разумна. А привязанность к Киеву нужно было преодолеть как слабость, как „пережиток", как сентиментальную „болезнь

возраста".

Почти каждый день я писал Рае длинные письма в прозе и стихах, о любви и тоске. Они были искренними, хотя и весьма преувеличенными. Тоски я не испытывал. Но ведь так полагалось. Она прислала мне два письма – больших, на нескольких страницах. Подробно рассказывала о событиях в отряде, что было на сборах, кто что говорил, кто из ребят заболел, уехал, кто с кем поссорился. Писала она и о книгах, которые читала и собиралась читать. Ни слова ни о каких чувствах. Но в конце письма – маленькими буковками – „целую". Такой радостной гордости я с тех пор никогда не испытывал.

2.

В те же декабрьские дни проходил 14 съезд партии, на котором она была переименована из РКП(б) в ВКП(б). Газеты с отчетами о заседаниях съезда я читал очень внимательно; старался понять, о чем именно там спорят. Однако, преобладающим было все же такое любопытство, как у зрителя на стадионе, – кто кого? Именно зрителя, а не болельщика. Я не знал еще, за кого „болеть". Троцкий молчал; Зиновьев и Каменев были неприятны с прошлого года. А споривший с ними Калинин даже помянул добрым словом Троцкого: „...авторитет, накопленный им, это авторитет всей партии". Но ленинградцы выступали так дружно, хотя их было меньше, они так смело спорили с большинством, с начальством!.. Они говорили от имени рабочего класса, от питерских пролетариев; Евдокимов, Залуцкий, Сафаров упрекали Бухарина за примирение с кулаком, с нэпманом, за то, что он призывал – „обогащайтесь!" Ленинградцы убедительно ругали бюрократов, зажимщиков. И Крупская была за них, и цитаты из Ленина у них были погуще, позвучнее. Зиновьев, хоть и неприятен – гладкое, совсем не рабочее, не революционерское, а какое-то актерское лицо, – но ведь с Лениным он действительно дружил, и в шалаше с ним вместе прятался, и книжки вместе писал. Кто-кто, но он-то уж знает, чего Ленин хотел, что завещал. А ему кричат, что он недооценил середняка...

Опять понятней всех говорил Сталин – правда, грубовато, но ведь он из боевых подпольщиков, не кабинетный интеллигент. И тоже хочет, чтобы все было так, как завещал Ленин,

и тоже за рабочих. Но он еще и за дисциплину, за единство. А без этого никак нельзя.

В иные дни, читая один и тот же газетный лист, я по нескольку раз менял суждения, то соглашался с ленинградцами, то с цекистами. Либо вовсе недоумевал, в чем же сущность спора? Все вроде хотят одного и того же, все за советскую власть, за рабочих, против кулаков, против буржуев, против бюрократов. Чего же они там не поделили? Неужели есть какая-то правда в злых словах отца и дяди, когда они презрительно хмыкают: „Дерутся за власть, каждый хочет залезть повыше"?

Единственный серьезный собеседник в те дни – двоюродный брат Марк. Он тоже внимательно читал газеты, даже делал выписки. Но он смотрел на меня сверху вниз, насмешничал, задавал каверзные вопросы о давних съездах партии, о том, какая разница между национализацией и мунипализацией, сколько раз Троцкий спорил с Лениным и о чем именно и кто оказался прав. Марк не любил Троцкого: „Фразер, позер, козер, вспышкопускатель; ради красного словца не пожалеет мать и отца". Маре нравился Бухарин как личность и как философ, но он „слишком мягок и прекраснодушен, недооценивает кулацкую опасность". Мара считал, что ленинградцы – более последовательные ленинцы, более связаны с пролетарскими массами, чем большинство ЦК, и, хотя Зиновьев действительно не симпатичен, – склочник, визгливый бабий голос и, говорят, очень жесток, – но ведь и Робеспьер был в таком же роде, однако, именно он был настоящим вождем революции. А Камил Демулен – красавчик, поэт, смельчак, остроумец – оказался либеральным болтуном, испугался террора, объективно изменил революции. В политике нельзя исходить из личных симпатий или антипатий. Ленин очень любил Мартова и Засулич и неприязненно относился и к Троцкому и к Сталину, однако он боролся против тех, симпатичных, а эти были его соратниками; Ленин дружил с Зиновьевым и Каменевым, но в Октябре мог их расстрелять, а после Бреста мог шлепнуть даже Бухарина, хотя сам называл его любимцем партии. Политика имеет свои законы, свою мораль. Там не так, как в футболе на пионерских сборах или в картине „Красные дьяволята", – эти за красных, те за белых, всем все ясно... Политика – дело грязное. Уже революцию нельзя делать в белых перчатках, а после революции все оказывается еще труднее и куда сложнее. Когда брали Бастилию, был сплош-

ной восторг и ликование... Потом „чудо 4-го августа" – аристократы братались с буржуа, всеобщее умиление. А через два-три года все резали друг друга; потом перегрызлись и сами революционеры; вожди пошли на гильотину. Ты не читал Анатоля Франса „Боги жаждут"? Прочти и подумай, это очень правдивая, очень умная книга.

Новый 1926 год мы встречали в Харькове на квартире у дяди; три комнаты были заставлены мебелью – громоздкими шкафами, креслами, обитыми кожей или толстыми тканями; многоэтажный темный буфет мерцал стеклом и бронзой. Сын дяди, Леня, был моложе меня на два года – бледный, с длинными беспокойными руками и серыми сонными глазами, всегда смотревшими в сторону, он ходил косолапо, кособоко. Он тоже любил историю, тоже читал Иловайского, Ключевского, многотомную „Всемирную историю" и, конечно же, статьи из энциклопедии Брокгауза. Лучше всего он знал древность и средние века. Мне было обидно, что он младший и беспартийный, даже не интересовавшийся тем, чем занимаются пионеры, и во всем послушный своей маме, знал куда больше, чем я, о Вавилоне, Ассирии, Персии, лучше помнил ход Пелопоннесских войн и чередование римских императоров. Я пытался отыграться на Англии, на „войне роз" – выручал Шекспир, – но он зазубрил всех до единого Капетингов и Валуа и еще всех скандинавских и испанских королей. Правда, его эрудиция кончалась где-то до Тридцатилетней войны: дальше он пока не дошел. Он запомнил всех киевских и владимирских князей, а я уже после Ярослава Мудрого и, тем более, после Мономаха непролазно путался во множестве безликих Святополков, Ярополков и буйных потомков Всеволода Большое Гнездо. Зато после Ивана III мы были на равных, а после Петра он был почти столь же невежествен, как и во Французской революции.

Но общение с этим образованным кузеном мало меня привлекало, он собирал в памяти исторические факты, как другие ребята собирали марки, бабочек или старые „дензнаки". Просто коллекционировал, не размышляя, не сравнивая ни между собой, ни со временем*

* Леня Каганов через десять лет ушел из дому, полюбив женщину, которая была много старше его, имела дочь и от нужды занималась проституцией. „Коты" грозили ему, что убьют, и действительно ударили ножом в живот. Но после больницы он женился на ней, ушел из института (Мукомольно-технологического), работал на мельнице, где-то у Чернигова, учился заочно. Летом 1942 г. он был пулеметчиком и погиб в бою на Кубани.

Такой же чудачкой оказалась и единственная моя ровесница в этй компании – его кузина по матери. Тускло-смуглая, с туго заплетенной и почему-то маслянистой наощупь косой, с большой, „взрослой" грудью, упругой, как мяч. Она боялась целоваться. Даже не хихикала (тогда можно было бы подумать – ломается), а потливо, слезливо сопела: „Ой, не надо, я маме скажу." Она призналась, что никогда еще не была влюблена в живого человека, – дольше всего любила Александра Македонского, а потом колебалась между Петром Великим и Суворовым. Это странное признание я выслушал в полутемном закутке коридора на старом кресле после того, как она уже несколько пообмякла и перестала вырываться, а я дал „честное пионерское", что больше не попытаюсь целоваться и лезть за пазуху, но обнимать ее приходится просто из-за тесноты.

Марк ушел с новогоднего ужина рано к своим друзьям. При взрослых он разговаривал со мной еще более насмешливо, чем наедине. Ведь он уже и сам был взрослый, почти 19 лет. Но все же я привязался к нему, рассказывал и о своих сердечных делах, читал стихи и не обижался на иронические замечания, понимал, что это он меня „воспитывает". Большеголовый, большеглазый, ушастый, сутулый, с узкой грудью и тонкими руками без мышц, он казался мне настоящим ученым-подвижником: плоть немощна, но дух могуч. Я был крепче его и это меня утешало – несколько уравновешивало его превосходство.

После столичного Харькова, после бесед с Марком о судьбах страны и мировой революции, Киев казался тихим, захолустным, а все отрядные и школьные дела мелкими, детскими. Раю я увидел только на второй или третий день. Рассказывал ей о необычайно важных вопросах, которые меня занимали. Она слушала, по-моему, недостаточно внимательно. Но ее застенчивое отстранение от слишком пылких поцелуев раздражало меня больше, чем то, что она даже не старалась понять суть разногласий между ленинградцами и ЦК.

Вскоре я заболел скарлатиной. Почти два месяца не видел никого из друзей. Я лежал один в большой родительской комнате; ухаживала за мной тетя Тамара, специально приехавшая из Харькова. У нее в ту пору произошел разрыв с очередным женихом. Однажды я услышал: в соседней комнате она подробно рассказывала маме, как едва не отдалась ему. Это был чрезвы-

чайно занимательный рассказ и потом мне снились похотливые сны. Первая поллюция испугала, я решил, что это болезнь. Помогла толстая книга „Мужчина и женщина". Там все объяснялось, и потом такие сны уже были только приятны и воспринимались как свидетельство возмужания.

За время болезни я перечитал, теперь уже полностью, „Войну и мир" и все самые любимые книги: Диккенса, Короленко, Твена, Тургенева, читал и полученные от Марка настоящие научные и политические книги – Каутского „Предшественники научного социализма", Г.Зиновьева „История ВКП(б)", лохматые, в крохких бумажных обложках книжки по истории немецкой и русской социал-демократии.

Тамара принесла однажды немецкий журнальчик мод – приложение к „Берлинер Тагеблатт", который продавался вместе с газетой. А газета заинтересовала меня. В ней открывался далекий неведомый мир. Споры в рейхстаге, статьи о черном рейхсвере, о террористах из монархических союзов, отнимать ли земельную собственность бывших монархов и удельных князей; заметки о поимках преступников, отчеты о судебных процессах, сообщения о катастрофах, ураганах, демонстрациях, о боях в Китае, спортивных состязаниях, конкурсах королев красоты, о новых аэропланах, об опытах по омоложению стариков... Каждый будничный номер этой газеты был во много раз толще любой из наших, а воскресные стоили журнала. Но ежедневно, кроме понедельников, были еще приложения: самыми интересными оказались субботний юмористический журнал „Кладдерадач" и воскресный иллюстрированный „Вельтшпигель". На фотоснимках представала жизнь всего мира: Америка и Индия, Франция и Китай. Про нас немецкая газета писала редко и обычно не много, по тону и смыслу скорее дружелюбно, но как-то обидно, снисходительно. Не было там ни „злобного воя классовых врагов", ни „испуганного визга буржуазных шавок", о которых я читал в наших газетах. И о своих коммунистах эти немецкие буржуи писали примерно так же. В отчетах о заседаниях рейхстага речи коммунистичесикх депутатов приводились без комментариев, так же, как и речи других ораторов.

Узкие темно-серые листы и разноцветные фотостраницы приложений даже пахли иначе, чем наши газеты и журналы. То были запахи далекой, чужой жизни, таинственной и магнитно притягивающей.

Нет, я не завидовал буржуям, не хотел походить на них, но хотел видеть все это вблизи, летать на аэропланах, мчаться в международных экспрессах, спорить с этими самоуверенными дипломатами, разговаривать с этими смеющимися нарядными женщинами. Может быть мне удалось бы объяснить им, как неправильно они живут. А потом строить баррикады в огромных богатых городах, вооружать рабочих, выбирать советы... Мировая революция была совершенно необходима, чтобы наконец победила справедливость, чтобы освободить всех заключенных из буржуазных тюрем, чтобы накормить голодающих в Индии и Китае, отдать немцам отнятые у них земли и Данцигский „корридор”, отнять у Румынии нашу Бессарабию... Но чтобы потом вообще не было никаких границ, не было нигде капиталистов и фашистов. И чтобы Москва, Харьков и Киев стали такими же огромными, благоустроенными, как Берлин, Гамбург, Нью-Йорк, чтобы у нас были небоскребы, улицы, полные автомобилей и велосипедов, чтобы все рабочие и крестьяне ходили чисто, нарядно одетые, в шляпах, при часах... И чтобы всюду летали аэропланы и дирижабли.

Мировая революция была совершенно необходима, а тут, как на зло, наши вожди перессорились. Почему они не понимают, что это только вредит нам и радует врагов? Троцкий объединился с ленинградцами. Они называли себя ленинской оппозицией, они были за мировую революцию, и это хорошо. Но они уверяли, что мы сами не можем построить социализм в одной стране. Может быть, это и так, но ведь обидно, мы же победили и в Октябре и в гражданскую войну, почему бы не попробовать, пока нет войны, а вдруг все-таки построим, и ведь нашим рабочим и крестьянам неприятно, если им говорят, что им вроде как „слабо́” самим построить социализм. В этом я соглашался с Бухариным и Сталиным, которые доказывали, что мы все можем, ведь Ленин же сказал: коммунизм – это советская власть плюс электрификация. Но зачем они так несправедливо ругали Троцкого, Зиновьева, Каменева, Пятакова, как будто те – контрики и уже никаких заслуг не имеют?

Дискуссии 1926-го года мне показались раздражающе нелепыми в своей ожесточенности. В отряде несколько ребят были за Троцкого и я с ними разругался потому, что они говорили, будто в деревне никому нельзя верить, каждый дядько лезет в куркули и готов продать пролетариат и мировую ре-

волюцию по дешевке. Возражая им, я орал уже вовсе по-газетному про смычку города с деревней и доказывал, что социализм строят для всех трудящихся, не для одних только городских рабочих, – их у нас самое малое меньшинство и нельзя из них новых дворян делать, а Разин и Пугачев, и Калинин, и Буденный тоже крестьяне, а Троцкий был всегда против Ленина и „лезет в Наполеоны". Но в школе, на форпосте, все были за ЦК, говорили, что Троцкий – меньшевик и задается, Зиновьев и Каменев были в Октябре штрейкбрехерами и все ленинградцы – бузотеры. Тогда я тоже лез в спор, доказывал, что без Троцкого не было бы Красной Армии, что Зиновьев – вождь Коминтерна, с Лениным дружил всю жизнь, ленинградцы – лучшие пролетарии и они за мировую революцию, а Бухарин и Сталин защищают кулаков и нэпачей.

Мне очень хотелось быть справедливым и примирить между собой всех, кто за советскую власть. Но из-за этого хотения я только перессорился с разными ребятами; ссорясь, становился яростно несправедлив, приписывал небывалые подвиги тем, кого защищал, а в другом споре столь же незаслуженно их поносил. Из-за этого я злился на себя и еще пуще – на других, стал реже бывать в отряде и даже к газетам поостыл. Благо, пристрастился читать немецкие. Выпрашивал или выкрадывал у мамы деньги на „Берлинер Тагеблатт", на „Аи-Цет" и на самый дорогой, но зато и самый интересный журнал „Ди вохе". Тогда эти издания свободно продавались в особом магазине иногородних и зарубежных изданий на Владимирской улице.

3.

Отряд стал мне чужим еще и по другой, значительно более веской причине. Во время болезни я редко получал письма от Раи, их все более сдержанный суховатый тон я объяснял соображениями конспирации. Она знала, что моя мама шарит у меня в книгах и тетрадках. Но когда впервые после выздоровления я позвонил Рае, она и по телефону говорила бесцветно вежливым голосом. На прямой вопрос, когда увидимся, – я старался спрашивать просто, мужественно, но так, чтобы слышна была страсть, – она ответила равнодушно: „А ты приходи послезавтра на сбор." Во время сбора она явно старалась держаться подальше. Потом,

на улице, мучимый обидой и ревностью (к кому только?) и просто досадой – сколько раз мечтал о том, как будем опять целоваться, – я все же попытался заговорить с ней непринужденно.

– Ты что же, влюбилась в кого другого?

Она смотрела в сторону, хотя большой козырек низко надвинутой, почти полукруглой кепки и без того закрывал глаза. И ответила с необычным для нее хихиканьем:

– Да брось ты эти глупости! Ведь мы уже не дети. Надо быть серьезнее.

И сразу же заторопилась, окликнула девчат:

– Давайте песню – „Вскормили меня и вспоили отчизны родимой поля..."

Феня участливо взяла меня за руку.

– Ну, ты не вешай нос и не злись. Я ведь не злилась, когда ты от меня ушел. И горевать давно перестала. А ты еще скорее утешишься. Давай петь. Как в песне говорится: „Пой, тоска пройдет..."

„Теперь для нас тревожный час борьбы настал, настал, коварный враг на нас напал, напал, напал."

Мы дружно горланили, топоча по булыжной мостовой крутой выгнутой улицы. Пели, как всегда после сборов, отпугивая вечернюю окраинную темноту, едва разжиженную редкими фонарями и тускло просвечивающими занавешенными окнами. От песни крепло чувство: мы вместе, мы заодно. И когда пели, шагая в обнимку с девочками, даже не хотелось думать о том, какие у них мягкие покатые плечи, как бы прижаться плотнее. Не до таких низменных ощущений, когда все поем в лад, зычно об отряде коммунаров, который сражался „под частым разрывом гремучих гранат", или о том, что „флот нам нужен, побольше дюжин стальных плавучих единиц".

В школе после болезни я тоже оказался дальше, чем прежде, от учкома и от форпоста. Школьные вожди – Толя Грановский, щеголявший в потрепанной кожанке, сиплый от ежедневных надрывных речей, и Филя Фиалков, курчавый, любивший поговорить „по душам", „с подходцем", хитрюга и похабник, – еще раньше зачислили меня в оппозиционеры, уклонисты. Они допускали меня только в редколлегию стенгазеты.

Мне даже несколько льстила репутация „опального таланта". Хотя неистовый Толя говорил обо мне без всякой тени

уважения: „Он же идиёт. Мелкобуржуйский бузотер. Босяк и трепло. Но мы должны его спользовать, шо он грамотный, рисует-писует, стишками даже может... Ну, в общем, спользовать, как спеца, но иметь над ним комиссарский глаз."

„Комиссарским глазом" стала член редколлегии Броня, по прозвищу Белка-Белочка, добродушная, маленькая, складная, смуглянка с острым носиком и ярко-красными губами, любознательная и приветливая. Уже после второй встречи – мы писали вместе какой-то обличительный фельетон – она показалась мне самой красивой, самой умной, самой доброй и, конечно, самой привлекательной из всех девочек, с которыми случалось обсуждать такие важные жизненные проблемы, как – возможна ли дружба между мужчиной и женщиной, бывает ли любовь с первого взгляда, как отличить увлечение от настоящей любви, существует ли таковая вообще, можно ли пионерам целоваться, должна ли девочка обижаться на товарища, если он вдруг захочет ее обнять, можно ли соглашаться на это только из товарищеского сочувствия, и должен ли парень обижаться, если ей просто не хочется и, тем более, если она влюблена в другого...

Теоретические беседы, и сами по себе необычайно увлекательные, естественно перешли к еще более увлекательной практике.

Броня жила на Андреевском спуске, недалеко от голубой церкви Растрелли, вдвоем с матерью, такой же маленькой, смуглой, но ссохшейся и всегда усталой. Мы виделись каждый день. Чаще я приходил к ней, так как у нас дома в любую минуту могла появиться моя мама, – а ей ничего не стоило, забывая, что мне уже 14 лет, что у меня растут усы и я читаю те же книги, что и Марк, – бестактно сказать в присутствии моей гостьи:

– Чего это вы закрываете двери? Разве в вашей стенгазете есть какие-то тайны?.. А если вы готовите сюрпризы, так здесь же нет ваших будущих читателей, зачем же прятаться?!

Я должен был каждый день видеть Броню, и удивлялся, как это я раньше не замечал ее, ведь она была в том же отряде, что и я, в звене у Фени. По ночам я вскакивал с постели, таращился в темное окно и пытался сочинять пылкие любовные стихи. Очень злился, что не получались ни стихи, ни бессонница, необходимая для влюбленного. Невозможно было устоять перед могучим притяжением подушки, сон мгновенно обволакивал

и заглатывал.

Но Броне я, разумеется, рассказывал, что не спал до зари и читал ей косноязычные вирши, в которых клялся в двойной любви одновременно – и к великой грозной революции и к маленькой нежной Белочке. Ей стихи нравились. Мы с каждым днем все меньше разговаривали, все дольше и жарче целовались. Она ласково слабела, не сопротивлялась уже никаким прикосновениям. Вероятно, мы могли бы и совсем отдаться друг другу, если бы хоть один из нас умел, решился. Но я во всяком случае трусил, и, когда несколько раз бывало, что уже вот-вот... я начинал говорить, плетя многозначительные пустые слова, – мол, дальше заходить нельзя, ведь я ее слишком уважаю, а это все же решающий перелом в жизни девушки и что, если потом нам придется расстаться – ведь мои родители собираются совсем переезжать в Харьков, – лучше мы сперва проверим нашу любовь... Белочка задумчиво слушала, соглашалась, отвечала благодарно и ласково. Но когда потом, через годы, я с досадой вспоминал об этой и о других подобных упущенных возможностях, мне уже казалось, что она тогда была скорее разочарована.

Учился я кое-как. В школе – нудная возня с Дальтон-планом и прочими „бригадно-лабораторными" методами. Учиться было и нетрудно и неинтересно. В конце года много времени отняла долгая свара с преподавателем украинского. Мы прозвали его „товарищ Хорошэ", так как он вместо „добре" или „гарно" говорил „хорошэ". Некоторые из ребят, ссылаясь на это, уверяли, будто он плохо знает настоящий украинский язык. По какому-то поводу его обвинили в петлюровщине. На учкоме и форпосте шли жаркие споры. В конце концов главным предметом этих споров оказался уже не сам злополучный учитель, а вопрос о том, имеют ли право учком и форпост обсуждать работу преподавателей и требовать их отстранения. И, так же, как в спорах об оппозиции, я оказался „между фронтами". Нападки на „Хорошэ" я считал несправедливыми. Главные обвинители просто злились на него за то, что он ставил им „неуд", не прощал безграмотности и невыполненных уроков даже записным активистам-общественникам. Но в то же время я настаивал, что и учком и форпост, конечно же, вправе критиковать учителей, и, если нужно, требовать их отстранения; а отрицать

это право может лишь тот, кто хочет восстановить в школе старый „прижим", буржуазные порядки. Но со мной соглашались, кажется, только Белочка и Коля: остальные друзья говорили, что весь этот спор – дурацкая буза.

На очередных выборах в учком я получил значительно меньше голосов, чем мой соперник Яша, один из поборников настоящей дисциплины. Он спорил со мной не враждебно, терпеливо, но явно свысока, убежденный в своем превосходстве, объяснял, что „теперь не девятнадцатый год... нам нужно учиться, а не митинговать."



Рабкоры ХПЗ. 1-й слева – Коля Мельников.

З рештованнь котло-зварочного

5\9 ЦЕХА—СЬОГОДНІ ЗДАТИ ПІД МОНТАЖ ТРИМАТИ Й НАБУВАТИ ШТУРМОВИЙ ТЕМП

Плотники Утьонкова, Каменяри Кучера, Савонова—передовики, зразок для всіх

ПЕРЕМОГА ЗОБОВ'ЯЗУЄ!

Вчора комсомольські бригади каменярів Кучера і Савонова, по бойовому перевиконали свої завдання.

Кучер на 18%—(завд. 2695—поклав 3179).

Савонов на 16%.

Вітаємо ударників. Але цього все ж таки ще недостатньо.

Ти зобов'язався тов. Кучер на зборах робкорів домогтись 1000 цеглин на каміняра.

Сьогодні твое завдання—4690.

У тебе в бригаді 11 юнаків ударників.

Вчорашня перемога і твої обіцянки зобов'язують Беремо на увагу труднощи в підноскою і рештовку поклади сьогодні 10000

Савонов, не відставай! Поклади сьогодні 5000 (замість 3015 за завданням).

Штурмуйте товариші!

Штурмуйте за більшовицькі норми.

Гусаков, Олейнік, Надієнко.

Утьонковці ведуть перед

Вчорашнє денне завдання бригада плотників Утьонкова виконала на 115%, саме 41 кв. м. замість 35,6 кв. м. за завданням.

Цього доноглися ударною працею, правильним розташуванням сил.

Ми певні, що й сьогоднішне завдання—97,5 кв. м. вони також за честю перевиконають.

Рябий.

Блудовці мусять підтягнутись

Свій травневий плян вони виконали тільки на 85,3%.

Правда за 1 червня дали зрушення денний плян 1208 шт. виконали 119% проте цього замало.

Бригада Блудова, повинна наздигнати своїх передових товаришів Кучеровців і Савоновців.

Сегодні завдання 2010.

Виправдаючись ділом Блудовці повинні перевищити цю норму.

Ми закликаємо їх вкладайте 3000

Тільки так, Ви змиєте з себе ганебну пляму прориву.

Робкори.

Найбільша й найвідсталіша бригада у Єфремова

В нього 20 чоловік—плотників вдвічі більшь ніж в Утьонкова, а завдання вчора було вдвічі менше, та й його не виконав—замість 26 кв. м. зробив 22.

Хто цьому винний?

Вимагаємо в тебе відповіді Єфремов виниши або прийди, або надажони до нас і відповідай: чому ти відстаєш?

А перед тим виконай і перевиконай, своє сьогоднішне завдання—35 кв. метрів.

„Удар"

Від редакції

Матеріяли не вміщені сьогодні саме з питань госпрозрахунку та партнеревибо, ів буде вміщено завтра.

Герої бетоно-темпів, перекрили сами себе

Сьогодні вночи штурмовики котло-зварочного перекрили власний світовий рекорд



1-го червня дали 1317 на зміну

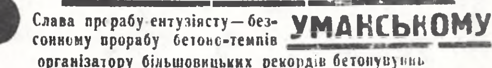
Сьогодня вночи (з 2-го на 3-е)

за 4 г. 40 хв. дали 790 замісів тоб-то 1353 на зміну

Такої цифри не знає жадна бетономішалка світу



СЛАВА ГЕРОЯМ БІЛЬШОВИЦЬКИХ РЕКОРДІВ



Слава прорабу ентузіясту—безсонному прорабу бетоно-темпів **УМАНСЬКОМУ** організатору більшовицьких рекордів бетонування

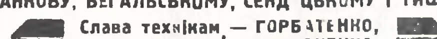
Слава командирам будівельних штурмів: невтомному прорабові Н. З. т. АШКАЛУНЕНКО.

Прорабові будколонії т. ЛАПЕДУСУ.

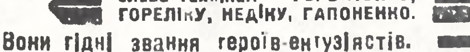
Бойовому голові цехкому т. ГУСЬКОВУ.

СЛАВА МОТОРИСТАМ ШТУРМОВИКАМ

САЗАНКОВУ, БЕГАЛЬСЬКОМУ, СЕНДЕЦЬКОМУ і ТИШКОВУ



Слава технікам — ГОРБАТЕНКО, ГОРЕЛІКУ, НЕДІКУ, ГАПОНЕНКО.



Вони гідні звання героїв-ентузіястів.

Вони гідні славної подяки.

Адреса редакції барак № 1 за тракторным цехом тел. 1-58
Орган „Харківського Паровозобуда" ХПЗ Тираж 4000 Редактор [illegible]



Надежда, Лев К. , 1932 г.



Голодающие дети. Снимок сделан в 1922 г. В 1930 г. такие снимки уже не проникали в прессу.



Троцкий пишет биографию Сталина



Александр Копелев (1915-1941). Снимок 1940 г.

Лев (он в полной форме) выпускает ротную стенгазету.



Пятая глава

ЭСПЕРАНТО

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

А.Пушкин

...Чтобы в мире
без Россий,
без Латвий
Жить единым
человечьим общежитьем.

В.Маяковский

Когда новый учитель русской словесности Дмитрий Викторович в первый раз пришел в класс, я решил, что он похож на древнего римлянина. Голова гордо запрокинута. Бледно оливковое лицо, большой тонкий нос половинкой трапеции; высокий бледный лоб – редкие, темнорусые волосы небрежно отброшены назад; темные глаза щурились близоруко и, казалось , презрительно.

Он величественно толковал о том, что Онегин и Печорин – лишние люди, что Пушкин не стал декабристом потому, что его не приняли в организацию как легкомысленного поэта и к тому ж друзья жалели его, не хотели рисковать его судьбой.

Он произносил привычные слова с привычными интонациями. Выразительно повышал голос, говоря „великий", „гениальный", ..благородный", „страдания народа"... И опуская углы губ, будто отплевываясь, произносил „светская чернь", „цар-

ские приспешники"...

Его уроков я не любил. Но именно Дмитрий Викторович посвятил меня и еще нескольких ребят в прекрасное таинство. Он научил нас международному языку „эсперанто".

После уроков, когда в опустевшем классе собирался кружок эсперантистов – нас было десятка полтора ребят, он становился другим. Оживлялся; уже не декламировал заученно и гладко о „великих певцах народных страданий, гонимых черными силами самодержавия", а, запинаясь, подыскивая слова, и неподдельно увлекаясь, говорил о международном братстве, не знающем границ, о том, что люди всего мира, всех наций и рас, должны объединиться во имя добра, справедливости, просвещения. И тогда не раздражали ни вдохновенно запрокинутая голова, ни плавные жесты, когда он поглаживал лоб узкой, длинной рукой. Все это уже не казалось нарочитым, актерским.

– Грамматика эсперанто гениально проста, легка, доступна любой памяти. Всего шестнадцать правил, – умещаются на одной промокашке. Все существительные заканчиваются на „О", все прилагательные на „А", все глаголы – на „И". Спряжение только одно. Никаких исключений. Четкие окончания... Пароли – говорить, пароляс – говорю, паролис – говорил, паролю – буду говорить. Простейшие правила словообразования: лернеи – учиться; лернейо – школа; лернеульо – учебник; лернеано – ученик.

...Это была великолепная игра – за несколько дней изучить язык, на котором говорят и пишут люди, живущие во всех странах мира. Язык простой и благозвучный, прекрасный уже тем, что содействует благородной цели. И сама эта цель непосредственно воплотилась в языке эсперанто; он братски сочетал разноплеменные слова и обороты. В основе – латынь, мать многих европейских языков, но еще и германские, и славянские слова, и даже китайские и японские. Местоимения „ви" и „òни" – это русские „вы" и „они". Ударение всегда на предпоследнем слоге, как в польском. Вопросительное словечко „чу" – „Чу ви пароляс эсперанто?" – из украинского „чи", – „чи ви говорите на эсперанто?"

Этот язык изучали несколько миллионов человек. Лучшие из них объединились в особый союз „Сеннациеца Ассоцио Тутмонда" – САТ – „Всемирный Безнациональный Союз".

Дмитрий Викторович принял и нас в это великое содру-

жество: мы получили членские билеты – зеленые книжечки; имя и фамилия написаны латинскими литерами – и значки: зеленая пятиконечная звезда в красном кружке.

Отныне на вопрос о национальности мы должны были гордо отвечать: „без национальности", – „сеннациуло" и „сатано", – то есть, член САТ.

Игра была тем более прекрасна, что представлялась не игрой, а началом новой жизни.

Тот, для кого уже с детства повседневны телевизоры и киножурналы, кто постоянно слышит о знакомых, уезжающих за границу, – в экскурсию, в командировку, – кто встречает разномастных иноземцев на улицах, в музеях, на фестивалях, на спортивных состязаниях, – вероятно никогда не поймет и уж конечно не почувствует всего, что мог думать и ощущать киевский школьник в 1926 г. Ребенком я видел немецких и польских солдат на улицах своего города. Но то было давно и ушло навсегда. В газетах скучно стандартные строки телеграмм из-за границы, в журналах – темносерые фотоснимки лишь тускло отражали далекую чужую жизнь, едва ли реальней, чем истрепанные страницы Жюль Верна, Майн-Рида, Станюковича или скачки ковбоев на зябко дрожащем экране.

У меня было некоторое преимущество перед другими ребятами, я читал иногда еще и немецкие газеты и журналы. Но все они блекли перед личными письмами из дальних краев, прибывшими совсем недавно, обращенными вот к этому человеку, нашему учителю. Он доставал из старого портфеля яркие, будто лакированные открытки и конверты с диковинными марками. Можно было взять их в руки, понюхать – вдохнуть дыхание Лондона, Парижа, Сан-Франциско, Токио...

Дмитрий Викторович заметил, как ревностно я учил эсперанто: зубрил стихи, пытался непринужденно разговаривать, переводил.

После очередного занятия он пригласил нескольких наиболее прилежных кружковцев придти к нему вечером домой.

Окраинная улица. Маленький домик. Мы вошли сперва в грязную кухню, пахнувшую кисло и горько, оттуда, через большую, неприбранную комнату, уставленную шкафами, кроватями, сундуками, протиснулись в темный пыльный кабинет. На столе, на этажерке, в большом открытом шкафу, на стульях и просто на полу громоздились, лежали, валялись книги, тетради,

газеты, гроссбухи, брошюры, папки, разрозненные листы, исписанные и чистые...

Жена Дмитрия Викторовича в грязнобелом платке, завязанном по-деревенски и в грязном фартуке поверх халата, говорила на русско-украинском наречии полуграмотной горожанки. Дмитрий Викторович обращался к ней высокомерно, отрывисто, почти грубо, хотя и на „Вы".

– Не мешайте мне... Потом спросите... Закройте дверь, что там за чад у вас на кухне?

Он встретил нас в светлозеленом, засаленном старом халате с темнозеленым воротником и обшлагами, уже посекшимися, бахромчатыми. Сидел он в кресле, покрытом пестрым рядном, из-под которого торчали витые ножки красного дерева и прохудившаяся атласная обивка.

В первое посещение он показался мне ученым барином, героем старой книги.

Он опять выкладывал открытки из Австралии, из Японии, Испании, Аргентины... Все они начинались обращением „Камарадо..." или „Самидеано" (единомышленник). Показывал журналы, газеты, книги и брошюры на разных языках. Должно быть Плюшкин так же бережно перекладывал бумажки на своем захламленном столе. Я стал выпрашивать немецкие журналы. Он долго колебался; потом разрешил взять несколько и попросил перевести подписи к снимкам, изображавшим голодающих индийцев, каких-то прославленных бандитов, новые гидропланы Дорнье, казни в Шанхае, старт цеппелина и другие занятные события.

– Пожалуйста, только не потеряйте! И не изомните! Следите, чтобы углы не загибались. Когда будете класть, проверьте, чтобы не на грязное, не на жирное.

Еще несколько раз я бывал у него. Позднее уже не испытывал напряженности и неловкости; уверенно перебирал газеты, письма; выискивал по особым объявлениям в эсперантистских журналах адреса тех, кто хотел переписываться с эсперантистами из других стран, обмениваться иллюстрированными изданиями с подтекстовками, переведенными на эсперанто...

В школе действовал бригадно-лабораторный метод. Каждая группа была разделена на бригады, участники которых сами назначали друг друга ответственными за разные предметы. Такого

ответственного преподаватель и вызывал отчитываться за всю бригаду. Всем ставилась общая оценка. Учителя только изредка, выборочно проверяли знания других ребят.

В нашей бригаде я числился ответственным за словесность. Но заниматься литературой я предпочитал не с Дмитрием Викторовичем, а ходил в лабораторию к Владимиру Александровичу, хотя тот и не жаловал моих увлечений.

– Вы и так уже три языка учите – русский, украинский, немецкий. И ни одного толком не знаете, на всех малограмотные. А тут еще какую-то эсперанту выдумали. Вроде той латыни, что в гимназиях зубрили, панычам на скуку. Не-е, брат, это несерьезное дело. Приходи-ка лучше, помоги в лаборатории выпустить бюллетени про Шевченко и Некрасова. И постарайся не делать орфографических ошибок.

С детства я жил в разноплеменной среде.

Мы с братом говорили между собой по-немецки. Но во дворе и на улице и в школе было известно, что мы из еврейской семьи. Враждебные пацаны орали нам: „Немец – перец, колбаса, сел на лошадь без хвоста, сел задом наперед и поехал в огород!" или „Жид пархатый, номер пятый, на гнилом дрючке распятый... Жид, жид, по веревочке бежит!"

Задирая иноплеменных, мальчишки горланили: „Хохол-мазница, давай дразниться!.." На это отвечали: „Кацап-кацапупа, зализ на дуба, а з дуба на граба, роздерся як жаба!" Или: „Лях, лях, съел жабу в камышах!.."

Китайцам, которые на уличных перекрестках продавали веера, бумажные шары, ленты и пестрые фонари, и тем, которые на пыльных ковриках показывали фокусы, кричали: „Ходя, ходя китайца, черепашьи яйца". Татарам, скупщикам старых вещей с безопасного расстояния предлагали: „Князь-халат, купи поросят, купи свинку, порадуй княгиньку".

Такие потехи мне всегда были гадки. В Киеве – городе недавних погромов, после всего, что навсегда впечаталось в память, я уже мальчишкой твердо знал, верил, чувствовал – все национальности, все языки и религии равны.

Когда меня обзывали жидом или „колбасником", либо начинали дразниться, коверкая слова на еврейский лад, – я лез драться. Если обидчик был сильнее, хватался за камень, за палку. Это стало безотказным рефлексом. Иногда приходилось отступать и удирать с окрававленным носом, с подбитым

глазом. Но никогда – ни в детстве, ни в юности – я ни на миг не испытал побуждения унизить, обругать иную национальность, иную религию, передразнить чужую речь.

О самых близких друзьях я, разумеется, знал, кто они – русские, украинцы, евреи, поляки, армяне, грузины или немцы. Но о многих ребятах и девочках из моего класса, из моего отряда я и сейчас, вспоминая, не могу сказать, „какой они нации". Тогда это нас не интересовало.

Миазмы первобытно-„группового", варварски обобщающего мышления настигли меня позднее и в другом виде. Когда я поверил, что следует опасаться и ненавидеть *всех* буржуев, *всех* помещиков, *всех* белогвардейцев, кулаков, меньшевиков и т.п. И, напротив, полагал обязательным любить, как родных, всех пролетариев, коммунистов, комсомольцев, красных командиров, ветеранов гражданской войны...

Добрые идеалы эсперантского братства не устояли перед классовой и партийной воинственной предвзятостью. Возможно еще и потому, что со временем становились очевидны некоторые существенные слабости этих идеалов.

В 20-е да еще и в 30-е годы были такие энтузиасты, которые своих детей с младенчества обучали говорить прежде всего на эсперанто; сказки Пушкина и басни Крылова читали им в эсперантистских переводах. Впрочем, тогда уже было довольно много и оригинальных литературных произведений на эсперанто в стихах и в прозе. В 1936 году серьезная интеллигентная москвичка уверяла меня, что скоро появятся великие *безнациональные* писатели – эсперантистские соперники Данте, Шекспира, Толстого. И национальные черты в тематике или стилистике их творчества будут означать не больше, чем приметы флорентийского наречия в „Божественной комедии" или московские интонации в „Войне и мире".

Возражая на это, я доказывал, что *интернационализм* реален именно потому, что он *„интер"* – между, – т.е. означает связь между реально существующими нациями, объединяет их, но не отрицает, не поглощает. А *безнационализм* ирреален, как жареное мороженое. Эсперанто может и должно быть лишь удобным вспомогательным средством международного общения, вроде азбуки Морзе. Тогда я уже понимал, что искусственный язык, как бы рационально он ни был построен, из каких бы прекрасных благородных замыслов не возникал, все же остает-

ся неживым бумажным растением. А живые языки растут естественно, т.е. и свободно и закономерно, однако по законам не подвластным никаким рассудочным планам; растут, как ветвистые деревья, чьи корни скрыты в глубинах национальной почвы и подпочвы.

Вопрос о национальной принадлежности впервые возник передо мною — двадцатилетним комсомольцем, когда я получал свой первый паспорт. С тех пор я неоднократно задавал его себе по разным поводам. И каждый раз явственно чувствовал и сознавал, что должен отвечать „еврей". Потому что евреем считает меня большинство окружающих. Если бы я назвал себя русским, это было бы одними воспринято, как беспочвенная навязчивость, другими как трусливое отступничество; и теми и другими — как своекорыстное стремление приспособиться к господствующей нации.

В анкете, в графе „родной язык", я писал „русский" и „украинский", а в графе „национальность" — „еврей". Различия между этими определениями я не считал противоречием. Не видел в таком различии ничего неестественного.

После войны вопрос о национальной принадлежности стал приобретать все большее значение и часто недобрую напряженность. Сегодня решение этого вопроса и всех связанных с ним проблем, определяет своеобразный „треугольник сил": во-первых, анкетно-паспортный рационализм административной генеалогии. Во-вторых — иррациональные силы древних, стадных инстинктов и неприязни ко всему чужому, инородному. И в-третьих — новейшие расистские мифы, уснащенные наукообразными рассуждениями об этническом генофонде и т.п.

С тех пор, как возникло и стало нарастать движение новой эмиграции, вопрос о национальности советских граждан с еврейскими паспортами, или даже таких, у кого есть еврейские родственники, вместо них самих решают другие. С одной стороны „почвенники" (они же „руситы"), с другой — сионисты. И со всех сторон — чиновники отделов кадров и те несметные обыватели, которые в расистской, шовинистической мифологии находят ближайшее убежище для своих обид, недовольств и комплекса неполноценности.

Я никогда не слышал голоса крови. Но мне внятен голос памяти. И в памяти сердца живут дедушка, бабушка и тетя,

которых 29 октября 1941 года расстреляли в Киеве, в Бабьем Яру, за то, что они были евреями. В памяти сердца живут мать, отец, родственники, которые считали себя евреями до последней минуты жизни. Отречься от них – значило бы осквернить могилы. Юлиан Тувим писал о братстве по крови „не той, что в жилах, а той, что из жил".

Поэтому во всех анкетах, всем казенным вопрошателям и просто любопытствующим я отвечал, отвечаю и буду отвечать: „еврей".

Но себе самому, близким друзьям, я говорю по другому. И сейчас, решившись исповедаться перед вовсе незнакомыми читателями, пытаюсь изложить, объяснить, как возникало и развивалось мое действительное национальное самосознание. Это развитие не было ни однозначным, ни прямолинейным.

Много лет прошло с тех пор, как я покинул Украину. Еще больше с того времени, как отшумело детство. Но и сегодня, даже самые любимые симфонии и концерты не имеют надо мной такой власти, как старые песни „Стоит гора высокая, а пид горою гай", „Дывлюсь я на нэбо, тай думку гадаю...", „Запрягайте кони, кони вороные...". Ребенком я слушал и плакал. Да и теперь иногда перехватывает гортань.

Зимой 41-42 г.г. на Северо-Западном фронте в заснеженных замерзших лесах на Валдайских высотах, мой друг Юрий Маслов получил письмо от отца из Уфы. Туда эвакуировали украинских ученых. Профессор-филолог Сергей Иванович Маслов вложил в письмо сыну новое стихотворение Владимира Сосюры.

Колы до дому я прыду
В годыну радисну, побидну,
Я на колина упаду
И поцилую зэмлю ридну.
...Сниги, Башкирия, Блакыть.
Мов сльозы падають годыны,
А у лице мое шумыть,
Рыдае витэр з Украины.

Мы сразу же запомнили наизусть. Эти стихи я повторял вслух и про себя на фронте, и в тюрьме, и в лагере.

За годы войны я не раз испытывал жестокое горе, неутолимую боль, узнавая о гибели близких – кровных и друзей.

Знал и страх. И отчаяние. Но только два раза не удержал слез. Двадцать пятого сентября 1941 года, когда услышал по радио сводку „оберкоммандо Вермахта" – ликующий голос врага: „Флаг со свастикой реет над Киевом...". И в апреле 1944 года, когда впервые снова пришел на Крещатик; брел между холмами пепелищ и закопченными кирпичными скелетами. Узнавал и не узнавал. И плакал, не замечая встречных.

Киев. Нет на земле места для меня милее и краше. Хотя сейчас он и стал чужим. Я знаю: там властно хозяйничают чужие недобрые силы. Не хочу жить там. И понимаю Виктора Некрасова, который так любил наш Киев, так дивно писал о нем, а в 1974 году покидал его с горечью неприязненного отчуждения.

Но при всем том, нет на всей планете уголка роднее, чем батько Киев.

Днипро. И Лавра. И мосты.
Вэсэлый гомин, дзвин трамваю.
По бруку ридному иты
Я щастя вищого нэ знаю.

Украина – страна моего детства и юности.

По-украински разговаривала со мной няня Хима; рассказывала сказки – байки. Пела. Это она и мама пели те песни, которые навсегда останутся во мне. По-украински говорили ребята, с которыми я дружил, играл и дрался в селах, где работал отец. И он со своими друзьями и товарищами – агрономами – говорили по-украински. В школе и в университете я изучал украинский язык и литературу. Навсегда полюбил могучую поэзию Шевченко, поэзию и прозу Франко, Леси Украинки, книги Панаса Кулиша, Коцюбинского. И в новейшей украинской литературе я чувствовал себя на родине. Близки и необходимы были мне мудрые печальные драмы Миколы Кулиша, стихи Тычины, Зерова, Рыльского, Сосюры, поэтическая проза Хвыльового, Яновского. До 1935 года я не пропустил ни одной новой постановки Леся Курбаса в театре „Березиль", радовался каждому фильму Довженко.

Первую постоянную работу я получил осенью 1929 года. „Биржа труда подростков" направила меня в вечернюю рабочую школу для малограмотных. Там я преподавал украинский и русский языки, арифметику, основы политграмоты и основы

естествознания – объяснял, что земля крутится вокруг солнца, а не наоборот, и что люди произошли от обезьян. Часть моих учеников говорили по-украински, но было и несколько приезжих из России, а большинство изъяснялись на том смешанном русско-украинском наречии пригородов, которое можно по желанию отнести к любому из двух языков.

Когда на паровозном заводе я был сотрудником заводской газеты и редактором цеховой многотиражки, то статьи и заметки писал только по-украински. Я был твердо убежден в необходимости украинизации – социалистическая культура должна быть „национальной по форме".

В ту пору я и стихи сочинял только по-украински. Писал о далеком Севере, куда наш завод отправлял тяжелые тракторы.

Тхнэ смолою и мохом тайга,
Стыгнэ тыша, ялынна, соснова;
И зэлэного витру солэна туга
Тыхо дыхае в хвойных диброваx.

В гору й з горы,
В гору й з горы,
Дэ сосэн вэрхив'я розчисцюють хмары,
Радянськый лис вэзуть тракторы,
Цэ наши хопзэвськы „Коммунары".

Украинские стихи я писал и позднее. В последний раз на фронте, в госпитале, для кареглазой полтавчанки – сестры Тани.

Чужэе мисто. Сири ночи.
На двори: жовтэнь, дощ, вийна.
Алэ ж твои, кохана, очи –
И голубыный смих дивочий,
Як нэсподивана вэсна.

(Мои украинские вирши были еще хуже, чем русские. Хотя и лучше, чем те немецкие, которые я сочинял для листовок и звукопередач, чтобы агитировать немецких солдат.)

По-русски я говорил дома, с родителями, с большинством друзей-ровесников, с любимой девушкой, которая стала моей женой, едва нам исполнилось по восемнадцать лет. Русских книг у меня всегда было больше, чем украинских. И в памяти осело

неизмеримо больше русских стихов и русской прозы.

Мои чувства, мое восприятие мира воспитывали, развивали прежде всего русское слово, русские наставники и русские переводы Шекспира, Гюго, Диккенса, Твэна, Лондона. Немцев я читал на их языке.

Как свое убежденье, повторял я слова Маяковского:

Да будь я и негром преклонных годов,
И то без унынья и лени
Я русский бы
выучил только за то,
Что им разговаривал
Ленин.

На паровозном заводе большинство рабочих считали себя русскими. Были среди них и члены заводских „пролетарских династий", с явно украинскими фамилиями – Шевченко, Редька, Криворучко, Задорожный. Однако новые рабочие, прибывшие главным образом из деревни, говорили только по-украински.

В Россию, в Москву, я приехал впервые двадцатилетним. До того лишь несколько раз бывал в русских деревнях на Харьковщине, там я смотрел на тоскливо серые, рубленые избы, крытые щепой, так непохожие на привычные беленые хаты с высокими соломенными крышами. Слушал непривычный говор. Все это воспринималось, как ожившие страницы знакомых, любимых книг.

Но я был уверен, что знаю Россию, – далекую, огромную, непривычную, и все-таки мою – не меньше, чем Украину. Потому что Россия жила со мной рядом, на книжных полках и во мне самом. Думал-то я всегда по-русски.

...Профессорский сын Рома Самарин язвительно посмеивался:

– Никакой украинской нации нет. Ее выдумали невежественные хуторяне, потомки приднепровских разбойников-запорожцев. Те были разноплеменным сбродом и набивали себе цену в постоянных войнах России с Польшей и Турцией. Запорожцы предавали то тех, то других. А потом их внуки придумали себе Украину. Объявили нацией жителей российской окраины. Ведь „Украина" и означает просто „окраина". Украинский язык –

это миф. Есть несколько малороссийских диалектов. Лучшие люди Малороссии всегда сознавали себя русскими, – Разумовский, Гоголь, Щепкин, ваш любимый Короленко. А нынешняя возня с украинизацией долго не продлится. Все самостийники – будущие предатели. Когда начнется война с Польшей или Румынией, их придется расстреливать. Сегодня в русском государстве у власти русские коммунисты. Пусть это государство называется Эсэсэр. Но его столица Москва; основа его державной мощи – русский народ, русская армия. И нечего ссылаться на разных нацменов. Российская империя, российская армия всегда были разноплеменны, вспомните: Миних, Барклай де Толли, Дибич, Нессельроде, Тотлебен... Сотни, тысячи инородцев были офицерами, чиновниками. Башкиры и калмыки в Париж входили...

Такого рода рассуждения приводили меня в ярость. Особенно, когда их уснащали пошлым зубоскальством: „А как Ленский должен теперь петь: – „Чи я впаду дрючком пропертый?"

Однако возмущали и прямо противоположные взгляды.

Студент Литфака пытался доказывать:

– Тилькы Украина насправди наслидуэ спадщину Кыивський Руси, в усьому: в мови, в национальним характэри, в поэзии. Москивщина – це выдобуток татарщины, а Пэтэрбург будувалы голландци и нимци. Взагали Россия ныколы нэ була словяньскою краиною. Вона – мишанына з финьских, туранських, кавказьских, балтыйских та гэрманьских плэмэн. Правдывых словян новогородськйх Москва або знищила, або погвалтувала. А писля Пэтра й Катэрыны почалась нимецька „европэизация". Пэтэрбурзьки цари й Украину закрипачилы... Украинська литэратура блыжче до народу ниж российска. Шевченко – народный поэт, мученык за народ, а Пушкин камер-юнкер. Вин стилькы же француз, скилькы россиянын. А всэ що тэпэр робытыся, – це нова фаза русификаторського натыську. Нэ потрибни нам вси ци заводы, элэктровни, эмтээсы. Воны ж тилькы забруднюють и зэмлю и нэбо.

Маленькая Галочка-галичаночка, тоже студентка литфака, в которую я был влюблен целый семестр, старалась убедить меня в преимуществах украинского языка перед русским.

– Я тэбэ клычу хлоню, а ты мэнэ клыч котэчко... Пам'ятаешь у Мицкевича: „Веселютка, як млодэ котэчко"?.. А Пуш-

кин пэрэклав: „Весела, как котенок у печки”... Как котенок! Ка-ка-ка! Ни, всэ ж таки наша мова и польщизна мылозвучниши од московской... Навыть напростиши слова... Шо липше: „Як ся маэте, друже?” чи „ Как поживаете, товарищ?” А писни?! Российски писни так сумни, таки довги, довги и бэзбарвни, наче то осинни витры, чи снижни завирюхи их там спиваты навчають... А слова. Ось тилькы послухай, що тоби милише: „грустить” чи „сумоваты”? „Тосковать” чи „журытысь”? А мы з тобой кто? „Вльубльонные”? Ни! Мы закохани. Ты мий хлопець, мий хлоню, а нэ „мой парень”. Там в России однэ тилькы слово е „любить”. Гарнэ слово, алэ однэ. А у нас и любыты и кохаты, и мылуваты, и любытысь, и кохатысь, и мылуватысь. Або у них „у-ха-жы-вать” , бррр... яке мищаньскэ брыдкэ слово! А у нас „залыцятысь”. Ты ж нэ „ухаживал”, ты залыцявся до мэнэ.

Пытаясь объяснить другим и себе свою раздвоенность между Россией и Украиной, я говорил:

– Да ведь я родился в Киеве, когда он был еще только русским городом. Теперь он украинский, и это справедливо, это законно. Однако, он же не перестал быть матерью городов русских.

В страшную голодную весну 1933 года мне пришлось на протяжении одной недели побывать в нескольких украинских и русских деревнях Волчанского района. Расстояния между ними были короткие: 8-10 километров. Соседствовали они уже больше ста лет со времен Аракчеевских военных поселений. И среди многих тягостных, горестных впечатлений тех дней застряли в памяти такие разговоры.

Немолодая крестьянка, – даже по отечному бледному лицу заметно, что была когда-то очень пригожа, – говорила, что не позволит сыну жениться на девушке из соседнего, украинского, села.

– Не пущу я в свою избу хохлушку – непряху, неткаху, неряху. Это ж у них одна видимость, что хаты мелом белят и в праздники выряжаются. Ну, как цыганки. А под теми лентами-бусами у них что? Вши да гниды. Там на все село ни единой баньки. Хорошо, если такая красавица хоть глаза утром помыет. Они ж только в летку, если жарко невтерпеж, когда-никогда

в речке пополощутся. Да и то, пока еще девки. А бабы ихние, как косу расплела, очипок свой повязала, так до самой смерти головы не промоет. Нет, не пущу хохлушку.

Она говорила убежденно, уверенная в своей правоте.

А на другой день в украинском селе я слушал таких же пожилых, здравомыслящих крестьянских жен и матерей. Ни истощение, ни горе – в каждой семье были опухшие, умершие от голода, – не ослабили в них пристрастного недоверия, недоброжелательности к соседям.

– Якщо мий сын визьмэ кацапку, то хай идэ в прыймакы (то есть, живет в доме тестя). А я з нэю пид одниею стрихою нэ жытыму. Воны ж ти кацапы як свыньи: хаты ни билэни, нэ мэтэни, скризь тараканы, клопы... Та ще й куры и тэлята и порося тут же, разом з людямы и жруть и серють... Одна слава, що в баню бигають кожну суботу. Парются, як скажени, а потим знову у бруди сплять.

– Я свою доню за кацапа нэ виддам. Щоб вин пьянычка быв, щоб вона биля свинэй спала. Ихни жинки бидолаги цилый рик в постолах и в онучах ходять. Воны й на свята чобит нэ мають.

Чем было преодолеть эту вековую неприязнь? Какое эсперанто могло тут помочь?

Всегда я любил Украину. И не могу разлюбить. Уже до конца.

Но не было такого дня и часа, когда бы я чувствовал или называл себя украинцем.

К началу тридцатых годов я уже понимал, что эсперантистские мечты о безнациональном человечестве – бесплодная утопия.

Однако на вопрос о национальности я тогда отвечал не колеблясь: „советский". И верил, что это – объективная историческая истина и вместе с тем – моя личная правда. Потому что всерьез полагал, будто я-то и есть один из *новых советских людей.*

Ведь любя и Россию и Украину, я вместе с тем был интернационалистом. Немецкий язык и немецкая словесность были мне с детства родственно близки. Этому нисколько не мешало ощущение неразрывной связи с еврейской родней. Знакома

и мила стала мне Польша – страна Мицкевича и Сенкевича, страна моих соболевских друзей. Но также и Франция – страна Гюго и Дюма, якобинцев и коммунаров; Англия Диккенса, Вальтер Скотта, Уэллса; Америка Марк Твена, Джека Лондона, О.Генри; Чехословакия Гашека и Чапека; Китай, где сражались красные армии; Индия Киплинга и Рабиндраната Тагора; Япония, в которой жили такие пылкие эсперантисты, что они даже создали свою особую религию...

Не довольствуясь эсперанто, я еще в школе стал учить английский по самоучителю, а позднее и по книжкам на „бэйзик инглиш". В 1931 году, в пору напряженной работы на заводе, когда мы по несколько суток не возвращались домой, мы с Ваней Каляником поступили в вечерний техникум восточных языков на отделение фарси. Ваню привлекала великая персидская поэзия, а меня соблазнили его рассказы о том, что на фарси говорят не только таджики и персы – тогда еще так называли иранцев, но и часть афганцев и многие жители Индии. К тому же я хотел усвоить арабскую письменность. Все это в предвидении грядущих классовых битв на Востоке...

Когда ввели паспорта, вопрос о национальности впервые был задан мне официально, моим государством.

Секретарь комсомольского комитета удивился, узнав, что я „записался" евреем.

– Ты что, сдурел?! Ты ж ни говорить, ни читать по-еврейски не умеешь! Ты должен писаться украинец: ты ж украинскую школу кончил, вирши по-украински пишешь. Я вот написался русский, хотя батьки – украинцы. Но я русскую школу кончал, по-русски лучше умею и говорить и писать. Ну, и ты можешь в крайности писаться русский, ты ж одинаково умеешь...

Я возразил, что до тех пор, пока я знаю, что могу услышать упрек: „Ага, стесняешься, скрываешь...", я буду числиться евреем.

Он сердито пожал плечами:

– Ну, это у тебя какой-то мелкобуржуазный интеллигентский уклон получается... Кто может сказать такое? Только гад-белогвардеец, петлюровец. Гадов надо искоренять, а не думать, что они скажут, Не по-комсомольски это у тебя получается.

Он не мог понять моего решения и должно быть даже сомневался, насколько оно искренне. Незадолго до этого комитет рассматривал мое первое „персональное дело".

...В редакцию пришел разбитной парень и заявил, что он организует еврейскую секцию завкома, хочет издавать в нашей газете еженедельную страницу на идиш, а также выпускать несколько еврейских стенгазет. Он требовал, чтобы ему оказали содействие и помощь, и доказывал настоятельную необходимость своих проектов. На заводе имеются минимум полторы тысячи евреев – рабочих, ИТР и служащих.

Мне это показалось неубедительным. Предполагаемые избиратели новой секции завкома были разбросаны по разным цехам и отделам, многие, должно быть, вовсе не знали идиш. Зачем их искусственно объединять и отделять от других товарищей? Только по национальному признаку? Нелепо!

Возражал я тем более резко, что автор проекта, едва познакомившись, заговорил так, будто само собой разумелось, что я должен его поддержать.

– Оч-чень жаль, что ты не понимаешь идиш. Или, может, все-таки а бисл понимаешь? Нет?! Но все-таки должен же иметь еврейское сердце.

Я пытался ему объяснить, почему именно считаю несостоятельными его представления о национальном вопросе. Предложил для начала провести анкету, сколько именно из тех рабочих и служащих, которых он взял на учет, владеют еврейским языком. И сколько таких, кто хочет иметь свою особую стенгазету. О странице в многотиражке не могло быть и речи, мы и так не умещали всех материалов и никто не думал заводить русскую страницу, хотя русских рабочих на заводе было действительно много.

Он сперва даже не поверил в серьезность моих возражений. Потом стал злиться, заговорил свысока, с угрожающими интонациями. Ведь я то без году неделя в комсомоле, выходец из мелкобуржуазной интеллигенции, а он – потомственный пролетарий, кожевенник, ставший металлистом; имел уже сколько-то лет стажа, и не какого-нибудь, а боевого, активистского, в сплошной классовой борьбе. Ему просто противно было разговаривать с такими соплякам и мамиными сыночками, которые отрекаются от своей породы, лезут не то в украинцы, не то в кацапы, подхалимничают...

Тут уж я не выдержал и наорал так, что на очередном собрании комсомольской ячейки сталелитейного цеха получил выговор „за допущение высказываний антисемитского харак-

тера".

Могло быть и хуже, если б не секретарь ячейки, белокурая разметчица Аня, в которую я был безмолвно влюблен и только ради нее прикрепился именно к ячейке сталелитейного. Аня спокойно и умно отстранила самые злобные нападки обвинителей. Главного противника поддерживали еще двое, молодые формовщики, тоже парни из черты оседлости. Но их удалось переубедить.

Этот случай остался в памяти мутным осадком. В том же слое воспоминаний, где застрял учитель-сионист, лупивший меня за строптивость, местечковые ребята, швырявшие комьями грязи, и обида дедушки из-за несостоявшегося тринадцатилетия.

Никогда я не находил в своем сознании ничего, что бы связывало меня с национальными идеалами, с религиозными преданиями еврейства.

Однако, в подсознании, в условно-рефлекторных корнях мироощущения, жили и живут иррациональные, но прочные связи с бабушкой, дедушкой, прадедом, с родственниками и свойственниками, с их страхами и надеждами, страданиями и радостями. Должно быть именно поэтому я так обозлился на крикуна, который пытался устраивать на ХПЗ „еврейский, национальный очаг". Именно поэтому мне и доныне особенно мерзки негодяи еврейского происхождения – Мехлис, Каганович, Заславский и т.п. „идеологи" и чекисты, сановные хамы и мелкие подхалимы. Именно поэтому такой жестокой болью ранит новейшая черносотенная ложь: „евреи не воевали, а благоденствовали в Ташкенте", „ все они торгаши, проныры, друг за дружку цепляются... ловчат, умеют устраиваться, наживаться..." И еще больше уязвляют мифы образованных и полуобразованных расистов, рассуждающих о „вечных, миродержавных претензиях иудаизма", об отсутствии у евреев „чувства родины", „связи с почвой", о „еврейских источниках русской революции", „еврейских корнях американского империализма" и т.п.

Каждый раз я снова и снова пытаюсь, – чаще всего бесплодно, – спорить; говорю о брате, погибшем в бою в 41-м году, обо всех двоюродных и троюродных, похороненных в русских солдатских могилах, о знакомых и товарищах с еврей-

скими паспортами, которые честно воевали, честно работают, никогда не ловчили, неразрывно связаны с душою и почвой России, Украины, Белоруссии... Однако, при этом я отчетливо сознаю, что хочу защитить не только еврейскую нацию, сколько правду о русской укорененности таких „граждан еврейского происхождения".

Один из недавних эмигрантов написал другу:

„Всю жизнь я считал себя евреем. Уже в школе мне тыкали: „ваша нация". Дважды меня проваливали в университет, не приняли в аспирантуру. Везде почти совершенно откровенно „по 5-му пункту". Я стал учить иврит, до хрипоты спорил с ассимиляторами, готов был их ненавидеть. Но теперь, прожив уже больше года в Израиле, где мне в общем хорошо – работаю по призванию, материально благополучен – я чувствую себя русским и только русским. И все вокруг считают меня именно русским. Пожалуй, уже ради этого стоило сюда ехать".

Надеюсь, что большинству моих соотечественников, отягощенных еврейскими паспортами или даже только еврейскими генами (в некоторых советских учреждениях исследуют кадры уже по нацистскому образцу, выделяя и „метисов" и даже „квартеронцев") – не придется уезжать за рубеж, чтобы чувствовать и сознавать себя русскими.

Первые годы моей комсомольской молодости совпали с порою воинственного антинационального нигилизма, которым ознаменовалось воцарение сталинщины.

В 1930 году началось то, чего мы еще тогда не понимали, – *уничтожение крестьянства*, – т.е. выкорчевывание живых корней национального исторического бытия. Одновременно идеологи-коновалы старались выхолостить, выскрести „пережитки" и живые корни национальной культуры. Взрывали московский храм Христа Спасителя, ретиво разрушали церкви в Кремле, в сотнях городов и тысячах деревень, жгли иконы и старопечатные книги, запрещали издавать Достоевского, изымали книги русских философов XX века, очищая библиотеки от „идеологически чуждой" литературы.

В 1931 году Сталин говорил: „История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские

феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все – за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно и сходило безнаказанно".

Именно в ту пору я, полагавший себя образцовым интернационалистом, советским патриотом, представителем нововявленного и разноплеменного советского народа, начал все острее ощущать обиду, а временами даже боль за Россию, за русскую историю и русское слово.

...Политэмигрант из Австрии Антон Д., ставший секретарем райкома неподалеку от Николаева, за обедом в кругу друзей доказывал, что русские, мол, всегда были отсталыми. Русская революция – следствие благоприятных исторических условий, но рабочих у вас мало, бывший пролетариат весь пошел на партийную работу. А нынешние русские рабочие неспособны производить сложные машины. Самолеты вам делает ЦАГИ* – это итальянская фирма. Если не будут помогать иностранные рабочие и инженеры, то и пятилетка провалится...

Старого коммуниста, самоуверенного добряка Антона Д. я мгновенно возненавидел, так же как ненавидел инженера-берлинца, работавшего у нас на ХПЗ, который высокомерно посмеивался над грязью в цехах, над обилием брака, нерасторопностью новых рабочих, вчерашних сельских парней; брезгливо фыркал: „Азия!.. руссише шлямперай!"

Возражая таким наглым иноземцам, я обличал их невежество; в спорах с ними главными доводами были великие события и великие люди русской истории: демократия Новгорода, Ярослав Мудрый и его дочери, московские розмыслы, воздвигавшие храмы и крепости, Петр Великий, Ломоносов, Менделеев, русские революционеры и ученые. Спорил я обычно так увлеченно и пристрастно, что мой друг и постоянный союзник в этих перепалках берлинец-коммунист Вилли Гуземанн, жестоко поносивший своих реакционных соотечественников, иногда укорял и меня:

– А ты, все-таки, забываешь о классовой точке зрения. Тоже заражаешься национализмом, только русским.

* Центральный Аэрогидродинамический институт.

Такие упреки я слышал и от тех приятелей в литкружке и в университете, кто, отстаивая достоинство Украины – исторические традиции и самобытность украинской культуры – враждебно отстранялись от „московщины".

Но все явственнее сознавал я, что истоки нашего, моего бытия не только в новейшей революционной истории России. Размышляя, споря о событиях и людях даже самых давних эпох, я радовался или злился, гордился или пытался увильнуть от „больных" вопросов, так же, как от иных недобрых, стыдных мыслей о родителях, о самом себе.

В пору наиболее азартного комсомольского радикализма я перечитывал стихи и драмы А.К.Толстого и те книги по истории, которые никогда не переставал любить. А.Толстой и В.Ключевский, которому я неизменно продолжал верить, несмотря на искреннее почтение к Покровскому, убедили меня в преимуществах „старого русского вече" и здравого смысла Потока-Богатыря; в том, что главными источниками и творческими силами русской национальной культуры были Киев, Новгород Великий, Псков и те вольные области Северо-Запада и Севера, где, в отличие от Москвы и коренных московских владений, почти не сказались ни византийские, ни татаро-монгольские влияния.

В моем представлении добрыми силами России были не московские цари, не петербургские императоры, но прежде всего, потомки вольных новгородцев и псковичей и те мужики ки и слобожане, дворяне и монахи, вологодские, вятские, заволжские кержаки, олонецкие поморы и старообрядцы, казаки и все непокорные „бегуны", которые уходили от крепостного права, от казенных владений в разбой, в неведомые дальние края...

Благодаря великим русским писателям, историкам и революционерам, а также благодаря украинским друзьям и работам украинских историков, мое русское национальное самосознание никогда не снижалось до великодержавного шовинизма.

Напротив, оно естественно сочеталось с идеалами всемирной революции и с марксистскими понятиями классовой борьбы. А любые противоречия помогала одолевать всеспасительная *диалектика.* Маркс и Энгельс ведь любили свою Германию, были именно немцами, в молодости даже почти националистами, несправедливо, зло писали о славянских народах. Ленин прямо

одобрял национальную гордость великороссов, говорил о „двух нациях внутри каждой нации". Горький писал о Ленине как о русском национальном характере.

В 1934 году Сталин самолично начал травлю Покровского и Демьяна Бедного, обличенных в недостатке патриотизма. Тогда же был принят закон „об измене родине". Впервые это понятие стало официальным. Новый школьный учебник истории (Шестакова) восторженно описывал даже тех царей и князей, которых осуждали и Соловьев и Ключевский.

Этому повороту и в пропаганде, и в исторических исследованиях, решительному отказу от антинационального нигилизма я сперва только обрадовался. Партия подтверждала и утверждала то, что я чувствовал с детства и начал сознавать в юности.

Восстанавливались понятия *родина, патриотизм, народ, народный.* Именно восстанавливались: раньше они были опрокинуты, низвергнуты. Всего лишь за несколько лет до этого их затаптывали особенно решительно и заменяли понятиями „социалистическое отечество всех трудящихся мира", „советский патриотизм", требуя ко всему классового, партийного „подхода". И одновременно восстанавливались и обновлялись понятия *гуманизм и демократия.*

Еще недавно это были бранные слова. А в середине 30-х годов их стали применять даже и одобрительно. Это связывали с поворотом в политике Коминтерна и с тем, что мы „завершили построение бесклассового общества". Во Франции и в Испании развивался широкий *народный* фронт. СССР вступил в Лигу Наций. Всенародно обсуждался проект „самой демократической в мире сталинской конституции".

Но все это были дымовые завесы, за которыми начинался крутой поворот в государственной политике, в идеологии.

Уже шли массовые аресты „врагов народа"; тюрьмы всех городов были переполнены. Огромные пространства тайги и тундры были владениями тайной империи ГУЛАГ – втрое, вчетверо более обширной, чем вся Европа.

Голод, избиения, пытки, расстрелы по решениям заочных судов – стали повседневным бытом. Так же, как толпы скорбных, заплаканных женщин у тюремных ворот, у справочных отделов НКВД...

И ежедневно в газетах, на собраниях, на митингах поносили разоблаченных врагов и всех их пособников, и каждый раз кто-то униженно каялся в том, что „не распознал", „проглядел". И все надрывнее, все назойливее раздавались призывы к бдительности...

До 1935 года любой иностранец, если он был „трудящимся", вступив на землю СССР, автоматически становился советским гражданином.

Осенью 1934 года в Харьковский горсовет были избраны несколько политэмигрантов – австрийские коммунисты и социалисты, бежавшие после поражения февральского восстания „шуцбунда".

Но уже год спустя приобретение советского гражданства стало очень сложным делом, требовавшим усилий, времени и особых правительственных постановлений в каждом отдельном случае. Иностранных коммунистов перестали допускать на наши закрытые собрания. Им приходилось подолгу оформлять через Коминтерн перевод из своей партии в ВКП, либо оставаться в особых эмигрантских парторганизациях.

Напряженное ожидание войны, все новые тревожные вести с дальневосточных границ вызывали и оправдывали в наших глазах нараставшее недоверие к иностранцам вообще и к тем соотечественникам, у которых были „связи с заграницей".

В 1929 году после боев на манчжурской границе мы распевали:

„У китайцев генералы – все вояки смелые; на рабочие кварталы прут как очумелые." Врагами были именно „генералы".

В 1936-38 г.г., когда у озера Хасан шли тяжелые бои с артиллерией, танками, авианалетами, мы знали „наши бьют японцев". Правда, обычно говорили и писали „самураев", но для всех это были именно японцы, не различаемые уже по классам и званиям.

Эммануил Казакевич, приехавший в 1937 году из Биробиджана, рассказывал о том, как оттуда за два дня вывезли в Среднюю Азию всех корейцев, в том числе и членов партии и комсомольцев, и работников НКВД; и тех, у кого были русские жены или мужья.

Он рассказывал об этом без гнева и осуждения; и я слушал так же. Обидно, что пострадали многие ни в чем не повинные люди; большинство из них, конечно же, были „свои", бра-

тья по классу. Но ведь японские шпионы и диверсанты укрывались, выдавая себя за корейцев или китайцев, либо забрасывали к нам агентов из зарубежных китайцев. Это угрожало всей стране, сотням миллионов. Значит, приходилось утеснять сотни тысяч. В те же годы из западных областей выселяли поляков, эстонцев, финнов. И это тоже представлялось печально суровой, но необходимой „расчисткой тылов будущего фронта". На Украине всех галичан, всех, кто приехал из областей, принадлежавших Польше, стали полагать подозрительными, ведь их могла направить польская разведка – „дефензива". Коминтерн распустил три партии – польскую, западно-украинскую и западно-белорусскую специальным решением, утверждавшим, что они „засорены шпионскими и провокаторскими элементами". В разных городах союза были арестованы многие немецкие, польские, венгерские, австрийские и другие политэмигранты, главным образом, коммунисты. Были расстреляны Бела Кун – вождь венгерских советов 1919 года и Гайнц Нойманн – заместитель Тельмана; погиб в тюрьме Фриц Платтен – швейцарец, который приехал в апреле 1917 года вместе с Лениным, а зимой 1918 спас ему жизнь, прикрыл его от обстрела и сам был ранен. Их всех называли „вражескими агентами".

Классовые и идеологические мерила оказывались несостоятельными. Миллионы рабочих шли за Гитлером и Муссолини. Ни английские, ни французские, ни американские коммунисты, хотя их партии были вполне легальны, даже в годы жесточайшего всемирного кризиса не повели за собой ни рабочих, ни крестьян, И в то же время нас уверяли, что почти все зарубежные партии кишели шпионами. Любой иностранец, приезжавший к нам, мог оказаться агентом Гестапо, Интеллидженс Сервис, дефензивы, сигуранцы, японской разведки...

Нам доказывали наши вожди и наставники, пылкие ораторы, талантливые писатели и официальные судебные отчеты (они еще не вызывали сомнений), что старые большевики, бывшие друзья самого Ленина, из-за властолюбия или из корысти стали предателями, вдохновителями и участниками гнусных злодеяний. А ведь они когда-то были революционерами, создавали советское государство...

Что мы могли этому противопоставить? Чем подкрепить пошатнувшиеся вчерашние идеалы?

Нам предложили позавчерашние – *Родина и народ.*

И мы благодарно воспринимали обновленные идеалы патриотизма. Но вместе с ними принимали и старых и новейших идолов великодержавия, исповедывали изуверский культ непогрешимого вождя – (взамен „помазанника”) – со всеми его варварскими, византийскими и азиатскими ритуалами, и слепо доверяли его опричникам.

Идеология зрелой сталинщины позволяла одобрять любые политические маневры: дружбу с Гитлером, новый раздел Польши, нападение на Финляндию, захват Прибалтики, Восточной Пруссии, Курил, претензии на иранские и турецкие области...

Не избежал и я тлетворного влияния великодержавных амбиций в годы войны и позднее. К счастью, воспринимал их все же не безоговорочно – за что и попал в тюрьму. И проникали они в душу не слишком глубоко, не укоренялись, а позднее легко отпадали мертвой шелухой. Им противодействовали неизбытые юношеские представления о равенстве всех народов – представления столько же обдуманные, осознанные, сколь и непосредственные, укорененные в подсознании, в мироощущении.

Поэтому, даже став искренним приверженцем Сталина, я все-таки не превратился в последовательного сталинца, – то есть в холопа, уже вовсе беспринципного, бессовестного, готового на любые злодейства. И никогда не мог, ни душой, ни рассудком поверить, что у нас больше врагов, чем друзей, что идейных противников надо не убеждать, а убивать. Такой спасительной незавершенностью и непоследовательностью моего духовного и нравственного вырождения я обязан хорошим людям, хорошим книгам – многим добрым силам, в том числе и ребяческому увлечению эсперанто.

Мечта о *безнациональном* содружестве людей утопична. Отказ от нации так же ирреален, как отрыв от земного притяжения. Невесомость космонавта – недолгая, искусственная „свобода” от земли. Тем радостнее потом возвращение к естественной весомости, к земному притяжению, к земным тяготам.

Создатель международного языка доктор Людвиг Заменгоф (1857-1917) родился в еврейской семье и вырос в Польше, разделенной между тремя государствами-завоевателями. Он получил польское и немецко-австрийское образование, испытал значительное влияние русской и украинской литературы

(Льва Толстого, Ивана Франко), жил в среде разноязычной интеллигенции.

Он видел, как в Российской, Австро-Венгерской и Турецкой империях нарастали жестокие противоречия между народностями, как развивались национально-освободительные движения в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, в славянских владениях Габсбургов и турецких султанов.

Тогда же возникали и ширились новые мифы: панславизм, пангерманизм, антисемитизм — (уже не религиозный, а расистский), — сионизм, воинственно-шовинистические движения в Германии, Италии, Франции, Японии и других странах.

Эти мифы превращали естественные привязанности к родному языку и словесности в спесивое самолюбование, злое высокомерие; боль оскорбленных национальных чувств перерождалась в ненависть к иноплеменникам, ко всем, кто говорил на языке угнетателей или был сродни „наследственным врагам-соседям".

Желание противоборствовать реальному злу рождало мечты о нереальном добре — мечты пацифистов, мечты создателя эсперанто и его последователей.

Но были у их замыслов и другие источники.

Почти полтора тысячелетия *латынь* оставалась международным языком католической церкви и всех образованных европейцев.

Больше двух веков *французский* язык был уже не только в Европе общим языком дипломатов, аристократов и многих интеллигентов разных стран.

С развитием всеобщего образования и разнородных международных связей, по мере того, как теснее становилась наша планета, потребность в непосредственном общении с иноземцами возникала у все большего числа людей разных сословий. Эсперанто, идо, волапюк и др. возникали как своеобразные демократические, общедоступные заменители элитарных межнациональных языков — латыни и французского.

Когда школьником я впервые узнал о языке, призванном связать между собой все народы мира, будущее представилось мне простым и ясным. Люди разных стран научатся понимать друг друга, и сами собой исчезнут недоверие, вражда, шовинистические мифы, — причины войн. Ведь к этому же призывали Христос и Кампанелла, Маркс и Короленко, Ленин и моя

старая учительница... Пушкин и Мицкевич мечтали о времени, „когда народы, распри позабыв, в единую семью объединятся”.

Нам выпало счастье приблизить это время.

Эсперо – надежда. Мы надеялись, что скоро на всей земле победят силы, борющиеся за всечеловеческое братство – за коммунизм. И мы верили, что в нашей стране торжествуют именно эти добрые силы, что у нас уже осуществляется родственное слияние разных племен и народов. Именно поэтому наша родина стала *отечеством трудящихся всего мира.*

Союз Эсперантистов – САТ – объединял сторонников разных партий. В него входили коммунисты, социал-демократы, христианские социалисты, анархисты, беспартийные либералы, верующие разных религий и атеисты... Такое широкое единство представлялось мне как бы прообразом и залогом будущего.

Испанская республика 1936-39 г.г. и ее Интернациональные бригады стали нам так необычайно близки еще и потому, что они объединили людей разных наций и разных партий. Казалось, что в Мадриде и в Каталонии пролетарии всех стран действительно соединились в общей борьбе против фашизма, в общем стремлении к справедливости и свободе.

В Испании оживали наши старые идеалы, наши мечты о международном братстве, оживали именно в ту пору, когда вокруг уже лютовали бесстыдная ложь и безудержный террор.

Вместе с двумя сокурсниками я ревностно учил испанский язык; мы несколько раз тщетно писали Сталину, Ворошилову и Михаилу Кольцову, умоляя отправить нас на фронт в Испнию.

Конечно, и тогда уже некоторые люди понимали действительную сущность того строя, который рос и креп наследником, преемником многовекового самодержавия, вопреки революционным потрясениям 1917-1921 годов, вопреки революционным утопиям Ленина, Троцкого, Бухарина.

Наш крепостнический, каторжный и парадный „социализм” преодолевал все мятежи и смутные времена, так же как его предшественники преодолевали Новгородские вольности, казачьи мятежи, цивилизаторские преобразования Петра, просветительские иллюзии Александра 1 и либеральные реформы Александра 11.

Но я убеждал себя и других, что главное неизменно, что все беды, злодейства, ложь суть неизбежные временные заболе-

вания нашего в целом здорового общества. Освобождаясь от варварства, мы вынуждены прибегать к варварским средствам и, отражая жестоких коварных врагов, не можем обойтись без жестокости и коварства...

С удовольствием смотрел я фильмы о Петре Великом, Александре Невском, Суворове, мне нравились патриотические стихи Симонова, книги Е.Тарле и „советского графа" Игнатьева; я смирился с возрождением офицерских званий и погон.

По взрослому оживала детская привязанность к былям отечественной истории. И с новой силой звучали никогда не умолкавшие в памяти голоса „Полтавы" и „Бородина".

Тогда я уже только посмеивался, вспоминая пацанские увлечения эсперанто.

Но десятилетия спустя, когда позади остались войны, тюрьмы, реабилитации, „оттепели" и новые заморозки, когда уже писались эти воспоминания, я начал постепенно сознавать, что, пожалуй, именно „детские болезни" эсперантистского и пионерско-комсомольского интернационализма предохранили меня от заражения воинственной полонофобией и финофобией в 1939-40, от ослепляющей ненависти ко *всем* немцам, от наиболее тлетворных миазмов казенного шовинизма.

И в то же самое время ведь именно эти упрямые мечты побуждали не за страх, а за совесть отождествлять себя с режимом сталинского великодержавия. В тюрьме я сочинял стихи, чтобы укреплять память и сохранять душевные силы. В плохоньких стишатах бесправный „зэк" высказывал свою неколебимую веру. „...Покуда движется земля, Свят будет мрамор Мавзолея и звезды старого Кремля".

И позднее – реабилитированный, восстановленный в партии, я продолжал, вопреки жестоким разочарованиям, отстраняя неумолимую правду Берлина 1953 года, Венгрии 1956 года, снова и снова цепляться за спасательные круги тех давних утопий и надежд. Убеждая себя, старался убедить других: ведь все же сбываются наши стремления и предвидения, – сбываются вопреки всем ошибкам, просчетам и преступлениям „культа личности", – подтверждали события на всех континентах от Эльбы и Адриатики до Индокитая; уход колонизаторов из Индии, Индонезии, из Африки.

Прозрение наступило позднее, развивалось медленно и

непоследовательно.

Пражская весна 1968 года пробудила старые и рождала новые надежды, старые и новые сомнения.

И сегодня я думаю, что ребячьи эсперантистские мечты — добрые стремления к международному братству и те иллюзорные представления о мире, которые делали нас приверженцами зла, в то же самое время помогали мне и таким, как я, сохранять остатки совести, сберечь в душе зерна добрых надежд.

Потому что бессмертна надежда, возвещенная впервые на заре нашей эры — „несть эллина, несть иудея".

В юности я верил, что эта надежда перевоплотилась в призыв: „Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" Позднее убедился, что она живет и во многих других воплощениях. И всего явственнее для меня сегодня в пушкинской речи Достоевского. — „Быть по-настоящему русским — это значит быть всечеловеком".

Глава шестая

В ШКОЛЕ

...готовились бои.
Готовились в пророки
Товарищи мои.
Борис Слуцкий

Поздней осенью 1926 года мы переехали в Харьков. Отца назначили агрономом в республиканский Сахаротрест.

В новой школе и в новом пионеротряде я чувствовал себя чужаком. Сбор отряда показался уныло формальным. Вожатый спешил; ребята шушукались о посторонних делах. Стенгазета была двухмесячной давности, скучная, безликая, с картинками, вырезанными из журналов. На меня – новичка – никто не обратил внимания. Даже вопросов не задавали, просто зачислили в звено к однокласснице. Та спросила:

– Ты где хочешь активничать? В стенгазете? Ну, давай. А звено мы собираем, когда что нужно. Особого расписания нет. Можно и на переменке договориться.

Приняли меня в 7-ю группу. Школа была семилетней, шел последний учебный год. Мальчишьи „брашки" сложились давно и преимущественно из одноклассников. С параллельными поддерживались неустойчиво мирные отношения. В том же здании находилась вечерняя химико-товароведческая профшкола, в которой учились главным образом наши выпускники. Среди них была и Надя, моя будущая жена. Тогда она и ее подруги презирали нашу брашку, как невежественных и наглых бездельников.

Мы находились в состоянии постоянной войны с противниками из других школ и смежных улиц; однако, дрались не

слишком жестоко; разбитый в кровь нос или „фонарь" под глазом уже считались тяжелыми увечьями. Зато хвастались воинскими подвигами очень подробно и красноречиво, обзаводились кастетами, свинчатками и даже финками; обучали друг друга приемам джиу-джитсу.

Зоря Б. утверждал, что уже в прошлом году, независимо от Маркса „открыл закон прибавочной стоимости". Он курил. Меня это поразило, как грубое нарушение пионерского устава. Однако его мать, врачиха, усталая, нервная, но очень добрая и разговаривавшая с нами как с равными, – позволяла. „Если уж курите, так открыто, при мне. Ничего нет хуже лицемерия, брехни".

Зоря был истовым физкультурником, играл в футбол и в гандбол, хорошо „работал" на турнике, бегал и прыгал. Читал он меньше, чем я, зато почти все конспектировал, не только политические брошюры и газетные статьи, но даже художественные произведения. Он говорил, что обязательно будет „партгосработником" и рассчитывает лет через двадцать, – то есть годам к 35-36 стать Председателем ЦИКа. Будет последовательно выдвигаться, – сперва председателем горсовета, потом Окрисполкома, потом в Президиум ВУЦИКа, когда Григорий Иванович Петровский умрет – на его место. А когда умрет Калинин – он будет уже достаточно опытен, чтобы заменить и его.

Даня Жаботинский, сводный брат Зори, никогда не участвовал в боевых действиях нашей брашки, не интересовался ни политикой, ни литературой, но к моему величайшему, завистливому удивлению пользовался необычайным успехом у девочек. Он первым из нас по-настоящему переспал с одноклассницей, просто убедив ее, что надо же когда-нибудь попробовать.

Наиболее многоопытным был и самый старший из нас, второгодник Иван Горяшко, сын владельца колбасной фабрики на Холодной горе. Дощатые фургоны, запряженные тяжелыми битюгами и украшенные надписями „Колбаса Горяшко", тогда еще можно было увидеть на улицах. Ваня был богаче всех нас, у него постоянно водились деньги, и не пятаки или гривенники, как у большинства, а рубли, и даже трешки. Он рассказывал, что помогает отцу, покупает у „дядьков" мясо или отвозит готовый товар в ларьки и при этом имеет „навар для себя". Иногда он бывал необычайно щедр, водил всю брашку в пив-

ную, угощал всех водкой, дорогими папиросами; именно он однажды повел меня и Зорю в настоящий притон – подвальчик „Замок Тамары" и познакомил с настоящими проститутками. Но обычно он сквалыжничал, одолжив пятак, неукоснительно напоминал должнику, играя в очко, мог подраться из-за копейки, недоданной проигравшим, уходя из пивной, допивал все бутылки, доедал весь горох, совал в карман кусок хлеба – „чего им оставлять, раз заплачено".

К изящным искусствам, к науке и политике он был презрительно равнодушен. „Это все трепня. Пижоны хвасон давят". Мечтал уехать в Одессу, в Америку или еще куда-нибудь за границу.

– Плохо только, що языков не знаю не лезет в меня этот васистдас. Но там, в загранице торговых людей не прижимают, как здесь, не лают нэпачами, куркулями... Да иди ты в жопу с твоей мировой революцией. Это ж тоже пижонский хвасон. А я хочу жить, как хочу. Чтоб дело какое делать. Ну, зачем колбасу. Это пусть батько колбасник, а я чего другого научусь, – и чтоб гроши были сколько схочешь, и бабы хорошие... Зачем бляди, – это так, иногда побаловаться, а я хочу, чтоб была хорошая жинка: красивая, здоровая и деловая; чтоб свой дом, сад, огород, ну и дети. А тогда можно еще и на стороне заиметь другую бабу, чтоб еще красивше и конечно моложе. Ну, эту уж только для удовольствия. А должности ваши мне и даром не нужны. Все наркомы, совнаркомы, цики, вуцики... Это, хай тем, кто любит языком трепать, хвасон давить... А ты не лайся „мещанин", „куркуль". Тоже мне идейность показывает, пионер – всем пример. Хочешь стукнемся, я тебе на ребрах побарабаню, будешь знать, кто мещанин... Ну, ладно, ладно, чего ты в бутылку лезешь, уже пошутить нельзя! Иди, лбом в холодную стенку стукайся, если такой горячий... На, закури „Нашу марку", ростовская, высший сорт. Да не чепурься ты, как целка... Ну, поругались и замирились... Жорка, а ну давай сюда, пойдем сейчас до Зори, у меня грошенята есть, возьмем пиво и пару мерзавчиков (так назывались стограммовые бутылочки водки).

Жора Л. был пригож, мечтателен и неистово азартен во всем – в драках, в спорте, в карточной игре.

Бориса З. – самого высокого в группе и говорившего густым басом, прозвали „бронтозавром". Он считался профессиональным спортсменом, так как состоял в „Обществе спасения

на водах", дежурил на лодочной станции и участвовал в состязаниях по гребле. В декабре 1927 года он уехал в Канаду к тетке, с тем, чтобы там „выучиться на авиатора". Провожали мы его три дня подряд; это была первая в моей жизни настоящая долгая пьянка. Даже опытный Ваня признал: „добре погуляли".

Зоря три года спустя ушел добровольцем на флот; в 1934 году вернулся в Харьков, кончил электротехнический, потом работал инженером в Подмосковье. Я провожал его на фронт 23-го июня 41 года – он уезжал первым из нас „по моблистку". Оказался в морской пехоте, был ранен, потом служил на берегу в Севастополе; в 1945 году женился. В 1947 году его исключили из партии и демобилизовали за то, что „скрыл репрессированных родственников". (Родители жены были арестованы в 37-м году.) Он уехал в Новосибирск, работал инженером на электростанции.

В 1967 году в Новосибирском театре я читал лекцию о Брехте. Зоря пришел послушать и остался недоволен.

– Почему ты не даешь четкого определения классовой, партийной позиции Брехта? Непонятно, почему он, все-таки, не вступил в компартию. И вообще ты явно примиренчески относишься к формализму и декадансу. Я тоже против культа личности, но это уже слишком.

Даня погиб на фронте.

Борис вернулся из Канады в 1934 году. Выучился он там только на шофера. В Харькове, а потом в Москве закончил Автодорожный институт. Вернувшись с фронта, работал инженером, стал писать рассказы и воспоминания о Канаде. Все, что он публиковал, и по сути и по тону было прямо противоположным тому, что он же говорил приятелям („В Канаде безработный живет лучше, чем у нас иной инженер").

О своих заморских похождениях он начал рассказывать сразу же после приезда, однако ни тогда, ни в последующие сорок лет я так и не дослушал до конца ни одного из разнообразных повествований. Не хватало ни терпения, ни времени.

– Вот, знаешь, самое интересное было, когда я работал шофером ночного такси в Монреале. Столько, знаешь, приключений, на дюжину романов хватит. Когда меня дядя выгнал из дому... – Он отвлекался и начинал излагать жизнеописания дяди, тети, их детей, и подробно характеризовать каждого...

– Нет, ты подожди, подожди, это, знаешь, я должен коротенько разъяснить. И отвлекаемый все новыми побочными сюжетами, он рассказывал о своих сложных взаимоотношениях с канадскими родственниками. Ругаясь или насмешничая, я пытался вернуть его к основной теме. – Да так, вот, приехал я в Монреаль. Это, знаешь ли, очень замечательный город... – И он принимался описывать город, рассказывая о событиях, модах, учреждениях, рассуждая то о сравнительных достоинствах ирландок или шведок, то об особенностях канадского виски и т.д. Добравшись, наконец, до парка ночных такси, он опять застревал и буксовал, вспоминая имена, клички, внешность, характерные свойства шоферов, подолгу объяснял различия между видами автомобилей... Еще в Харькове он начал рассказывать о том, как возил в бордель какого-то католического епископа, но и через десять лет в Москве не добрался до главных событий, так и не выбрался из привходящих и попутных описаний и отступлений.

Когда в 1947 году я на два месяца вышел из тюрьмы, Борис несколько раз пытался рассказать, что делал на фронте, как вступил в партию. Но и в этой новой повести не продвинулся дальше начала.

Узнав, что меня опять арестовали, он пришел к маме, посочувствовал, а потом спросил, во что я был одет.

– Послушайте, Софья Борисовна, вот что – у Левы есть хорошие бриджи, синие, диагоналевые... Ему они теперь ни к чему. Дайте их мне, а то я после фронта, видите, совсем обносился. Меня ведь демобилизовали просто возмутительно.

Он попытался рассказать, кто и как навредил ему при демобилизации, но мама вскипела:

– Ты что с ума сошел! Он скоро вернется. Он сам будет носить эти бриджи. Все друзья верят, что он невиновен, а ты пришел делить его вещи. Чтоб твоей ноги здесь не было!

– Что вы нервничаете! Я тоже верю, конечно же, он невиновен. Только, знаете, ведь это пока докажешь... Вы, что думаете, только виновные сидят. Он же сам рассказывал... А за бриджи, знаете, если так не хотите, я вам заплачу. Хорошую цену дам, больше, чем в комиссионном.

Мама очень картинно рассказывала мне на свидании об этом дуэте.

– Тут я просто показала ему на дверь: „Вон!" Я уверена,

что он провокатор.

Ваню Горяшко я встретил на улице летом 1934 года. Он был в засаленной черной робе, вонявшей керосином и машинным маслом. Черная кепка козырьком назад сдвинута до бровей. Отощавший, серо загорелый. Но как было не узнать его нос, сверху плоский, тонкий, а внизу неожиданно закруглявшийся крупной „кирпой", и выпуклую нижнюю губу. Задумавшись, он выпячивал ее почти до ноздрей.

– А, здоров, здоров. Только ты не галди „Иван, Иван!" Я теперь зовусь не Иван, а Василий. И фамилие у меня другое. Чему почему? Ты шо не понимаешь? Я новую жизнь начал еще пять лет тому. Трудовую. Пролетарскую. Ну, ударную жизнь. Где был? Там, где уже нет. И в Одессе, и в России, и на Кавказе. Везде побывал. Работал. Ну, а батька давно нет. Где, где? Может, в Нарыме, а может, в Крыме. Не знаю. Ну, я с ним порвал все отношения. Как он был нетрудовой, буржуазный... Сам знаешь, какой. Ну и фамилие сменил. Без понта, законно. Как? Ну, женился и взял ее фамилию. И между прочим, стал зваться Вася. Ну, а какое фамилие, не важно. Я тебя в гости не зову. Я тут временно. Проездом. Схотел узнать, как мама, чи живые еще; ну и сестры. Родня все-таки. А пока работаю мотористом. Ты, слушай, ты на меня не накапай... Ну, да я знаю, не знаю. Были корешки, а стали, кто корешок, а кто вершок. Ты ж сильно идейный. В партии уже? Ну и комсомол – та же брашка... Так не будешь капать? Ну, ладно, ладно... А как ты признал меня? Це погано; значит, и кто другой признать может. На той неделе я Жорку встретил на Петинке, днем. Он прошел вот так от меня, но не признал. А может не схотел показывать... Кого с наших видаешь? Да, всех пораскидало. Ну, так значит, будешь молчать? Добре, добре, не сердись. Бывай здоров и не кашляй...

Разговаривая, он все время оглядывался, – напряженно, затравленно и, уходя, несколько раз оглянулся. Было и жалко и противно. Конечно, он классово чуждый. Но ведь я твердо знал: Ваня не может быть врагом, вредителем. И к тому же теперь он стал рабочим, значит, перевоспитывается. Больше я его никогда не встречал и ничего о нем не слышал.

Жора стал инженером. Был мастером на Электрозаводе. Работал и во время оккупации Харькова при немцах. Из-за этого у него потом были серьезные неприятности. Зоря встречал

его уже в начале шестидесятых.

– Обывателем стал Жоржик. Ничем не интересуется. Всего боится. Ничему и никому не верит. Залез в семейный быт, как в скорлупу. Обыватель и все.

Обществоведение нам преподавал Владимир Соломонович Г. Он был и постоянным докладчиком на всех торжественных собраниях, ораторствовал на заседаниях старостата и на пионерских сборах.

Во время уроков он расхаживал по классу или стоял, вцепившись в спинку стула, раскачивал его, а в особо патетические моменты встряхивал и даже стучал об пол.

– Смертельно усталые. Р-разутые. Оборванные. Голодные крросноаррмейцы. С одними винтовками. У многих – не больше обоймы. Понимаете? Только пять-шесть патронов. Главная сила – штык. Но штурррмовали наприступную твеpррдыню. Перрекоп. Тур-рецкий вал. Укрепления по последнему слову. Тяжелая арртиллерия. Колючая проволока. Железобетонные блиндажи. Пулеметы. Огнеметы. Грранаты. Пристрелян каждый ар-ршин. Отбор-рные офицер-рские части. У них даже команды подавались по особому: „га-спада, смир-рно! га-аспада, р-равняйсь!" Все оружие, все обмундирование загр-раничное. Английское (обязательно ударение на „а"), французское, американское. Консер-рвы. Шоколад. Шампанское реками. И полнейшая уверенность: „Мы этих краснопузых босяков шапками закидаем!"... И вдруг накануне тр-рехлетия Октября – штурм! На одном фланге – латышские стрелки, не знающие ни колебаний, ни страха. Все в полный рост. Грозное молчание. На др-ругом фланге – кремлевские курсанты в новых богатырских шлемах. Потом их стали называть буденновками. С пением Интернационала. А в обход, – дивизии товарища Фрунзе. Через Сиваши. По грудь в ледяной воде. Почти без ар-ртиллерии. Несколько трехдюймовок, на каждую не больше полдюжины снарядов. Но главное: Внезапно! Бесстрашно! Стр-ремительно! Сокр-рушая все на пути! И... прорррыв! Паника. А мы: „Даешь Крым!! Врррангеля в Черное море!"

Он говорил вдохновенно, распаляясь; закидывал голову с тщательно зачесанной лысиной, уже достаточно большой для двадцатипятилетнего. Высокий, складчатый лоб лоснился от пота; широкий нос – картошкой – краснел. И тогда его сукон-

ная толстовка со значком МОПРа казалась комиссарским френчем. Распахивая большезубый, толстогубый рот, он под конец уже кричал. Все громче и все раскатистее звучало гортанное „р-р-р", – он преодолевал картавость.

– Пройдут столетия. Века. И наши правнуки будут р-рассказывать об этом. С гор-рдостью и с завистью будут р-рассказывать. Будут песни петь о великой победе под Перекопом.

Мы прозвали его „Володька Горлохват". Но даже насмешничая, считали его непререкаемым авторитетом. Ведь он и сам участвовал в гражданской войне. Шестнадцатилетним ушел в Красную Армию, был ранен.

Занятия он вел хаотично. Постоянно отвлекался, перескакивал с темы на тему. На уроке о крепостном праве начинал рассказывать, как в какой-то деревне встретил 80-летнего дядьку, который был крепостным у „тех самых" Волконских, или крикливо оспаривал только что прочитанную книгу, автор которой что-то переоценил, а что-то недооценил.

О декабристах он отзывался презрительно:

– Дворянские либералисты. Задумали обыкновеный дворцовый переворот, вроде тех, что устраивали их дедушки и папаши, когда свергали Бирона, Петра 111, возводили Елизавету, Екатерину, когда придушили Павла и посадили Александра... Конечно, исторически все это имело значение толчков. Но не больше, чем убийство Гришки Распутина. Тоже дворянские заговорщики старались.

О Кавеньяке и Тьере, о Трепове и Столыпине он говорил с ненавистью глубоко личной. Даже слюна пузырилась и пенилась на толстых губах.

– Гнусный палач... Крровожадный каррлик... Жестокий хам со светскими барскими манерами.

И так же страстно, упиваясь красноречием, он ораторствовал на собраниях, призывая укреплять порядок и дисциплину в школе, в пионеротряде.

– Ведь вы уже проработали „Войну и мир". А вы обратили внимание на возраст офицеров. Там некоторые в 15-16 лет командовали взводами, даже ротами. И в труднейших походах. Товарищ Якир семнадцати лет командовал полком. Семнадцати лет! Только на год, на два старше любого из вас. А в 20 лет стал командармом.

Его любимыми героями были Якир, Щорс, Котовский,

Дубовой. О них он вспоминал по самым разным поводам, рассказывая о Французской революции, о наполеоновских войнах, или, обличая „вольнщиков" из 6-й группы, которые разбили окна, швыряя друг в друга чернильницами-непроливайками.

И столь же пылко, но еще и в тоне ученых рассуждений, толковал он о *вождях*. Это понятие было для него очень емким. И не только историческим, но и психологическим.

– Пестель был вождем. Он, конечно, имел дворянские предрассудки. Но он был вождь. А Трубецкой, Волконский, Рылеев – болтуны, мечтатели... Герцен был вождем. И Чернышевский. А Парижской Коммуне недоставало именно вождей. Делеклюс, Вайян были искренние, честные революционеры, но не вожди. Бланки мог стать вождем, но в это время сидел в тюрьме. Версальцы отказались его обменять. Мерзавец Тьер был достаточно умен: „Дать им Бланки, это больше, чем две дивизии". Домбровский был вождем, но его недооценили... Плеханов был только теоретиком. А Бакунин, Желябов – настоящие вожди, хотя имели теоретические ошибки, не понимали марксизма и роли пролетариата. В руководстве нашей партии могут быть только вожди. Товарищи Бухарин, Калинин, Рыков, Сталин, Петровский, Якир, Скрыпник, Коссиор, Чубарь – все это настоящие вожди.

Однажды после уроков и группового собрания он задержался, разговорился с нами. Речь зашла о бывшем председателе школьного старостата, который и в профшколе уже руководил учкомом.

– Да, вот Юля Свербилов будет вождем. Не сомневаюсь. Волевой, собранный, умеет добиваться авторитета, умеет руководить. Настоящий характер вождя. А тебе, Зоря, еще надо поработать над собой. У тебя еще не хватает самодисциплины, целеустремленности...

Он заметил мой взгляд, видимо, очень напряженно заинтересованный.

– А вот ты никогда вождем не будешь. Не из того теста. Ты, конечно, развитой, начитанный, и шарики вроде работают. Но разбросанный. Разболтанный. Не отличаешь главного от второстепенного. Ты, конечно, еще можешь осознать свои недостатки, и тогда, со временем, станешь хорошим спецом, даже ученым. Но если не осознаешь, будешь, как раньше говорили, „вечным студентом", а то и лишним человеком, вроде Печорина

или Рудина.

Мне было очень обидно. Правда, я пытался утешить себя тем, что его неприязнь – следствие наших политических разногласий. После одной из его бурнопламенных речей о героях гражданской войны я с невинным видом задал какой-то вопрос о Троцком, которого он ни разу не упомянул. Шла зима 26-27 года, Троцкий еще не был исключен из партии, его книги еще оставались в библиотеках и даже кое-где продавались, правда, главным образом у букинистов. Владимир Соломонович отвечал без обычной увлеченности, подавляя раздражение.

– Конечно, товарищ Троцкий был тогда Наркомвоенмор... Хороший организатор... Можно сказать, тоже вождь... Неплохо руководил военспецами. Обеспечил успехи некоторых операций. Проявлял даже личную храбрость. Но мы не имеем права забывать о его меньшевистском прошлом, о его ошибках. К тому же его роль сильно преувеличили некоторые поклонники. Надеюсь, что среди вас таких не будет. А с другой стороны за счет Трроцкого преуменьшалась роль выдающихся вождей и героев – товарищей Фррунзе, Буденного, Ворроппилова, Щоррса, Якирра, Дубового...

И пошел сыпать именами, а потом, ухватившись за стул, рассказывал, как Красная конница атаковала Новочеркасск лавой, по льду едва замерзшего Дона.

Отметки он ставил мне высокие. Тогда еще не восстановили „цифровой системы", он писал „отлично" или „очень хорошо", но каждый раз приговаривал:

– Ты материал, конечно, знаешь. И вообще соображаешь... Но есть у тебя легкость в мыслях необыкновенная... Откуда эти слова? Прравильно! Ну, я конечно не хочу сказать, что ты похож на Хлестакова. Но легкость в мыслях есть. Не хватает большевистской твердости, ясности, точности... Так меньшевики рассуждали и даже кадеты. Да, да, именно так. Не перебивай. Я тебя ни в чем не обвиняю. Я ведь тебе поставил „отлично". Но я хочу, чтобы ты понял, какие у тебя слабости и какие у них коррни и тенденции. Какие возможны последствия. Я хочу, чтобы ты осознал свои недостатки, чтобы ты их устранил, исправил.

Я злился на обличителя, испытывал злорадное удовольствие, когда Жорка его передразнивал и, грохоча стульями, закидывая голову, орал: „Товаррищи вожди, вперред на Перре-

коп, даешь Парр-риж!"

Но про себя я чувствовал, что он, все же кое в чем прав. Я действительно непутевый, непостоянный, не умею сосредоточиться, не целеустремлен. Влюбился было в соседку по парте Шуру, близорукую, тихую, и даже стихи сочинял „золотые косы, золотые сети". Но вежливо отвергнутый ею, стал бегать за звеньевой Таней, а когда ее легко отбил у меня губошлеп Данька, переключился на Риту из параллельной группы – некрасивую, зато и не строгую толстушку.

И так же непостоянны были мои духовные интересы. То принимался читать книги по мировой истории и истории партии. Владимир Соломонович похвалил меня, увидев на парте толстый том хрестоматии международного рабочего движения, „Историю РКПб" Ярославского и еще какую-то брошюру. То я внезапно прерывал это полезное скучное чтение и набрасывался на Конан-Дойля или Аверченко: его повесть „Подходцев и двое других" мы с Зорей и Жорой знали почти наизусть и долго называли друг друга именами его героев.

Предстояло окончание школы. А я еще не знал, что буду делать дальше, хотя прожил уже целых пятнадцать лет. Выпячивая верхнюю губу, видел все более густую черную поросль и на подбородке ощутимо прорастала щетина. Сердитая „природоведка" отчитывала меня: „Тебе давно бриться пора, а ведешь себя, как мальчишка..." Но я все еще не решил, куда идти после школы, – в электротехническую профшколу или на рабфак, чтоб потом на исторический или экономический, – ведь настоящий марксист должен владеть экономической наукой... А может быть, на завод, и стать пролетарием?

Однако так нерешителен я был только в размышлениях о ближайшем будущем, о планах на год – на два. Когда же думал о том, что будет через десять лет, то, вопреки оскорбительным отзывам Владимира Соломоновича, – он все-таки не понял меня, не распознал сокровенных моих дарований, – я твердо рассчитывал стать именно вождем – политическим, государственным, военным деятелем.

Полагая себя трезво мыслящим и скромным – большевика должна отличать скромность, – я не собирался, как наивный Зоря, претендовать на место Калинина. Более того, я понимал, что у нас в партии и в комсомоле есть много таких выдающихся деятелей, как Юля Свербилов, которые с бóльшим

основанием, чем я, могут становиться председателями учкомов, старостатов, советов, исполкомов, наркомами, первыми секретарями и командирами. И к тому же у нас необходимо прежде всего выдвигать рабочих и крестьян.

Но в тех странах, где еще предстоят революции и гражданские войны, там пока не хватает настоящих большевиков, там, в постоянных опасностях подполья, на баррикадах, в боях можно и независимо от социального происхождения стать одним из вождей пролетариата. Как раньше в России ими становились дворяне, дети капиталистов и купцов.

Я обладал одним несомненным преимуществом перед моими товарищами и всеми иными известными поблизости кандидатами в вожди: я хорошо знал немецкий язык, кое-как эсперанто, немного польский, немного французский и уже учил английский. Я был уверен, что в будущем стану профессиональным революционером где-то на Западе и, владея тщательно изученным опытом русской революции, гражданской войны, советского строительства, в конце концов дорасту до вождя.

Лучше всего я знал немецкий, но компартия Германии была и самой многочисленной, самой мощно́й в Европе. Там и без меня должно хватить руководителей. Но вот англичане отставали, а колониальные страны тем более. И я принялся зубрить, старательно выламывая язык: „Тиз а файнал конфликт, лет ич стенд он хиз плейс. Дзы Интернейшенел Совьет юнайт дзы хьюман рейс". И сочинял стихи, в которых на всякий случай воспевал свою героическую гибель в будущих революционных боях:

Меня где-нибудь в тропиках поведут на расстрел
Солдаты в пыльных и потных мундирах,
И тщетно солнце миллионами стрел
Станет отбивать мою жизнь у мира.

В самых дерзких мечтах я попрежнему видел себя наркомвоенмором Английской советской республики, приходил на помощь немецким товарищам, сражался также и в африканских джунглях и саваннах. Театры моих военных действий перемещались обычно в зависимости от очередной книги или газетного сообщения. Пришлось провести несколько трудных, но победоносных походов в Китае, в Индии, в Канаде, где я назначал Борю З. на высокие административно-военные посты... А

оттуда уже было рукой подать до США, – тогда мы еще писали САСШ, – где я успешно формировал красную ковбойскую конармию, а рабочих парней, таких, как Джимми Хиггинс*, собирал в красногвардейские полки имени Джека Лондона и Джона Рида.

Такие мысли нельзя было удержать про себя. Иногда я доверял их Жоре и Зоре, и насмешливый Жорка требовал, чтобы я дополнял широковещательные военно-политические проекты конкретными бытовыми подробностями.

– А баба у тебя какая будет? Или, уж конечно, не одна. Ведь у них там везде шикарные бардаки. Заведешь себе негритяночек. Они, наверное, здорово дают. А, может быть, ты с принцессами спать хочешь?

Самое обидное в этих кощунственных, циничных шутках была дьявольская проницательность Жорки; ведь мечтая, про себя в постели перед сном, или неторопливо бредя домой после школы, я неизменно дополнял великолепные панорамы боев, победных парадов и торжественных чествований картинами, в которых красавицы разных мастей и сословий успешно соблазняли вождя-победителя своими ласками. От этого-то по всему телу жаркая дрожь, а потом сны о женщинах и сладостно расслабляющая судорога.

Зоря иногда присоединялся и к таким подначкам, но чаще заводил полусерьезные споры.

– Ты, надеюсь, не забудешь, кому ты должен подчиняться? Нехай там Англия, Германия, Африка, но центр мировой революции был, есть и будет в Москве. И если я, как председатель Всесоюзного ЦИКа, прикажу тебе: „А ну, кончай волынку в своей Африке, давай со всеми частями сюда. Нам Бессарабию надо обратно...”

– Ну и дурак, ведь когда Англия станет советская, так Бессарабия уже давно будет наша. А если нет, так с Румынией один Киевский военный округ за неделю управится: – Даешь Кишинев! Раз, два и в дамках!

– Ну, не Бессарабия, так Болгария, или, например, Персия, – она там возле Баку – очень важный район. Я только хочу, чтобы ты помнил, кто кому подчиняться должен. ЦИК СССР – главная власть во всемирных масштабах. И я тебе буду при-

*Герой одноименного романа Э.Синклера.

казывать, а ты должен отвечать: „Есть, товарищ всесоюзный староста,” – и выполнять как из пушки.

Жорка вмешивался примирительно:

– Не тушуйся, ты ему вместо всего пошлешь негритяночку, губатенькую с пудовыми титьками. Или, наоборот, рыжую англичаночку, знаешь, как рысистая кобылка, все жилочки играют... Так он и сам забудет про все приказы.

Однако и наиболее грандиозные военно-политические замыслы не ослабляли моего влечения к словесности и особенно к стихам.

Моим поэтическим идеалом долго оставался Есенин. Так же, как несметное множество современников и ровесников, я писал слащаво печальные стишки, в которых именовал его Сережей, на разные лады поминал „ржаные”, „льняные” кудри и „стихов голубой перезвон” и, конечно, попрекал его за то, что он ослабил себя, укрылся в личных страстях, ушел из боев и т.д.

Потом всех стал оттеснять Маяковский.

Он приезжал в Харьков и мы с галерки оперного театра или с балкона „Делового клуба” слушали могучее рокотание его голоса, видели, как он уверенно, деловито ходит по сцене, восхищались грубовато остроумными ответами на записки и мгновенными, как удары шпаги, возражениями на выкрики с мест.

Но безоговорочного поклонения не было.

Иногда мы даже сердились.

Услышав „Письмо Горькому”, я возмутился: что же это он призывает Горького умирать?! „Сердце отдать временам на разрыв”. Это жестоко.

Осенью 1929 года он в последний раз приехал в Харьков; вечер был озаглавлен „Левее ЛЕФа”. После его вступительного слова, набравшись храбрости, я крикнул с галерки:

– Куда же вы ушли из ЛЕФа?

– Куда? Да вот сюда к вам в Харьков, на эту сцену.

И снова, шалея от собственной дерзости, надсадным, не своим голосом, я спросил укоризненно:

– А разве не в „Комсомольскую правду”?

Он посмотрел устало и раздраженно:

– Чем вам не угодила „Комсомольская правда”? Именно

вам, кажется, еще довольно молодому человеку? А мне ежедневная газета с миллионами читателей куда интереснее, чем ежемесячный журнал с несколькими тысячами подписчиков. Это вам понятно?

Несколько человек захлопали. Я – тоже. Он переубедил.

Мои литературные вкусы, увлечения, пристрастия в первые харьковские годы развивались под самыми разными влияниями, иногда и противоположными. В школе и еще долго после школы главным было влияние Николая Михайловича Баженова; он преподавал русскую литературу и руководил театрально-литературным кружком „Слово". В этом кружке он с ближайшим помощником Витей Довбищенко (который впоследствии стал режиссером), инсценировал поэмы: „Лейтенант Шмидт" Пастернака, „Степан Разин" В.Каменского, „Дума про Опанаса" Багрицкого, „Хорошо" Маяковского, „Пугачев" Есенина.

Николай Михайлович и на уроках настаивал, чтобы мы учили наизусть как можно больше стихов, – Пушкина, Лермонтова, Некрасова. В отличие от моих первых словесников, – Лидии Лазаревны и Владимира Александровича, он был не восторженным проповедником, а мягко настойчивым просветителем. Русобородый, с густыми длинными волосами, как у священников или на очень старых снимках – сутулый, близорукий, он казался нам образцом русского интеллигента 19 века. Его речь, правильная, великорусская, необычно и даже несколько театрально звучала на фоне наших киевско-харьковских хэкающих и экающих полуграмотных говоров. Ведь мы произносили „ћазета", „ћений", „ћоворить", „зэркало", „сэрце", с трудом избавляясь от южных „уличных" ударений „по̀ртфель", „мо̀лодежь", „доку̀менты", „автобу̀с". Завзятые говоруны щеголяли еще и особым трибунным жаргоном с уже вовсе несусветными ударениями: „по-товари́щески", „наверно̀е", „о̀тцы и матеря̀"...

Ни разу я не слышал, чтобы Николай Михайлович кричал, бранил кого-то и вообще высказывал громкие чувства. Не запомнил никаких его поучений или наставлений. Но многие стихи Пушкина, Пастернака, Асеева, Багрицкого и доныне, полвека спустя, звучат во мне его голосом. Он читал очень просто, без нажимов, без аффектации, не стараясь ничего выделять, или интонационно подчеркивать. Но каждое слово было отчет-

ливо слышно и само по себе и в живой, неразрывной связи с другими словами. Он только иногда останавливался, оглядывал нас:

– Прекрасно, не правда ли?

И снова повторял строку или несколько строк. Так же просто, отчетливо, только, может быть, несколько медленней, словно вслушиваясь.

На репетициях „Слова" шумно нервничал Витя Довбищенко, сердился, восхищался, передразнивал, поправлял, показывал.

Николай Михайлович только изредка спокойно прерывал неудачливого чтеца.

– Погоди! А не кажется ли тебе, что лучше произнести примерно так... Да-да, вот так, пожалуй, лучше. Попробуй-ка еще разок. А как вы все думаете, так лучше? Ведь здесь важно передать чувство тихой печали. Попробуй еще раз сначала...

Глава седьмая

У ДВЕРЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Чи не покинуть нам, небого,
...Вірші нікчемні віршувать?
Тарас Шевченко

...Наши стихи часто лишь более или менее старательно зарифмованные статьи или фельетоны, либо сочетания половинчатых чувств, которые еще не стали мыслями.
Бертольт Брехт

Зима 1927-28 г.г. Клуб литераторов – дом Блакитного*– в начале короткой Каплуновской улицы. Там можно было увидеть настоящих писателей, чьи имена украшали книжные обложки, мелькали в газетах и журналах. В буфете ужинал Остап Вишня – юморист и сатирик, „король украинского тиража", как его называли завистники. В бильярдной прохаживался с кием поэт Владимир Сосюра, старательно целился и по-ребячьи огорчался, когда мазал.

В большом зале наверху заседали пролетарские писатели. Председательствовали обычно драматург Микитенко или критик Коряк. В залах поменьше собирались другие литературные объединения – „Молодняк", „Плуг", „Нова генерация", „Авангард".

* Василий Блакитный (1894-1925). Украинский поэт, писатель, публицист, редактор, участник революции.

К пролетарским ходить мы не стали. Они подозрительно смотрели на всех новичков. Кто-нибудь мог сурово сказать: „У нас сегодня закрытое заседание. Посторонних просимо вийти”.

„Новогенеранцы” чаще собирались у себя в редакции и тоже не жаловали незваных гостей. Зато „Авангард” – и украинская и русская секции – широко открывал двери всем.

В украинской секции верховодили Михайль Семенко и Валериан Полищук. Семенко – чубатый, коренастый, на вид простодушный, „свойский”, шутил с необычайно серьезной миной, поражал дерзкими парадоксами и немыслимо закрученными стихами. В его сборнике „Кобзарь” – уже само название было вызовом, – одно стихотворение было построено из перетасованных слогов его имени и фамилии.

Хайль семе, нкоми
Ихайль кохайль альсе комих
Ихай месен михсе охай
...О Семенко Михайль!
О Михайль Семенко!

Литературные противники иногда вспоминали его старые стихи, когда он в юности, „работая под Северянина”, возглашал: „я полон смелого экстаза, смерти и Бога не боюсь”, – и дюжинами писал „поэзы... безумно знойны эротезы”.

Семенко только отмахивался от напоминаний, а в новых стихах („Бумеранг”) утверждал новую эстетику „революционного динамизма”, этакое футуристическое западничество:

Товарищ, запиши:
Говорю серьезно –
Без Европы нам,
Как попам
Без души!

Полищук был внешне полностью ему противоположен: томный красавец, с „артистической” шевелюрой, внимательно слушавший самого себя. Но и он был „крайне левым” в речах, в статьях и брошюрах требовал новых „революционно индустриальных” форм поэзии, страстно проповедывал верлибр. „...В строительстве верлибра Украина значительно опередила Россию. Основные силы поэзии в России из-за ее индустриальной и бы-

товой отсталости опираются на точные или только слегка расшатанные точные размеры (Маяковский, Клюев, Безыменский) *.

Нам интереснее были его стихи, часто откровенно эротические.

Некоторые деятели „Новой генерации" тоже выступали глашатаями безоговорочного „западничества", а в иных случаях даже „безнационального космополитизма". Гео Шкурупий упрекал Маяковского, что он „макает перо в чернила из красок национальных лохмотий". А о себе писал: „Если спросят меня, какой я нации, я скажу: я плевал на все нации!"**

В „Футур-эпопее" Мечислава Гаско действие развивалось „на земле сеннациистичной" (эсперантистское понятие)... „через три тысячелетия после того, как исчез полулегендарный партикулярный хутор, который назывался Украина"***.

Но в то же время в романе Шкурупия, жестоко изруганном критиками всех направлений, героиня скорбела: „Украина — самая несчастная из всех колоний; ее захватили те варвары, которых она когда-то обучала азбуке"****.

Мы слушали споры и перебранки, читали дискуссионные статьи, рябившие ироническими кавычками, спаренными вопросительными-восклицательными знаками, обличительными скобками „курсив мой!" и уснащенные грозными идеологическими проклятиями...

Слушали, читали и терялись. Недавно только с трибун и в газетах обличали Миколу Хвыльового за „буржуазный национализм". Иные пролетарские критики обзывали его просто фашистом. А я любил его поэтическую прозу о революции и гражданской войне, особенно повесть „Кот в сапогах". Он писал о красноармейцах, о восставших крестьянах с неподдельной силой привязанности, с нежностью... Правда, его полемический призыв „как можно скорее и подальше удирать от русской литературы" и мне представлялся безрассудным заблуждением. Но ведь это вырвалось в горячке спора с великодержавниками. Зачем же сразу поносить его как смертельного врага и призывать всех на борьбу с „мелкобуржуазным антисовет-

*„Литературный авангард", Харьков, 1926, стр.87.

**„Нова генерация", №1, 1927.

***„Нова генерация", №6, 1928.

****Цит. по „Политфронт", №6, 1930, стр.259.

ским хвыльовизмом"?.. Но не прошло и двух-трех лет и уже сам Хвыльовой, обличая „Нову генерацию", обвинял ее авторов в... „хвыльовизме", в „мазепинстве" и в „чистом нигилизме, который оборачивается национализмом"*.

Все эти дискуссии были, конечно, любопытны. Однако порой раздражали и сердили: сегодня кажется, что прав этот, а завтра убеждает его противник, да и сам обруганный убедительно кается, разъясняет свои ошибки...

Меня злило, иногда приводило в отчаяние собственное неумение, неспособность разобраться в таких спорах, самому понять или хоть почуять, где правда, где кривда.

Зато всех нас, вчерашних школьников, бесспорно занимала поэтесса „Авангарда" Раиса Т. Маленькая, тоненькая, очень густо накрашенная, она читала стихи, в которых рассказывала, как впервые отдавалась:

Ты так просыв мэнэ, будь моею,
И сталося. Вэлык закон буття.
В трави забулы мы томик Гейне.
На витри лыстя його шелестять...

В другой строфе поминались даже „червоны плямы в лентах матинэ". Мы спорили, следует ли это полагать небывалой поэтической смелостью, либо зарифмованным эрзацем древнего обычая – вывешивать на воротах окрававленную простыню новобрачной.

В русской секции вожаками были Меттер, Корецкий и Санович. Обычно председательствовал Меттер, иногда он читал свои рассказы. В одном из них действовали несколько стандартных персонажей тогдашней советской беллетристики; автор прятал их в кладовке, вызывая по мере надобности, а они жаловались, бунтовали.

Маяковский, приезжая в Харьков, бывал в доме родителей Юры Корецкого, хвалил его стихи.

Мне очень понравилась баллада о хитром персидском рыбаке, которого не смутил коварный вопрос шаха, какого пола выловленная им диковинная рыба:

Эта рыбка говорит:
Гер-ма-фро-дит...

*„Пролiтфронт", №3, 1930, стр.223.

Широколицый, широкоплечий Юра читал чуть нараспев, скандируя:

Благо-ухает
                    фарсидская весна,
В карманах туманы звенят.
Раздайся народ
                    во все стороны,
Эх, и кутит рыбак
                    здорово!

Тосик Санович, тихий, задумчивый интеллигент, считался наиболее радикальным из всех новаторов:

Устерзанные ветра над Украиной каркали,
Длела сии зимовитая остынь,
Являя застуженному Харькову
Доцельную приверженность Осту.

Его любовные стихи казались нам вразумительнее:

И губы. И ты. И квартира один.
И звонок, который единственен и вечен.

На собраниях „Авангарда" каждый, договорившись заранее, мог прочесть свои стихи или рассказ и каждый присутствовавший мог участвовать в обсуждении прочитанного. Я не решался. Когда тебе еще нет шестнадцати лет и ты ни разу не видел своего имени, изображенным печатными буквами, то и 18--19-летний автор произведения, опубликованного в журнале или в газете, представляется бывалым литератором.

Самым привлекательным из молодых, но уже известных, был Саша Марьямов. Высокий, светлорусый, плечистый – таким я представлял себе Джека Лондона и его героев. И он действительно был им сродни. Семнадцатилетним он „ходил" на корабле из Одессы во Владивосток; потом издал книгу путевых очерков „Шляхи пид сонцем" (1927 г.). Писатель и моряк. Что могло быть прекраснее, завиднее такой судьбы? Но он не важничал, не задавался и перед нами, вчерашними школьниками. Когда мы спорили о книгах, о стихах, было явственно, что он много знает, много читал. Но даже самых невежественных собеседников он выслушивал терпеливо; возражал горячо, но не злился, не ругал, не выказывал презрения.

В большой проходной комнате, которая служила читальней, посередине стоял стол с газетами и журналами, а по стенам – диваны или кресла. Там обычно сидели или слонялись те, кто ожидали собрания, отдыхали после прений, назначали встречу приятелям...

„Взрослые" писатели не замечали нас. А мы были не настолько развязны, чтобы набиваться. Тем более охотно и доверчиво знакомились мы с теми, кто с нами заговаривал.

Невысокий человек в сером френче, галифе и зашнурованных сапогах, пристально глядя, спросил:

– Вы, т-товарищи, какой части? Я имею в-виду, какого герба? Не понимаете? Значит, еще нек-крещенные. А ведь здесь все куда-то приписаны. Есть чистые пролетарии, есть селяне-плужане или н-новые дегенераты или стрикулисты-авангардисты... А вот я – одинокий рыщарь пера.

Он говорил, издавая странный запах – смесь трубочного табака, цветочного одеколона и сладковатого дыхания эфира.

– Читали записки адъютанта Май-Маевского?* Это и есть я. Опубликовал, разумеется, под псевдонимом. А в литературе известен как Арген. Т-тоже псевдоним. В девичестве я – Аркадий Генкин. Честь имею.

Он щелкнул каблуками, слегка пошатнулся и каждому из нас пожал руку.

Арген писал фельетоны для „Вечернего радио" и „Червоного перца", куплеты, частушки и скетчи для „живых газет", юморески для разных ведомственных журналов. Везде обязательно выпрашивал авансы и ежедневно пил.

– Так уж привык. Пью все, кроме воды и керосина. Великой жаждою томим... Друг Марса, Вакха и Венеры... Однако Марс нынче на покое. Отгремели трубы боевые. А с Венерой надо поосторожнее. Которая милка дорогая, то уж такая дорогая, что никаких авансов не хватит. А на выпить и понюхать и вовсе не останется. А которая подешевле, та весьма опасна. „Я пою в стихах лирических о страданьях венерических". И опять-таки расходы. Лекари-венерологи дерут как живодеры, не меньше трешки за визит. А за курс давай червончики. Я дал ему злата и проклял его. Нет, господа-товарищи, Вакх и дешевле

*Опубликованные в 1927 году воспоминания советского разведчика, который был офицером деникинской армии.

и здоровей. Кому чару пить, кому здраву быть? Веселие Руси есть пити. И Украины тоже!..

Арген стремительно заводил дружбу с каждым, кто готов был его слушать, и тем более с тем, кто пил с ним и мог угостить понюшкой марафета (кокаина).

Он жил в полупустой комнате в большой захламленной коммунальной квартире вблизи старого базара. Ответственную съемщицу, толстую и крикливую бабу, он в глаза величал „ма шармант мадам”, а за глаза называл „моя бандерша”. Она была продавщицей ларька и подкармливала его в дни полного „декохта” (безденежья). Однажды она прибежала в редакцию „Вечернего радио” с воплем:

– Ой, люди, идите скорише, Аркашенька повесился! Комната запертая, но я скрозь дырочку увидела: висит в угле.

Дверь без труда взломали. В углу Арген, понурив голову и далеко высунув язык, стоял, подогнув колени, на своей койке. К френчу был приколот лист бумаги с красной карандашной надписью: „Жертва новой инструкции об авансах”.

Когда ворвалась толпа, созванная голосистой мадам, он выпрямился и сказал:

– Вот именно так я повешусь – клянусь и присягаю, если сегодня же не получу хотя бы три червонца аванса!

Он играл на рулетке в казино, – их было несколько в нэповском Харькове, в железку („шмен де фер”) и в очко с любыми партнерами. Картежники собирались обычно в частных квартирах, хозяева которых получали процент с каждого банка. Мои приятели приводили меня несколько раз в „хазу” Кульгавого на Артемовской улице. Там хозяйничал одноногий (потому и прозвище „Кульгавый”) паренек, сын дворника. В полуподвальной комнате, где в пасмурную погоду и днем горела тусклая лампочка, стоял большой старинный стол, койка, никогда не застилавшаяся, на которой восседал хозяин, и множество стульев, табуреток, скамеек. Кульгавый вел игру с невозмутимым, злым спокойствием. Если кто-либо из участников „мухлевал”, что случалось редко, или играл „на шермака”, то есть не мог выплатить проигрыша, – что бывало чаще, – Кульгавый так же безмолвно бил его костылем. Бил рассчетливо, чтобы побольней, но чтобы не покалечить, не окровавить. Его мать, тощая молчаливая старуха, приносила гостям пиво и папиросы, зарабатывая за каждую услугу копейку-две.

Арген играл азартно, но и проигрывая и выигрывая, неизменно пошучивал. Тасуя или сдавая карты, частил скороговоркой:

– Игра – война, карты – бумага. Каждый играет на свое счастье и на свои деньги. Рупь поставил – два возьмешь; два поставишь – х...хуже будет. Со стороны – молчок, старичок! Военные не играют.

Нам это казалось очень остроумным, как, впрочем, все его подначки и розыгрыши. Чаще других ему служил мишенью один из сотрудников „Вечернего радио" и тоже завсегдатай дома Блакитного. Грузный старосветский франт, в „чеховском" пенсне и с бородкой „Анри-катр", носил пестрый галстук бабочкой, кургузый пиджак, – из верхнего кармашка торчал цветной платочек, – и замшевые гетры на пуговках со штрипками поверх лакированных штиблет. Он был чистосердечно глуп, самодовольно невежествен и гордо ухмылялся, когда Арген величал его „король репортажа". Однажды собутыльники Аргена по секрету сообщили „королю", что на Холодной горе лопнул меридиан, и репортеры „Вестей" уже там. Тот, на последний рубль, нанял извозчика, помчался на Холодную гору и там долго колесил, возмущаясь неосведомленностью милиционеров. А потом Арген заставлял его снова и снова рассказывать об этих злоключениях и комментировал с невозмутимой серьезностью, что меридиан, вероятно, лопнул в другом месте, но милиция скрывает, а вот в Америке на такой сенсации богатейшее дело устроили бы.

Высокий незнакомец лет 25-30, круглолицый, скуластый, с темными усиками и короткой раздвоенной „татарской" бородкой, сердито рассуждал о бюрократизме, волоките и кумовстве в редакциях и издательствах. Разговор возник все в той же читальной-гостиной. Приятель оратора, очень хмельной и очень кудрявый, угощал нас дорогими папиросами и твердил:

– Хлопцы, перед вами – великий человек!

– Коля, не болтай чепухи, ты перебрал.

– Миша, я действительно перебрал, я этого не скрываю. Ты меня правилно предус- предос-предустерегал, чтоб я не мешал водку с пивом. Ты друг! Ты великий и в-в-великодушный друг. А я не послушался и перебрал ершей. Но я не пьян, а только навеселе. Немного под шафе. А вообще, как говорили в ста-

рину? Кто пьян, да умен, два угодника в нем.

– Не угодника, а угодья!

– Почему? Не понимаю! Миша, ты прекрасный писатель и геройский революционер, но почему угодья, а не угодника? А по-моему, так лучше. Гораздо понятней. Н-нет, Мишенька, Михайлик, мой Мишель, тут я не соглашусь. Хоть ты и великий человек... Хлопцы, это Михаил Туган-Барановский, международный революционер, герой-подпольщик. Он скрывает это, он конспе-конспиратор. А я под шафе, но два угодника во мне... Как, ничего стишок? Вот что значит поэт. Он всегда поэт. Он – это значит я. И во хмелю я вас люблю... Вас – это значит тебя, Миша... Хлопцы, Михаил приговорен к смерти в трех, нет, в четырех иностранных государствах. Мишенька, где тебя хотят повесить? – в Чехословакии, в Румынии и в этой, как ее, Югославии?.. Ведь правда же... Ну, не скромничай, признай. Это же свои хлопцы, комсомольцы. Я по глазам вижу.

– Ладно, ладно, Коля, разболтался. Пошли, пошли, здесь не место. Давайте, товарищи, поможем Николаю, он устал, душно... Пойдем, погуляем по свежему воздуху.

Он заговорщически подмигнул нам и мы, польщенные доверием, подхватили Колю под руки и бережно поволокли.

На улице он вскоре согласился уехать домой на извозчике.

– Ванько! Сколько до Екатеринославской? Полтинник?! Грабеж! Мишенька, я же пустой... Вот гривенничек есть и пятачок и все... Ванько, за пятнадцать поедем? Не хотишь? Рвач! Бюрократ! Угар нэпа! Мишель, дай-ка мне двадцать копеек и ни копейки больше...

Туган-Барановский небрежно протянул ему рубль.

– Не упирайся, Коля, езжай, проспись. Приходи завтра читать поэму.

– Приду, приду, Мишенька, ты, как всегда, великодушен. Дай я тебя поцелую. Хлопцы, запомните сегодняшний день. Это замечательный день в ваших молодых жизнях. Вы узнали великого русского писателя и международного революционера. Он – новый Горький, новый Куприн, новый Пантелеймон Романов...

Общими усилиями мы усадили Колю на извозчика, который, увидев рублевку, сноровисто помогал и приятельски кивнул нам всем.

– Можете быть спокойными. Довезем, как родную деточку.

А Зоря, Жора и я пошли провожать Тугана Барановского.

Мы шли медленно по вечерним улицам.

– Давайте прогуляемся. Надо хмель расходить. Жена не любит.

Он стал рассказывать. Мы слушали, не смея прерывать, только охали изредка, восторженно переглядывались и переталкивались.

Он был сыном того самого Туган-Барановского, легального марксиста, с которым спорил Ленин. Отец умер в Париже, где находился как посол гетмана. А сын стал эсером-максималистом.

– По молодости. Мальчишкой был, шестнадцать, семнадцать. О Советской власти никакого представления, вернее – самое превратное. Но белогвардейскую сволочь ненавидел. Сперва увлекли эсеры. Непосредственные действия. Револьвер. Динамит. Первое задание – казнь корнета Яблочкина. Был такой зверь – лютовал в деникинской контрразведке; а в эмиграции создал свою тайную полицию. Они шантажировали или убивали тех, кто хотел вернуться в Россию. Мне и еще двоим товарищам поручили его ликвидировать. Наша штаб-квартира была в Румынии, а Яблочкин со своей шайкой пристроился в Болгарии, в порту Варна. Поехали туда с липовыми документами втроем. В том числе одна девица. Ей удалось его замарьяжить вечером в ресторане. Сели в таксомотор. А шофером – один из нас. Привез на условленное место. Тихое, на окраине. Там ждал я. Два браунинга в упор. Труп оставили в машине. Прикололи записку: „Казнен по решению боевой организации социалистов-революционеров". Следующая операция – генерал Покровский. Тоже был осужден нашей организацией. За чудовищные злодейства во время Гражданской войны и за темные дела в эмиграции. Его выследили, когда он переходил границу из Болгарии в Югославию, шел с двумя адъютантами. И нас трое. В горах, зимней ночью. Завязалась перестрелка...

Один из товарищей Туган-Барановского был убит, он сам ранен в плечо. Покровского и одного адъютанта прикончили, а другого ранили.

За эти „акции" Туган был заочно приговорен к смерти в Болгарии и Югославии.

– Там полиция проведала. Нашли убитого товарища, опознали. А в Румынии один сопляк струсил, предал. Его, разумеет-

ся ликвидировали, но с опозданием – многих успел выдать. Там тоже заочный смертный приговор. Но с Чехословакией это Коля спьяну перепутал. Из Чехословакии меня просто выслали по приказу правительства. Во-первых, за то, что я в Праге выступил на съезде эсеров против правых, против Чернова. Мы, молодые, развивались, читали советские газеты, установили связи с чешскими и польскими коммунистами. Мне поручили объявить на съезде нашу новую линию. Был скандал, драки, вмешалась полиция. А тут еще запросы из Румынии, Болгарии, Югославии, требуют выдать! Ну, чехи – либералы, выдавать на смерть им не пристойно. Выслали в Польшу, там у нас друзья – коммунисты. Но, прихожу во Львове на квартиру, а там, как на грех – засада. Бежал на чердак, оттуда по крышам, по задним дворам, трущобами. Пробрался в Германию. Просидел три месяца в тюрьме. Потом уехал во Францию. В Париже у меня родственники. Стал жить по эмигрантскому паспорту, так называемый нансеновский. Женился на француженке, вот придете – познакомлю. Она – коммунистка. Да и я во Франции стал членом компартии. Но работал нелегально. Иностранцам запрещено заниматься политикой. Все же в конце концов накрыли. И выслали. Вот и вернулся на родину. Недавно выпустил книгу – „В тени Эйфелевой башни". Рассказы из жизни. Только о том, что сам испытал.

Иногда он себя прерывал:

– Что это я разболтался? Видимо, тоже перебрал. Мы с Колей вдвоем бутылку „Белой головки" осилили, потом шампанское распечатали. Да еще и кофе с ликером. Старею. Раньше куда больше мог выпить и ни в одном глазу...

Мы подошли к небольшому особняку в тихом переулке.

– Ну, вот и моя хата. Спасибо, товарищи. Сейчас не приглашаю, уже поздно. И жена не подготовлена. Милости прошу завтра, часов в семь. Приходите, поговорим серьезно. Есть у меня один проектец, уверен, что вас заинтересует.

На следующий вечер я наваксил ботинки и, после некоторых колебаний, надел под толстовку отцовскую белую рубашку с крахмальным воротничком. Благо, отец был, как всегда, в отъезде. Нацепил галстук-бабочку. Жорка тоже пришел при галстуке „гаврилке", в рубашке навыпуск, подпоясанный блестящим, явно не его, ремнем. Зоря ограничился чистой, свежепоглаженной апашкой и проутюженными штанами. Но ботинки

тоже почистил.

Туган встретил нас в темнокрасной домашней куртке, с гусарскими жгутами на груди и в парчевых туфлях с позолотой, с острыми, загнутыми вверх носками. Он ввел нас в полутемную комнату. Горела только настольная лампа и какие-то канделябры с абажурами. Толпились книжные шкафы, огромный письменный стол, кресла. На стенах висели большие, плохо различимые картины в тяжелых рамах, гравюры, снимки. У низкого круглого стола низкий диван и пуфик.

– Моя супружница – француженка, но выросла в Алжире. Вот и мне прививает восточные обычаи. Сейчас попробуете настоящий турецкий кофе.

И она вошла. Длинная, тонкая, извивающаяся. Острое, бледное лицо стиснуто темными волосами, закрывавшими уши. Зеленое платье, блестящее, шелестящее, текучее. Светлые блестящие чулки. А ноги тонкие, почти совсем без икр. Но даже этот, по нашим понятиям весьма существенный, недостаток не умалял очарования.

Она прокартавила что-то приветственное. Неожиданно для себя я шаркнул ногой, как учили в детстве.

– Бон суар, мадам.

Она хихикнула.

– Бон суар, камарад-товахич!

Зорька демонстративно пробасил:

– Здравствуйте, товарищ.

Жорка чуть не упал, вставая с низкого пуфа:

– Добрый вечер.

Она всем улыбалась: „бон суар, бон суар!”

Мы пили очень сладкий, очень душистый кофе из маленьких чашечек. Запивали холодной водой из высокого узорного кувшина. Пили тягучий зеленый ликер из тонехоньких рюмочек. А еды всего – ничего: корзиночка соленых сухариков и корзинка печенья.

Зато разговор был захватывающий. Туган без долгих околичностей сказал, что собирается создавать новое литературное объединение, главным образом из молодежи. Молодых поэтов не пускают в печать, не пускают в литературу, и они должны действовать.

Жена в разговоре не участвовала. Она подливала нам кофе, воду, ликер. Я исправно говорил „мерси”. Она хихикала:

„Пажальс". Жорка расхрабрился настолько, что сказал с ухмылочкой, внятно: „Мерси, товарищ". Она долго смеялась этой замечательной шутке и повторяла: „Мехси, товахич... пажальс, камахад!"

Речи Тугана возбудили меня так, что я почти забыл об его экзотической подруге. Он стал расспрашивать нас. Выяснил, что я пишу стихи, главным образом по-русски, но пробую и по-украински, что Зоря по призванию критик, но может и прозу. Жора сказал, что пишет прозу и стихи. Это было для нас неожиданно. За ним числилась только одна строфа одной песни на мотив „Кирпичиков": „Спирт разбавленный, спирт отравленный, и матросы, оставшись без мест, выпить в новую шли столовую, по дороге зайдя в „Спиртотрест" "... Песня нам нравилась, но некоторые критиканы утверждали, что слышали ее раньше, в других городах, куда еще не могло проникнуть литературное влияние Жоры.

Туган, глядя на свет через рюмочку, неторопливо говорил, что необходимо дружное товарищество, один за всех, все за одного, что они с Колей Шустовым приглядели еще несколько толковых хлопцев. Мы все должны перезнакомиться. И тогда соберемся, организуемся. Он заставит правление дома Блакитного выделить нам комнату и один день в неделю для регулярных заседаний. Есть уже „связи" в редакциях.

– Проявим себя и получим в „Харьковском пролетарии" страничку раз, а то и два в месяц. Через год можно будет и о коллективном сборнике подумать, даже о журнале. Название для организации мы с Николаем предлагаем: „Союз молодых" или „Союз Юности". Это и по-украински звучит неплохо: „Сп1лка молод1".

В эти часы я внятно ощутил: вот он, вождь, за которым можно идти в литературу, в подполье, на баррикады...

Больше Туган не приглашал нас к себе. Мы встречались в доме Блакитного. Его неизменно сопровождал Коля Шустов. Либо весело говорливый „под шафе", либо унылый, с похмелья. Они познакомили нас еще с несколькими парнями, профшкольцами, безработными и молодыми рабочими. Представляли их: „поэт... прозаик... критик." Туган при каждой встрече говорил, что в следующий раз состоится наше „учредительное собрание". Необходимо только, чтобы нас было не меньше 20 человек.

Однажды он небрежно, между прочим, сказал: „Нова Генерация” наконец-то решилась напечатать мои вирши, можете поглядеть во втором номере.”

Мне очень хотелось, чтобы стихи понравились. Они были напечатаны „лесенкой”. Точь в точь, как у Маяковского, и у наших футуристов – Шурупия, Семенко.

...Знаю
неминучі
картини:
Треба
танки
ковать.
Хочу
нітрогліцерином
Набити
свої
слова.
Побачуть в карьєрі скаженному
Шабель
червоный туман.
Усмішки коней Буденного,
Чекіста
чорний наган...
Крикнув крізь
Нью-Йорк,
Віденъ,
Париж,
Стамбул,
Кельн
Слово
лівому рідне,
Косоокий монгол Ленін...

Шустов говорил, что таких стихов на Украине еще не слыхали. „Маяковский позавидует. Тычина спрятаться может”. Мне было неловко, но я никак не мог восхититься. И почему Ленин – монгол?

Прочитал я и книгу „В тени Эйфелевой башни”. Рассказы оказались тусклыми. В них действовали отважнейшие коммунисты-подпольщики, ловко дурачившие полицейских и шпиков.

Но все разговаривали одинаковыми газетными словами.

Вскоре я услышал презрительные отзывы о моем вожде: „Халтурщик. Трепач. Шарлатан. И он, и его адъютант Шустов – бесстыдные брехуны”. Я пытался было возражать.

– Пусть он не художник, не мастер слова, но ведь он участник революционного подполья, в книжке факты...

– Написать все можно. Там же обозначено „рассказы”, значит, вполне позволяется выдумывать, что захочешь.

Оставался последний аргумент: Туган недавно приехал из-за границы и сразу получил особняк, такой, в каких у нас жили даже не все вожди, а только Петровский, Скрыпник, Косиор...

Хулители пожимали плечами.

– Ну что ж, может, имеет какие-то заслуги. Но зачем он лезет в литературу? Буденный – герой побольше, про него песни поют. Но он же в писатели не набивается.

Туган говорил о Коле Шустове:

– Пьет негодяй, но талантлив чертовски. Он, как Есенин: поэт с головы до пят. И душой и телом. Вот и пьет, как Есенин. Не дают ему ходу литературные держиморды. Союз молодых должен его поддержать; один за всех, все за одного.

Сам Коля доверительно рассказывал, что пишет поэму „Весь мир”, которая должна превзойти все, что есть в русской и мировой поэзии. Ибо он намерен изложить стихами историю земли „с самого-рассамого начала” и до наших дней. Историю всей природы и всех народов. Написано уже сотни, нет, тысячи строк. Но пишется трудно. Творческие муки – это с одной стороны. А с другой – нужно еще и все время подбирать материалы, подчитывать, – то энциклопедии, то разные научные книги. „Это тебе не стихи в „Авангарде”, как рыбак шаха дурил, или поэт поэтессе целку ломал”.

Мы упрашивали его почитать. Он отнекивался. Но однажды в буфете удостоил.

– Вот как начинается –

Была земля и груды вод,
И груды гор и глыб,
Различных множество пород
Животных, птиц и рыб...

Дальше шли еще несколько строф в таком же стиле. Я с трудом выдавливал какие-то похвальные слова.

Туган все не собирал нас. Каждый раз он куда-то спешил, на прямые вопросы отвечал невразумительно: „Еще не время. Созвездия пока молчат. Еду-еду, не свищу...” И говорил, что мы должны ходить на собрания „Авангарда”, чтобы „взорвать изнутри эту шайку пижонов, мещанских интеллигентиков”.

При этом он ссылался на опыт немецких и французских коммунистов, которые действуют внутри „желтых” профсоюзов.

Но мы все чаще сомневались в его справедливости и мудрости. Зоря перестал ходить, уверял, что очень занят в электротехнической профшколе. Жора говорил прямо:

– Не светит мне что-то этот пан Туган. Не светит. И чего он там хочет взрывать в „Авангарде”? И как именно? Ему просто слабо́ писать, как они. Ему до того „Авангарда” еще сорок верст плыть. Ты все радовался: „герой!” А может, и геройство его такое, как его Коля – Есенин?

И мне становилось неприятно слушать рассуждения Тугана. О ком бы из литераторов ни зашла речь, он говорил, презрительно оттягивая книзу углы рта, что-нибудь вроде: „Графоман. Пижон. Мещанин. Петлюровец. Отца родного за копейку продаст. Воображает, что Лев Толстой, а жена ему орфографические ошибки исправляет”.

Зато он чрезвычайно расхваливал неведомых нам гениев и самородков – его московских друзей, либо открытых им совсем неподалеку, но еще пребывающих в неизвестности новых Блоков и Есениных.

...Шло собрание „Авангарда”. Туган и Коля сидели на столе, придвинутом к стенке. Коля был пьян и комментировал чтение стихов и речи критиков бранными репликами или назойливо спрашивал: „А ч-что автор хотел сказать этим образом? Эт-то же ж образ, или как... метафо́ра?”

Председательствующий Меттер призывал к порядку. Туган „удерживал” приятеля, тот куражился. Кто-то заметил: „Это они взрывают изнутри”.

Меттер, заключая обсуждение чьих-то стихов, сказал, как бы вскользь, что „Авангард” не боится никаких противников, никаких проходимцев, вроде Туган-Барановского.

Тот, побледнев, спрыгнул со стола, молча бросился к Меттеру. Его перехватили. Юра Корецкий почти донес его к дверям, а он только беспомощно размахивал руками. Глаза сузились в щелки. Вытеснили и Колю.

Никто за ними не пошел, хотя в тот вечер он привел с собой несколько предполагаемых членов „Союза молодых".

После заседания я спросил у Меттера:

– Почему вы назвали его проходимцем? Какие у вас основания?

– Да это за версту видно. Почитайте, что он пишет, послушайте, что он рассказывает.

После этого вечера я Тугана Барановского в Харькове уже не встречал. Одни говорили, что он арестован как шпион. Другие, со слов Коли Шустова, утверждали, что его вызвали в Москву и опять направили за границу.

Одиннадцать лет спустя, в 1939 году, в Москве на троллейбусной остановке он меня окликнул и заговорил так, словно мы расстались неделю тому назад. Сказал, что опять пришлось побывать в чужих землях. Услыхав, что я в аспирантуре, женат, есть дочка, ждем второго ребенка, предложил деловито:

– Ну, значит, тебе деньги нужны. Это мы обеспечим. Я работаю на сельскохозяйственной выставке. Заведую всем оформлением: ну там – плакаты, афиши, лозунги, транспаранты, фотомонтажи и т.д. и т.п. Без моей санкции на всей территории не поставят ни одного киоска, не повесят ни одной бумажки. Записывай телефоны. Это служебный, это домашний. На работе меня поймаешь пораньше, с утра. Будешь сочинять подтекстовки к плакатам, к таблицам, к портретам знатных колхозников, рекламы и прочее. Плачу пословно, понимаешь? А за стихотворный текст – каждое слово в 5-7 раз дороже. Например, „наши доярки доят без запарки" – пять слов двадцатку потянут. Гарантирую без натуги две тысячи в месяц. Будет детишкам на молочишко.

Ему явно хотелось еще поговорить, но я спешил на занятия. Звонить ему я не стал.

Прошло еще семь лет. В Бутырской камере номер 106 старостой был Буда-Жемчужников, правнук известного писателя,

„соавтора" Козьмы Пруткова. Бывший юнкер, бывший деникинец и врангелевец, потом эмигрант. Арестовали его в 1946 году в Западном Берлине. Он рассказывал, что его дело вел майор СМЕРШа Туган-Барановский.

– Хи-ит-ая бестия, доложу вам. Нет, никаких пыток, никаких т-этьих степеней! Очень ко-эктен. Вполне воспитан. Однако, хит-ая бестия. Сам был эмиг-антом. Все наши дела и делишки знает досконально. Обещал мне за отк-овенность, за иск-енность всяческие льготы и п-ивилегии. И, доложу вам, некото-ым об-азом выполнил свои обещания. Вот и п-ивезли меня сюда в Белокаменную, минуя су-овый Военно-полевой т-ибунал. Нап-авили дело в так называемое ОСО. Майо- Туган-Ба-ановский мне это и обещал. А тут уж я надеюсь – моя специальность поможет.

(Буда уверял, что владеет секретом безупречной мумификации любых органических тел, – растений, животных, рыб. Он был совладельцем фирмы, изготавляющей парафиновые мумии для школ и естественно-научных музеев. По его словам, метод их фирмы был прост и дешев.)

– Вот у вас мумифици-овали тело Ленина. Это очень до-ого стоило. И все еще постоянно т-эбует дополнительных -асходов. Жестокий конт-оль темпе-ату-ы. Ну, и подновляют, конечно. А наш метод – абсолютная га-антия. На сотни лет, наизменно, п-и п-остой комнатной темпе-ату-е. Опасны только – жа-а, огонь. А любой холод, любой мо-оз даже на пользу. Майо- Туган очень заинте-эсовался моим сек-этом. Ведь будут же еще уми-ать великие люди. А мне только лестно, вместо тиг-ят, обезьянок, птичек, об-аботать тело великого человека.

Недолго я в ту зиму восхищался Туган-Барановским. Но это короткое знакомство все же оставило след, вероятно, не только в моей жизни.

Скоропрошедший вождь заронил мечту об особой молодежной литературной организации. И вскоре после того, как мы окончательно разуверились в Тугане, у меня дома собралось несколько учредителей нового литературного объединения: Валентин Бычко, Иван Нехода, Иван Калянник, третий Иван – Ваня Шутов (он стал писателем под псевдонимом Михайло Ужвий) и Тодик Робсман. Он при знакомстве представлялся: „Теодор Робсман. Поэт. Гениальный!" Пожатие широкой твердой

руки, натренированной в многочисленных драках, было таким крепким, что новые знакомые предпочитали не высказывать сомнений. Тодик – единственный из этой компании излечился от литературной кори. Но в ту пору он казался едва ли не самым активным из нас. Он дружил с Колькой-Американцем, вожаком большой шайки, в которую входили не только обычные „раклы", но и профессиональные воры – ширмачи, хазушники, уркаганы и т.п. Отсветы героического мифа Кольки и собственные кулаки весьма укрепляли репутацию Тодика. Впрочем и его стихи казались нам тогда вполне приемлемыми, не хуже тех, что печатались.

Сегодня и мысли и чувства в ударе,
Сыграй мне, любимая, вальс на гитаре,
Я сердцем расстегнут, натянуты струны,
Любимая, сердце – хороший инструмент.

Он был так неколебимо уверен в своей гениальности, что не сердился на самую злую критику товарищей. А когда его пытались убеждать, что он неправильно ставит ударение в слове „инструмент", он безмятежно-упрямо возражал:

– И ничего подобного. Во-первых, у нас ведь народ говорит „инстру́мент", это только интеллигенция хочет, чтоб было „ме́нт". А я – народный поэт и на всех „ментов"* кладу с прибором. И еще Пушкин писал „музы́ка". Так что ж, ему можно, а мне нельзя?

В дирекции дома Блакитного нам объяснили, что комнату и часы для заседаний представляют лишь организациям, зарегистрированным в Наркомпросе.

Первое собрание мы провели на квартире у одного из „учредителей". Был избран секретариат – Бычко, Нехода и я; меня наименовали „генеральным секретарем" и поручили идти в Наркомпрос.

В школьную арифметическую тетрадку – по клеткам легче разграфлять, – я вписал всех наличных и предполагаемых членов молодежного литературного объединения „Юнь". Графы были: фамилия, имя, год рождения (себе я записал 1910, на два года старше), „творческое призвание", „на каком языке пишет" и „где публиковался".

В то время только Валентин Бычко и Иван Нехода напеча-

* Милиционер *(жаргон)*.

тали несколько стихотворений в украинской пионерской газете. Всем остальным я пометил: „неоднократно публиковался в стенной печати".

В Наркомпрос я направился пораньше утром, прямо в кабинет наркома Миколы Олесовича Скрыпника.

В небольшой приемной уже сидело несколько человек. И потом приходили все новые посетители. Набралось десятка два, последние стояли в коридоре.

Секретарша спрашивала каждого: „В якlй справl?" Некоторых отсылала в отделы, решительно говорила, что нарком этим вопросом заниматься не будет. Я изложил суть нашей просьбы, показал протокол первого собрания, аккуратно переписанный на листах, вырванных из бухгалтерского гроссбуха и тетрадь со списком.

Она едва поглядела.

– Ждите. В порядке живой очереди. Микола Олесович придет к десяти.

Ровно в десять послышалось разноголосо:

– Дравствуйте, Микола Олесович... Драсть... Здрастуйте...

Скрыпник в шубе торопливо прошел в свой кабинет, через несколько минут вышел, сел к маленькому столику у окна и оглядел всех нас: мне показалось, досадливо – сколько набилось!

– Ну, давайте. Кто тут перший?

Он был вовсе не похож на портреты, которые тогда можно было видеть во многих витринах, в школах и клубах. Он казался меньше, старше, суше. Усталые глаза, седая „кремлевская" бородка. Разговаривал вполголоса. Иногда нетерпеливо, но всегда деловито.

– Прошу конкретнlше. Так, так, вже розумlю... А далl шо?.. Ваши высновки, будь ласка... Так чого ж вы все-таки хочете? Прошу навпростець: в чому суть ваших претензlй?

Прощался кивком. От многословных благодарностей отмахивался. Велеречивых посетителей прерывал, показывая на ожидающих.

– Товарищу, вы ж бачите, тут ще товарищи чекають.

Дошла очередь до меня. Секретарша кивнула и я сел на стул, вплотную напротив него, почти что колени в колени. Он дописывал что-то на пачке бумаг, оставленных предшествующим со-

беседником. Взглянул на меня выжидательно. Я постарался быстро изложить наши планы.

– А нав1що потр1бна ще одна организация? Чому вы не п1дете до „Молодняка”?

Мы предусмотрели этот вопрос.

– „Молодняк” – это республиканский союз, у них по всей Украине отделы, и они принимают лишь тех, кто уже не раз печатался, у них все старше двадцати лет. И все уже с опытом. Такие, как мы, начинающие, должны месяцами, а то и годами ждать, пока хоть послушают, покритикуют. И мало кто пока дождался.

– Так, так. Значить, це т1, кто з пионер1в уже выросли, а до комсомолу еще не доросли.

– До комсомолу може й доросли, а до „Молодняка” – н1.

Он посмотрел словно бы чуть оживленней. Взял тетрадку, полистал.

– „Юнь” назвали? Гарно. А якою мовою пишуть ваши юнаки – украиньскою? Чи рос1йскою?

– Приблизно половина – укра1ньскою.

Я соврал, но так решительно, и по-украински изъяснялся настолько свободно, что это прозвучало достоверно.

Он быстро написал красным карандашом на обложке тетрадки „В буд. Блакитного. Треба допомогти хлопцям”.

Протянул мне тетрадку, едва кивнул на мое „щиро дякую, Микола Олесович”, и обернулся к следующему...

В коридоре бывалый ходок объяснял:

– Он хитрый мужик, Николай Алексеевич; нашего брата, рядового, принимает в приемной, чтобы поскорей: раз-раз и готово. Сам видишь: другие ждут. А если кто надоедать будет, встанет и уйдет к себе в кабинет, пускай все остальные того выпихивают. Тогда вернется. А для начальства у него другие часы. И уже пожалуйста в кабинет... Еще и чаю поднесут.

Благословение Скрыпника было для нас очень важно. Не только потому, что его Наркомат ведал домом Блакитного. Мы знали, что он – старый большевик, член президиума Коминтерна, ученый марксист – очень серьезно интересовался литературой.

В феврале 1928 года он произнес большую речь на собрании харьковских писателей. Текст ее был издан брошюрой „Наша

литературная действительность".

„...Большая часть наших писателей крестятся по-советски, заявляют, что стоят на советской платформе, хотят быть пролетарскими... А где та лакмусовая бумажка, чтобы определить кто кто? ...Объединяются большею частью не по художественным, не по литературным признакам, а на каких-то полуполитических платформах, на которых соединяются прямо противоположные художественные течения... ЦК ВКП/б/ признал необходимость свободной борьбы, свободного соперничества... Мы не можем никому выдавать диплом на пролетарскость... Наша украинская литература еще не вышла из фазы примитивного, полупровинциального существования. Все кошки серы; все писатели – украинцы; все – представители пролетарской литературы...

...Я не сторонник левого фронта искусств, но для меня „Нова Генерация", именно потому, что ее основа – общие художественно-литературные черты, имеет большее значение, чем многие другие. ...Тут многие, очень многие отказывают этой группе и „Авангарду" в самом праве на существование, заявляют, что таких течений нет. Но, уважаемые товарищи, так ведь было и со всем украинским народом: и ему отказывали в праве на существование.

...Я также не сторонник конструктивизма, динамизма – художественных направлений, на основе которых объединилась группа „Авангард"... Но я считаю, что на просторах советской земли, под нашим пролетарским солнцем найдется такое место, где и эта группа сможет художественно самовыразиться и самим своим существованием побуждать самовыражаться другие группы... ВАПП объединяет под одной крышей по меньшей мере три противоположных течения. По-моему, это неуважение к самим себе, к своим художественно-эстетическим взглядам..."

В той же речи Скрыпник громил идеологических противников – Хвыльового, Маланюка – и не стеснялся в выражениях; говорил, что они примкнули к лагерю „воинственного украинского фашизма". Ссылки на художественные достоинства их произведений он отстранял: „Пуришкевич тоже иногда писал стихи. Но пуришкевичей мы расстреливаем, а не занимаемся художественными оценками". И сразу же после этих зловещих слов призывал: „...остро выступать против литературного ком-

чванства... Это тайная хвороба, о которой привыкли говорить лишь шепотом... Нужно думать над тем, как поймать напостовца, как поймать и поставить огненное клеймо на лбу представителя пролеткультовщины. Это задание трудное, иногда почти невыполнимое, так же, как поймать русского великодержавника..."

(Пять лет спустя, когда несколько миллионов украинских крестьян вымерли от голода, Скрыпник расстрелял себя. И тогда же застрелился Хвыльовой. Должно быть, им нестерпимо стало сознание ответственности за все, что происходило на Украине, сознание своей причастности к тем силам, которые сулили все новые гибельные бедствия. Их посмертно проклинали как „буржуазных националистов" и „врагов народа".

Но в 1928 году оба они, – талантливые, мужественные, искушенные в политических и литературных спорах, конечно же, не предвидели и не предчувствовали, куда сами идут, к чему ведут своих товарищей-друзей и товарищей-противников... А мне и таким, как я, утверждения, вроде „пуришкевичей надо расстреливать", казались вполне естественными полемическими оборотами.)

Мы уважали Скрыпника. Однако его призывы объединяться „на основе художественных, эстетических программ" казались мне уступкой „формализму". Нет, главным для нас была идейная общность; ну, а уж в ее пределах – терпимость к любым формальным, эстетическим поискам. Именно таким объединением должна была стать наша „Юнь".

Мы стали собираться раз в неделю вечером, в большой комнате-читальне дома Блакитного. Три-четыре поэта читали стихи. Не больше двух прозаиков – рассказы или отрывки из более крупных произведений.

Бывало, что впечатлительные авторы зло переругивались с критиками. На собраниях обычно председательствовал я. Перебранки удавалось кое-как унимать. Но в нескольких случаях спор возобновлялся потом на улице и переходил в драку.

Подошла моя очередь, и я прочитал длинную поэму „НЭП".

То была длинная вереница зарифмованных рассуждений о больших и малых событиях, происходивших в мире, в стране, в Харькове...

1927-ой год. Многим казалось, что десятилетие Октябрьской революции должно стать кануном новых революционных перемен. Мы считали неизбежной новую войну и с нею тот „последний решительный бой", который принесет счастье всему людскому роду. И в газетных сообщениях нередко слышали сигналы боевых тревог.

...После переворота Чан Кай-ши в Шанхае и в Кантоне убивали коммунистов, подавляли рабочие восстания. В Англии полиция напала на советское торгпредство, нашла какое-то „письмо Зиновьева", из-за которого Чемберлен обвинил наше правительство в разжигании мировой революции и порвал дипломатические отношения с СССР.

В Варшаве убили нашего полпреда Войкова.

...По харьковским улицам шли шумные демонстрации протеста к польскому консульству. Двухэтажный дом в глубине тупика, упиравшегося в ограду парка Технологического института, был оцеплен милицией, демонстрантов не подпускали. Мы с Зорей пробрались с тыла, через ограду, успели швырнуть по камню в окна. Не добросили. Нас перехватили милиционеры, рослые парни в яйцевидных шлемах, таких, как у английских полисменов, – эту новую форму ввели весной 27-го года. Я предъявил свой единственный документ – зеленую книжечку эсперантиста. Молодой милиционер уважительно глядел на иностранные буквы, а я пылко лопотал, что весь мир протестует, паны-пилсудчики помогали убийце, надо им показать, как следует, что и мы протестуем.

– Та вже добре! Тильки протест – то державна справа. А викна бить – це вже фулюганьство, а не протест. Давайте, проходьте.

Борис и я ходили по улицам собирать деньги на эскадрилью „Наш ответ Чемберлену". Нам выдали копилки, запечатанные сургучем, коробки, полные мелких латунных значков, – самолетик с кулаком вместо пропеллера, – и ленты с лозунгами, которые мы носили через плечо. Каждому, кто бросал в копилку хоть копейку, мы накалывали значок.

Все это снаряжение нам по протекции Бориса выдали в городском комитете Осоавиахима, а также справки с печатями „поручается сбор пожертвований", что давало право бесплатно ездить на трамваях и автобусах. Нам сказали: „Кто наберет больше двадцати пяти рублей, будет премирован: покатают

на аэроплане. Полчаса летать над городом".

И мы старались.

– Гражданин, гражданочка, пожертвуйте на эскадрилью „Ответ Чемберлену"... Не пожалейте трудовой копейки на защиту Советской страны. Нашей копейкой лордам по мордам! Жертвуйте на Красную авиацию!

Мы лихо вскакивали на ходу в трамваи и так же на ходу спрыгивали. Самые строгие милиционеры делали вид, что не замечают.

Как я презирал тех, кто отворачивался от копилки молча или отнекиваясь: „Я уже жертвовал... Нет денег... Ладно, ладно, потом... Каким там лордам – себе на конфеты собираешь, или на папиросы... Мало, что налоги дерут, так еще на улице жертвуй... Откуда звестно, что ты маешь право торгувать теми бляшками? А ну, покажи патент!.. Так Чемберлен и злякается от наших копеек... Делать нечего пацанам, как нищие просят! Гуляй, гуляй, Бог подаст..."

И как по-братски, по-дружески, по-сыновнему любил я всех, кто останавливался, весело или серьезно отвечал нам, доставал монету, прикалывал значок. Седой, в гимнастерке, с портфелем, спросил: „Много насобирал? А ну, тряхни!" Прислушался к полновесному бряцанию, удовлетворенно хмыкнул и сунул в щель копилки бумажный рубль, протолкнул карандашом. „Дай-ка несколько аэропланчиков для моих пацанов". Я не сомневался в том, что это старый большевик.

Мы твердо знали: необходимо укреплять Красную армию, необходима мощная военная промышленность. И как назло оппозиционеры мешают, заводят дискуссии, отвлекают силы. Осенью прошел ХУ съезд ВКП/б/. Троцкого, Преображенского, Смилгу, Раковского исключили из партии. Зиновьев и Каменев покаялись. В газетах писали, что троцкисты создают антипартийное подполье. Троцкого выслали в Казахстан.

Однако именно оппозиционеры предостерегали от Чан Кай-ши, ратовали за мировую революцию и против империалистов, против нэпманов и кулаков.

Причиной всех наших бед и зол я считал НЭП.

НЭП – это частные магазины и лавки, куда более изобильные и нарядные, чем тусклые Церабкоопы; расфранченные мужчины и женщины в ресторанах, где по вечерам наяривали оркест-

ры, и казино, где вертелись рулетки и крупье покрикивали „игра сделана!”; ярко накрашенные девки в коротких платьях, медленно разгуливавшие по вечерним улицам, задирая одиноких мужчин, или визгливо хохотавшие в фаэтонах „ваньков”.

НЭП – это базары, кишевшие сутолокой грязно пестрых толп, – куркульские возы, запряженные раскормленными конями, горластые бабы-торговки, вкрадчивые перекупщики, оборванные, грязные до черноты беспризорники.

НЭП – это газетные сообщения о селькорах, убитых кулаками, о судах над растратчиками, взяточниками, шарлатанами, фельетоны о разложении, обрастании, о том, как некогда честные рабочие парни-коммунисты становились бюрократами, рвачами, „сползали” в мещанское болото.

Юмористические журналы и живые газеты высмеивали нэпачей. Но Маяковский не шутил, взывая: „Скорее головы канарейкам сверните, чтоб коммунизм канарейками не был побит”.

Это из-за НЭПа перессорились между собой вожди партии.

Это НЭП довел до самоубийства Есенина, Андрея Соболя и товарища моего отца Семена Халабарда. Крестьянский сын, красавец-богатырь, он в гражданскую войну командовал полком, потом стал директором треста, влюбился в красивую бездельницу-франтиху, растратил государственные деньги и принял яд.

Асеев писал:

Как мне быть твоим поэтом,
Коммунизма племя,
Если крашено рыжим цветом,
А не красным время?

Его ужасала „пивная рядом с наркомвнуделом”.

Владимир Сосюра читал нараспев, ласково, печально:

Я не знаю, кто кого морочить,
Але знов би я наган взяв
І стріляв би в кожні жирні очі,
В кожну шляпку и манто стріляв.

После того, как я прочитал рифмованные проклятья злокозненным, тлетворным силам НЭПа, кое-кто из приятелей хвалил: „Есть яркие образы... есть сильные строки... Искренне вы-

ражено отношение к общественным язвам..."

Но критики говорили куда красноречивее. Они уличили меня в пессимизме, в упадочнических настроениях, в подражании Есенину, Маяковскому, Сосюре и еще кому-то, в „переоценке" опасностей НЭПа и в „недооценке" и „недопоказе" здоровых сил нашего общества: мою поэму признали идейно ошибочной, требовали, чтобы я „продумал", „осознал" и „перестроился"... Я пытался возражать. Ведь заключительные строки звучали довольно бодро.

Пускай в Харькове, у бледного ВУЦИКа
Мчат рысаки и визжат проститутки,
Ведь есть еще люди в кожанках куцых,
В работе запойной, за сутками сутки.

Но втайне был очень доволен. Все происходило как у настоящих взрослых литераторов: „прорабатывали" за идеи, но признавали удачи формы. Кто-то даже сказал о таланте.

...Прошла неделя, пока я обсуждал с приятелями, что делать, – каяться или упираться? Колебался, сомневался. Но про себя гордился – это были серьезные „идейно-творческие" колебания и сомнения. Как у настоящего поэта.

В конце концов, я все же признал, что „допустил", и с мужественной, суровой печалью говорил, что многое передумал, осознал и теперь понимаю, что переоценивал то и недооценивал это. Обещал „еще глубже продумать" и возможно скорее „перестроиться".

„Юнь" просуществовала недолго. Числившийся у нас критиком Роман Кацман* опубликовал в газете „Вечернее радио" фельетон и зло, но довольно правдиво описал наши сборища. Назвал он, впрочем, лишь одного Тодика Робсмана, вывернув наизнанку его фамилию – „Намсбор" – „дружок хулиганов, именующий себя гениальным поэтом". Но многозначительно помянул и нездоровые, упадочнические стихи некоторых юношей, растерявшихся перед НЭПом. Меня вызвали в правление дома Блакитного и предложили подготовить подробный отчет о творческой деятельности нашей организации, а также обсудить с товарищами „сигналы печати" и дать обоснованный ответ.

* Впоследствии он стал кинорежиссером Романом Григорьевым, сталинским лауреатом и директором киностудии.

На следующем собрании мы провели „чистку" и одним из первых вычистили предателя Кацмана за то, что он, ни разу не выступив у нас, побежал ябедничать в газету. Тодик обещал, что еще и зубы ему „почистит". Но осторожный зоил избегал встреч с нами.

Ответ написать не удалось. Возражать по существу было трудно. Началось лето, время каникул, отпусков и подготовки к экзаменам. „Юнь" распалась и о нас просто забыли.

Осенью возникло новое литературное содружество „Порыв". Заводилами в нем были Иван Калянник* и Сергей Борзенко**.

Иван, самый талантливый, да, пожалуй, и самый умный из нас, любил прикидываться этаким простачком-Иванушкой, наивным увальнем.

В начале он писал несколько „есенистые" стихи.

Ты прошла и плитки тротуара
Расцвели, как в поле васильки.

Потом он стал писать по-украински. Он работал в сталелитейном цеху разметчиком. На огромной плите размечал еще горячие отливки для первичной „черновой" обработки, о своей работе он рассказывал в стихах.

День починается так.
Трамвай.
Цех.
Плита!

* Иван КАЛЯННИК (1912-1937). Из Харькова уехал в Киев. Издал несколько сборников стихов. В 1937 г. был арестован. Погиб.

** Сергей БОРЗЕНКО (1917-1974). Во время войны стал фронтовым журналистом, участвовал в десанте на Крымском побережье; заменил убитого командира и с горстью бойцов удерживал „пятачок" пустынного берега от непрерывных немецких атак. За это его наградили звездой Героя Советского Союза. Последние 20 лет работал в „Правде". Мы иногда встречались в Доме литераторов, в театрах. И каждый раз он, улыбаясь и подмигивая, начинал декламировать мои старые стихи, которые я давно забыл. Осенью 1968 г. он был в Праге, писал лживые, казенно-патриотические корреспонденции. С тех пор мы не встречались. Когда я услышал, что он умер, полоснуло тоскливой болью. Вспоминал его улыбку: постаревший, потускневший, он улыбался как в юности – застенчиво и широко.

Сергей Борзенко был очень красив. Лицо и стать, как с цветной открытки „в русском стиле". Кудрявый чуб цвета свежей соломы; большие синие глаза. Говорили, что он похож на Есенина, только выше ростом и шире в плечах. Сережа добавлял: „А также классово, идейно здоровее". В отличие от всех нас, он был настоящим пролетарием – сыном и внуком рабочего, закончил ФЗУ и некоторое время работал молотобойцем. Есенину он подражал и в стихах и в одежде; иногда щеголял в голубой косоворотке, подпоясанной шнуром с кистями. И стихи он читал с тем надрывным распевом, который тогда называли есенинским.

И в тебя был влюблен я не очень,
Этот шепот навеял ковыль.
Я люблю очень синие очи,
А в твоих только серая пыль.

Он нравился многим девушкам, всем друзьям и самому себе. Непоколебимо убежденный в том, что станет знаменитым поэтом, он высоко ценил и таланты своих друзей, восхищался не только Ваниными, но даже моими стихами.

Однако и самое осторожное критическое замечание о неудачной рифме, о слишком уж замысловатом обороте вызывало у него печаль и ребячески откровенную обиду, либо драчливый гнев.

Однажды молодой критик из „Авангарда" назвал сомнительными две строчки его стихотворения:

Зимней ночью волнуется липа,
Как твоя обнаженная грудь.

– Зимой липы без листьев. И ночная, зимняя липа – это черное, угловатое переплетение веток и сучков. А в стихах, как я понимаю, речь идет не о скелете, не о мертвой женщине. Как же можно сравнивать обнаженную грудь живой возлюбленной с черным, холодным остовом?

Сережа вскочил, густо покрасневший.

– Это подлость! Сволочь!

Его едва удержали. Он был самым сильным из нас.

– Что значит „не зажимай критику"? Какой он критик? Ни черта не понимает ни в женщинах, ни в стихах, а лезет! Он клоп вонючий! Таких давить надо!

С первых же дней среди нас резко выделялись два неразлучных друга: Андрей Белецкий* и Роман Самарин**.

Андрей – сын известного филолога, будущего академика Александра Ивановича Белецкого, был молчалив, застенчиво улыбался одним углом рта, читал и говорил по-французски, немецки, английски, итальянски, знал древнегреческий и латынь, изучал санскрит. В его стихах звучали книжные, иностранные слова, античные и средневековые понятия. Он перевел на латынь „Интернационал", чем потряс всех нас, кроме Сергея.

– А кому это нужно? Язык ведь мертвый. Кто ж будет петь? На каком кладбище?

Мы воспринимали стихи Андрея почтительно; многое в них было непонятным или чужим. Критики пообразованнее говорили, что в них сказываются влияния парнассцев, Эредиа, Андрея Белого, Хлебникова... Я с завистью слушал такие речи, потом иногда разыскивал упомянутые книги, пытался сравнивать. Очень хотелось найти собственное мнение. Но благие порывы скоро иссякали, и, презирая себя, я снова откладывал на будущее серьезные занятия литературным самообразованием. А в очередном споре либо молчал „с ученым видом знатока", либо разглагольствовал многозначительно, впустую.

– Мне кажется, что все-таки это не подражание, а родственность традиций. Ведь и символисты (акмеисты, имажинисты, супрематисты, кого назвал предыдущий оратор) – не на пустом месте выросли. Я догадываюсь, почему товарищу могли послы-

* Андрей БЕЛЕЦКИЙ живет в Киеве. Профессор, автор многих работ по языкознанию и классической филологии.

** Роман САМАРИН (1911-1973). После войны переехал в Москву; в университете заведывал кафедрой зарубежной литературы, был деканом филологического факультета, заведывал сектором ИМЛИ. Его выдвигали в Академию Наук. В феврале 1947 года (когда меня на два месяца выпустили из тюрьмы), мы встретились на улице случайно. Он был дружелюбно приветлив. В 1956 г., после реабилитации, я имел право получить работу в МГУ, так как уходил на фронт из ИФЛИ, который стал факультетом университета. Он – декан – встретил меня вежливо-отчужденно. „Да, да, конечно, мы обязаны зачислить вас. Но все штатные места заняты. Вот, пожалуйста, список наших преподавателей. Укажите сами, кого уволить, чтобы предоставить вам место. Понимаю, что вы не согласны. Обещаю первую же вакансию в ИМЛИ". После этого мы уже почти не встречались.

шаться в этих стихах отголоски раннего Тычины (Блока, Маяковского, Пастернака, позднего Есенина, Зерова и т.д.), но мне кажется, что это по сути все же стихи другого порядка. Иные не только по содержанию, но по тону, по конструкции...

Однажды Андрей сказал, что прочитает новые стихи, и вынул из портфеля несколько аккуратно исписанных листов.

– „Персей и Андромеда”.

И заскандировал негромко, гундосо, но внятно.

Потом начали обсуждать.

– Грамотная поэмка, вполне грамотная, даже сильная. Но уж такое явное влияние футуристов! Прямо как „Пощечина общественному вкусу” или „Садок судей”. И слишком навязчивы аллитерации. „Частая сеча меча, сильна разяща плеча...” Да это же чистейшая хлебниковщина, вроде „Смейтесь смехачи”. На сегодняшний день – устаревшие фокусы...

– Тут говорили про Хлебникова, но я не согласен: считаю, что это скорее подражание раннему Маяковскому. Помните: „Прожженный квартал... рыжий парик... непрожеванный крик.”

– По-моему товарищи явно перехваливают. Стишки беспомощные: ...„чуть движа по земле свой труп” – чепуха совершенная! Никакие здесь не футуристические влияния, – а самая вульгарная есенинщина, только с классическими узорами. Персей, видите ли, и Анромаха... Ну, и пусть Андромеда – какая разница?! А все откуда? „Черный человек, черный, черный... Черная книга” и тэдэ и тэпэ.

Я хотел вступиться за Андрея. Стихи мне в общем понравились. Сравнения с Хлебниковым казались убедительными. Сердили разносные отзывы: „упадочный... чуждый... кабинетное рифмоплетство... дешевый модернизм... северянинщина...” Но только защищать значило бы лицемерить. Стихотворение и впрямь было очень далеко от нашей жизни, стилизовано под старину.

Пока я собирался, председательствующий Сергей объявил:

– Товарищ Белецкий просит слова в порядке ведения.

– Большинство критических высказываний, так сказать, о подражательности. Ссылаются на футуризм, имажинизм... Тут называли Белого, Хлебникова, Маяковского, Есенина и даже, кажется, Северянина. Это весьма интересно. Некоторые суждения, так сказать, несомненно оригинальны. Но я вынужден принести извинения; должен повиниться. Дело в том, что я позволил

себе некоторую, так сказать, мистификацию. Хотел экспериментально проверить степень, так сказать, объективности и компетентности в нашей критике. Я прочитал отрывки из поэмы, которую сочинил другой автор, который весьма, так сказать, далек от футуристов, от символистов, от Северянина...

Он достал из портфеля большой красный с позолотой том дореволюционного издания.

– Вот видите – Гаврила Романович Державин. Написано в 1807-м году...

Хохотали все, особенно зычно те, кто, как я, не участвовали в обсуждении. Но звучали и гневные возгласы.

– Это издевательство! Хулиганство! Зазнайство интеллигентское! Он себе мозоли насидел над книгами и насмехается с тех, кто не такие образованные.

Сережа стучал по столу карандашом, потом кулаком.

– Довольно! Тише! Хватит! С этим вопросом покончили. Переходим к следующему пункту. О поведении товарища Белецкого поговорим отдельно другим разом.

Роман Самарин, сыровато-пухлый, блиннолицый очкарик, сын профессора литературы, был менее образован, чем Андрей, но более общителен. Говорил он пришепетывая, подхихикивая, изысканно, даже витиевато, но любил подпускать и простецкие, народные словечки. Еще в школе, – он и Андрей учились в той же, что и я, – они оба даже внешне отличались ото всех. Носили береты, короткие брюки до колен и длинные чулки, ходили с тросточками и ровесникам, и даже младшим, говорили „вы".

Роман тоже сочинял стихи. В них энергично, уверенно двигались такие слова, которые были мне знакомы, но непривычны, – ученые, книжные, иностранные. Но у него они звучали естественно, само собой разумеющимися. И от этого стихи казались зрелыми. Его любимыми поэтами были Эредиа и Гумилев. Из современников он одобрял Ахматову, Вячеслава Иванова, Ходасевича, Тихонова, Багрицкого...

Когда мы поближе познакомились, он прочитал мне „по секрету" свою балладу „Ночная беседа".

...Возвращаясь вечером домой, поэт видит в передней на вешалке старую офицерскую фуражку и кожаный плащ. В полутьме комнаты его встречает некто „невысокий, бледный, сухощавый". Это Гумилев. Он говорит автору, что России предстоят

грозные испытания, „везде оружие везут по земле и воде"... Но обещает, что в конечном счете восторжествует русская держава.

Роман писал баллады о Бертран де Борне, о рыцарях, менестрелях, о крестоносцах. Он поведал мне семейную тайну: его мать, милая круглолицая Юлия Ивановна, происходила по прямой линии от Готфрида Бульонского.

Однажды Роман написал стихи, в которых обо мне говорилось:

Мой смуглый друг, играя черной тростью,
Мне говорил о девушках не строгих...

Поводом для этих строк послужил мой рассказ о знакомстве с настоящей проституткой. Это было именно только знакомство с чтением стихов Есенина и длиннейшими беседами о смысле жизни. А трость я завел, подражая Роману и Андрею. И тщетно пытался подражать им в учености, не успевая раздобывать те книги, о которых они говорили, как о давно о знакомых.

Роман прочитал в „Порыве" большую поэму „Емельян Пугачев". Она понравилась многим. Мы с Ваней хвалили. Но Сергей оставался неизменен в своей классовой неприязни. И когда я восхищался – Да ты послушай, как здорово звучит: „уздой наборной жеребца тираня", – он презрительно фыркал:

– Игрушки, побрякушки. Нарядные стишки. Пугачев был народный вождь. Герой. Революционер. А тут какой-то ухарь-казак из оперетты. „Емельян кудряв и пьян". Ты сравни с Есениным. У того, правда, идеологически не все как следует. Но сам образ Пугача – могучий. Размах есть.

Ближе всех к Андрею и Роману держалась Лида Некрасова*. Тоненькая, белорозовая, благовоспитанная. Она писала

* Лидия НЕКРАСОВА (1911-1977). После войны жила в Москве. Стала профессиональным переводчиком и литературоведом-африканистом. Переводила главным образом стихи поэтов Мозамбика, Анголы. Писала о них статьи, очерки.

Л.Некрасова, Р.Самарин и А.Белецкий в начале 1929 г. были исключены из „Порыва". По нашему уставу каждый член бюро становился на две недели очередным неограниченным диктатором и Сережа Борзенко использовал свою „диктатуру" для того, чтобы исключить их как „антисоветские элементы". Протестуя против этого, я ушел с собрания. И он вынес мне строгий выговор за „примиренчество и гнилой либерализм".

сонеты, казалось, похожие на нее, мелодичные, грустные, очень складные. Я пылко влюбился в нее не меньше, чем на два месяца. И, разумеется, доложил об этом в стихах. Она приняла их с благосклонной, но снисходительно отстраняющей улыбкой.

– Благодарю вас, Левушка, это очень мило.

18 ноября 1928 года я впервые „вышел в печать".

Отделом литературы ежедневной газеты „Харьковский пролетарий" заведовал Романовский, чахоточный добряк, притворявшийся злым насмешником. Он опубликовал стихи Ивана, Сергея, Лиды и одно мое „На смерть Роальда Амундсена".

В газете, которую прочтут тысячи людей, и знакомые, и совсем незнакомые, далекие, маленький – огромный! – столбец: мои стихи. Мое имя.

Радость была. Давно об этом мечтал. Долго ждал, надеялся. Отчаивался, опять ждал. Но радовался меньше, чем ожидалось. Напечатанными стихи оказались куда хуже, бледнее, нескладнее... Все же на какое-то время померещилось, что открывается, приоткрылась заветная дверь.

Амундсена я любил с детства. Летом 1928 года итальянский генерал Нобиле полетел на дирижабле через полюс. Этот перелет задумал Амундсен и раньше пытался его осуществить. Нобиле был одно время его партнером, потом рассорился и отправился без него. Дирижабль потерпел крушение.

На помощь вышли наши ледоколы „Красин" и „Седов", а с ними полярные летчики Бабушкин и Чухновский.

Амундсен, едва услыхав о бедствии, забыв о старости, болезнях и обидах, немедленно вылетел на маленьком гидроплане помогать, спасать. И погиб.

Об этом и написано стихотворение. Получилось оно высокопарным, сентиментальным. Но есть одна строка:

Человек спасает человека.

В 1972 году, когда я начал собирать материалы для получения литераторской пенсии, обнаружилась эта самая первая публикация. Читать было неловко, смешно. Однако эта строка побудила задуматься.

Многое с тех пор во мне изменилось – взгляды, убеждения, идеалы. Но

Человек спасает человека.

В этих трех словах можно менять порядок, времена, наклонения, падежи: „Спасал. Будет спасать. Спасай!...”

(Некогда Сын Человеческий был назван Спасителем).

Человек спасает человека.

Во все времена. Вопреки всем изменениям, заменам, изменам.

Раньше я подолгу забывал об этом. Так же, как забывал об Амундсене, о ребяческих мечтах. Теперь хочу помнить. Уже до конца.

Глава восьмая

РАСПУТЬЯ, ПЕРЕПУТЬЯ, БЕЗДОРОЖЬЯ...

Истину, хотя и печальную, надобно видеть и показывать и учиться от нее, чтобы не дожить до истины более горькой, уже не только учащей, но и наказующей за невнимание к ней.

Митрополит Филарет
(А.Ф.Кони „На жизненном пути")

...Наш долг рассказать о том, что с нами происходило. Нам не удастся объяснить, почему произошло так, а не иначе, но это не должно отпугивать от работы, по меньшей мере подготовительной для будущих объяснений.

Криста Вольф ("Kindheitsmuster")

В феврале 1929 года меня потрясло сообщение о высылке Троцкого за границу... Пусть он ошибался, пусть затевал внутрипартийные споры, даже самые ожесточенные. Но ведь все-таки в Октябре 1917 года он был главным помощником Ленина; он создавал Красную армию. И высылать его за рубеж, как белогвардейца, – это было уж слишком.

Листовки и брошюры, подписанные „большевики-ленинцы (оппозиция)", доказывали, что именно Троцкий, Пятаков, Смилга, Преображенский зовут партию на правильный путь. А Сталин и Рыков потакают кулакам, нэпачам и бюрократам.

О Бухарине я знал, что он самый симпатичный и самый свойский из всех вождей. Но прежде всего – теоретик, добрый мечтатель. Его книгу „Исторический материализм" я читал и перечитывал, видел в ней образец марксистской мудрости. Когда-то Бухарин был куда левее Троцкого. Но должно быть и его испортил НЭП. Он стал призывать крестьян „обогащайтесь", поверил, что кулаки могут „врастать в социализм". И в китайских делах напутал, прошляпил измену Чан Кай-ши. Из листовок оппозиции я узнал, что Бухарин, Рыков и Томский всерьез рассорились со Сталиным, хотели даже мириться с оппозицией. Бухарин приходил к Каменеву договариваться. Может быть, опять начнется дискуссия, как в 27-м году, но более широкая, более честная. И тогда станет ясно, кто прав.

Как именно представлял я себе тогда будущее? С легкой руки Маяковского, писавшего стихи о встречах с Пушкиным, Лермонтовым и с Лениным, разговоры с великими покойниками стали модой. Светлов беседовал с Гейне, а Рома Самарин с Гумилевым. Такие стихотворные спиритические сеансы подвигнули и меня написать о встрече с Гракхом Бабефом. Он очень одобрил деятельность ленинской оппозиции, предостерегал от термидора, сравнивал Троцкого с Робеспьером, а Сталина с Дантоном и предсказывал победу революционных сил.

А ваш Дантон уйдет далеко, –
Ну хоть в тифлисский ВСНХ.
И взреет самолетов клекот.
И вновь поднимет ввысь Москва
Над миром боевые стяги
Пробьет великий час
У стен Варшавы, Риги, Праги,
Ликуя, братья встретят нас.

(Кто мог бы тогда взглянуть в будущее и догадаться, куда вели дороги, вымощенные такими стремлениями и мечтаниями?)

И так, в дни наибольшей близости с оппозиционерами, я видел в Сталине только новый вариант Дантона, – то есть честного, но „ошибающегося" революционера. Считал его „настоящим большевиком". Однако листовки оппозиции, такие, как „Завещание Ленина", которое раньше почему-то скрывали от партии, запись беседы Бухарина с Каменевым, брошюры „Платформа объединенной оппозиции", „Критика программы

Коминтерна" и др., а также Марк и его друзья убеждали меня, что Сталин – ограниченный, властолюбивый бюрократ. Он вообразил себя лучшим учеником Ленина, хотя в теории смыслит меньше, чем все другие вожди. Но он опытный и бессовестный аппаратчик и, действуя хитростью, демагогией, сначала вместе с Зиновьевым и Каменевым осилил Троцкого, потом вместе с Бухариным и Рыковым перехитрил Зиновьева и ленинградцев, а теперь выпихивает Бухарина и Рыкова, чтобы стать единоличным диктатором. Но я думал, что, если его снять с высокого поста и „перебросить" на низовую работу, он еще исправится.

В отличие от Марка, который считал последовательными ленинцами только ленинградцев, меня привлекали героические мифы Троцкого и его приверженцев, таких, как Иван Смирнов – „совесть партии", Кристо Раковский – международный революционер, Григорий Пятаков, Смилга, Федор Раскольников и другие бывшие командиры и комиссары гражданской войны.

Однако, едва ли не сильнее всех теоретических рассуждений и новообретенной веры в программу оппозиции действовал еще соблазн *подполья*, революционной конспирации. По существу, тот же азарт, с которым немного раньше мы придумывали пионерские военные игры, играли в „казаков и разбойников".

Марка и нескольких его приятелей из „городского центра" арестовали в начале марта. Я продолжал распространять листовки, ходил на „явки". 29 марта пришли и за мной. Как положено – среди ночи. Мама плакала, отец был растерян, бледен. Саня таращился спросонья, ничего не понимал. Во время обыска я просто сел на свой портфель, в котором среди книг и тетрадей лежало несколько листовок. Портфеля не заметили. Забрали у меня только старые издания книг Троцкого, Пятакова, Преображенского, брошюру Сталина „Вопросы ленинизма" издания 1924-го года, в которой говорилось, что „построение социализма в одной стране – антимарксистская утопия". Увели меня двое парней в длинных шинелях и буденновках и красноармеец с винтовкой. Шли пешком несколько кварталов по тротуару предрассветной Чернышевской улицы. Я волок нескладный узел – мама заставила взять одеяло, подушку, уйму еды – и доказывал спутникам, что Сталин обманывает партию, что кулаки и нэпманы богатеют, а бюрократическое государство эксплуатирует рабочий класс.

Уполномоченный возражал:

– В государстве должон быть порядок... А что говорит вся партия?.. Дисциплина есть дисциплина...

В здании ГПУ на углу Чернышевской и Совнаркомовской меня обыскали поверхностно. Листовку, оставшуюся у меня в кармане, я успел свернуть трубочкой и сунуть за подкладку в прорешку брюк.

В камере яркий свет. Четыре двухэтажные койки. Когда меня ввели, я спросил тоном бывалого деятеля: „Большевики-ленинцы есть?" Кто-то откликнулся сверху: „Я децист* с „Серпа и молота". Остальные вроде ваши, но уже спят. Сегодня большая выемка, слышишь, все время ведут".

Через час нас – человек двадцать – увезли в „черном вороне" в ДОПР №1 на Холодную гору. Только начинало рассветать. Внутри железной машины было холодно и темно. Трясло на булыжной мостовой. Вокруг меня переговаривались, перешептывались, узнавали друг друга, перечисляли общих знакомых: кого когда взяли, кто „отошел" – то есть подписал заявление, осуждающее программу оппозиции. Я спросил о Маре. О нем кто-то слышал: „Это из городского центра, теоретик". Двое парней запели на популярный в то время мотив:

Добрый вечер, дядя Сталин,
Ай, ая-ай,
Очень груб ты, не лойялен,
Ай, ая-ай,
Ленинское завещанье,
Ай, ая-ай,
Держишь в боковом кармане,
Ай, ая-ай.

В камере нас оказалось трое – рабфаковец Миша К. и член „Порыва" Боря Ш.

Допрашивали меня всего два раза. Я спорил с лысоватым скучающим следователем о перманентной революции. Гордо вытащил спрятанную листовку – „вот как мы умеем!" Отказался назвать товарищей. Следователь пугал меня лениво, глядел презрительно.

– Что вы понимаете? Набрались из листовок и книжек

* Оппозиционная группа „ДЦ" – демократического централизма, впервые выступила в 1923 году.

всякой муры, а мы кровь проливали за Советскую власть. Вы с жиру беситесь, мелкобуржуазное кисляйство разводите. Ваш Троцкий никакой не ленинец и никогда им не был. Наполеона из себя строил. А теперь вот в буржуазной печати выступает. Что вы мне тычете „Сталин! Ленинское завещание...”? Вся партия Троцкого осудила и Сталину доверие оказала. А вы под ногами путаетесь. Ладно, идите, подумайте. Если дадите подписку, что отходите от оппозиции, что осуждаете выступления Троцкого за границей, сразу же отпустим.

– Ничего я не буду писать.

– Тогда поедете в ссылку, не меньше пяти лет. А будете нахальничать и скандальничать, отправим в политизолятор.

– Это вы называете убеждать, бороться за генеральную линию партии? Вы угрожаете, давите... Неужели вы можете поверить в искренность отхода под угрозой?..

– Не будет искренности, опять посадим.

Протокол был составлен по моему дневнику, аккуратно переписали: такого-то числа Х сказал, такого-то числа передал У большой привет.

Семнадцать лет спустя в тюрьмах Бреста, Орла, Горького и в самой благоустроенной из всех – Бутырках, странно было вспоминать эту первую мою тюрьму. Четырехэтажное кирпичное здание. Внутри узкие железные галереи. Вдоль них камеры; на переходных мостках площадки с постами дежурных. Крутые железные лестницы. И все пространства между галереями затянуты частыми проволочными сетками. А в крыше стеклянные фонари, как в больших магазинах.

В квадратной чистой камере стены зеленые снизу и белые сверху; три койки „покоем”. Окно высоко, но без щитка. Напротив, через стену, виден корпус блатных, оттуда весь день, а то и по ночам раздавались песни: „Ты помнишь ли, детка, те темные ночи...”, „Позабыт, позаброшен...” Время от времени блатные били стекла. Надзиратели жаловались – каждый день вставлять приходится. Парашей мы не пользовались, требовали, чтобы дежурный водил в уборную. Кормили невкусно, но сытно. Обед был всегда мясной: борщ и лапша или каша с котлетой. Через день я получал передачу, кроме того – каждое утро приносили „ларек”, можно было купить колбасу, французские булки, конфеты, папиросы. С собой в камере разрешалось иметь не

больше трех или пяти рублей, в ту пору немалые деньги. Каждый день приходил библиотекарь: „книжки менять будете?" Он же продавал газеты и журналы.

Прогулки длились по двадцать минут. Мы перестукивались с соседями. Время от времени надзиратель громко кричал: „Кто там стучит, в карцер захотел?"

На третий день в тюрьме началась „обструкция" или „волынка". Сверху раздался крик: „Товарищи, требуйте прокурора, требуйте открытых камер, требуйте выбора старосты". И сразу же со всех сторон начали стучать в дверь табуретками, кружками. Из камеры в камеру перекрикивались: „Володя... Сема... Майя... Аня... Где ты сидишь? Кто с тобой? Где Андрей?" А вперемежку орали: „Жандармы! Фашисты! Требуем прокурора! Требуем старост! Откройте камеры!"

Зычный голос прервал галдеж: „Говорит дежурный по тюрьме. Товарищи! (Так и говорил – „товарищи"). Успокойтесь! К концу дня будет прокурор". И снова командный глуховатый голос из верхней камеры: „Товарищи! Даем срок до шести вечера. В шесть часов вечера начинаем снова обструкцию. Сверим часы."

(Несколько лет спустя заключенным уже нельзя было иметь часы в камере.)

...Ровно в шесть галдеж начался еще сильнее. Но скоро его стали прерывать надрывные крики, уже не из камер, а с галерей: „Товарищи, меня уводят... не смейте бить! Руки прочь!.. Сталинские жандармы! Фашисты!" Орали и мы.

Щелкнул замок. В камеру вбежали не надзиратели, а бойцы в синих буденновках и зеленых гимнастерках. Меня схватили за обе руки – „Марш в карцер!" И сразу же вытащили из камеры.

Вдоль галерей гуськом, цепочками бежали парни в буденновках. А двери камер грохотали. Сверху, снизу, с разных сторон крики: „Требуем старосту!.. Открывайте камеры!.. Да здравствует товарищ Троцкий, вождь мировой революции!.. Позор сталинским жандармам!"

Меня столкнули вниз по крутой железной лестнице. Бойцы, стоявшие на ступеньках, перебрасывали меня, как грузчики мешок. Не злобно и торопливо.

Карцер был в подвале. Узкая каморка, полутемная, холодная. Маленькое оконце под самым потолком. Вместо койки –

остов из железных полос на коротких столбиках, вбитых в асфальтовый пол. Лежать и больно и холодно. Всю ночь курил. Покончив со своими папиросами, подбирал с полу мокрые окурки. Раньше сидел кто-то нервный, не докуривал. Утром отказался взять хлеб – объявил голодовку. Мучительно хотелось есть, несмотря на смрад параши и мерзостный вкус окурков. Через сутки вернулся в камеру.

В тюрьме я пробыл десять дней. Освободили меня как раз в семнадцатый день рождения, взяв „подписку о невыезде"*.

Осенью и зимой 1929/30 г.г. я работал на станции Основа вблизи Харькова заведующим и преподавателем вечерней школы для малограмотных, в которой учились рабочие депо и работницы столовой. Самый младший из учеников был на десять лет старше меня.

Занятия бывали только четыре дня в неделю, у меня оставалось много свободного времени, и я продолжал сочинять стихи, писал заметки, статьи, частушки для местной многотиражки и для городских газет. Писал и по-русски, и по-украински; прославлял лучших учеников моей школы, обличал пьянчуг, прогульщиков, бюрократов...

Не веря уж, что могу быть поэтом, я хотел стать журналистом, литератором „на все руки". Это только помогло бы в будущей революционной деятельности. И очень хотелось печататься.

Магнитная сила печатной строки, волшебный „эффект Гутенберга", возникает, должно быть, из древнейшей тоски по бессмертию. Из той же потребности оставить *свой след* в мире, которая возводит надгробные монументы, побуждает запечатлеть имя хотя бы в инициалах на партах, на камнях примечательных сооружений, на крутых скалах, на стенках тюремных камер...

Из основнянского депо в подшефные села выезжали комсомольские агитбригады. Я еще не был комсомольцем, однако считался „профсоюзным ликбез-активистом", и несколько раз меня включали в такие бригады.

Шла коллективизация. Готовилась „первая большевистская

* О том, что происходило со мной в последующие месяцы, рассказано в книге „Хранить вечно", Энн Арбор, 1975г.; глава 17, стр.263-279.

посевная". Приезжие агитаторы носили по хатам газеты и брошюры; неграмотным читали вслух и сами рассказывали о международном положении, о великолепных благах, которые сулит новая колхозная жизнь.

В феврале и марте в некоторых деревнях были волнения – „волынки".

Наезжала конная милиция и воинские части НКВД. В тех местах, где бывал я, обошлось без выстрелов, без кровопролития. Но эшелоны раскулаченных и „подкулачников" – так называли тех, кто сопротивлялся коллективизации – все гнали и гнали на Север.

Длинные составы теплушек. В дверных проемах стояли красноармейцы с винтовками. За ними в полутьме копошились едва различимые люди в темном. Плач детей прорывался сквозь рокотание колес.

В деревне Охочая новосозданным колхозом командовал двадцатипятитысячник Чередниченко – „кривой комиссар". На месте правого глаза у него розовел бугорчатый продолговатый шрам, захватывавший часть лба и скулы.

– Это пан-улан рубанул. Я пулеметчиком был; первый номер. Под Варшавой на лесной дороге они нас дуриком устерегли. Выскочили с двух просек, „Виват!" – и давай рубать, как капусту. Мой ездовой растерялся; кони рванули; тачанка завалилась боком в канаву. Максим торчит в небо, хоть ангелов стреляй. Мы за карабины, за наганы... Тут он меня и вдарил, чуть башку надвое не развалил. Я и не вспомню, какой он был, тот пан-улан. Очунял аж только через две недели в лазарете. Никто и не мечтал, что живой буду. Все лекаря и сестры говорили: „Мы с тобой, хлопец, чудо сделали!" Так что я вроде чудотворная икона.

Он работал на заводе „Серп и молот" бригадиром слесарей-лекальщиков, постоянно избирался в партком, в завком, был членом горкома партии. Но из цеха не уходил; гордился репутацией лучшего мастера.

– Я своим одним рабочим оком лучше вижу, чем другой четырехглазый спец-очкарик.

Когда его вызвали в партком и сказали, что направляют в село, Чередниченко сперва упирался:

– Не люблю я дядьков-гречкосеев. Не верю им. Каждый

только за себя, за свою хату с краю да за свое майно и гроши. А я пролетарий с деда-прадеда и в ихнем навозном хозяйстве ни бум-бум. И мовы ихней толком не знаю, хотя фамилие мое и на „енко".

Ему объяснили, что такие разговорчики пахнут уклоном в троцкизм, что он не смеет отпихиваться от высокого доверия партии. И ему не просто честь оказывают. Как бывший конармеец он обязан понимать – это боевое задание. На селе теперь – фронт, вроде как опять гражданская война. Классовый враг поднял голову и клыки показывает.

Направили его в русскую деревню Охочую, где жили потомки аракчеевских военных поселенцев. С первых же дней Чередниченко стал полновластным диктатором и через неделю завершил сплошную коллективизацию.

– У меня главное – решительность. И внезапность. Чтоб никто не поспевал бузы тереть. Даешь колхоз безо всяких-яких. Коней и коров собрали в четырех дворах. Три – бывших кулацких, один – совхозный. „Сов" – значит советский. Ну, так и помогай по-советски. Плуги, сеялки, весь реманент – тоже до кучи. Кузнеца назначил главным механиком. Он – свой парень, был в партизанах. Бригадиры и десятники – все с бывших красноармейцев – должны понимать дисциплинку. Приказал, чтобы за конюхами и бабами, которые коло коров, следили строго. Чтоб там кормили, доили, мыли-чистили. Все как положено. Без опоздания, без халтуры! И еще чтоб не допускать никого до тех лошадей, до тех коров, которые раньше ихними были. Потому надо сознательность воспитывать. Раз все общее – отвыкай от частной собственности. Вот только для свиней, овец, гусей, курей пока еще нет таких мест, чтоб всех собрать. Мелкая худоба у нас пока еще по-старому врозь. Но зато наладили учет, – сколько чего есть, – все на карандаш, до цыпленочка. А то ведь по другим деревням резать стали. Нехай лучше пропадает, но чтоб колхозу не досталось. Вот ведь вражины, куркульские души.

В Охочей была церковь, куда приходили и жители нескольких ближайших деревень. Настоятель – молодой благочинный – часто разъезжал по округе, навещал больных прихожан и других священников. Чередниченко говорил о нем сердито, но с уважением.

– Хитрый поп, ох, и хитрый. Можно сказать, даже шибко

умный. Политик, сучий сын. Он свою линию так ведет, что вроде и притянуть его нельзя. Даже проповеди говорит за колхозы. Доказывает, что они, значит, евангельскому завету соответствуют. Чтоб не было ни богатых, ни бедных; чтоб все вместе, как братья, как сестры. А тишком, гадюка, пускает агитацию. И на исповедях, и так, в разговорчиках, и через свои кадры. У него такие бабки-старухи в боевом строю – нашему агитпропу только завидовать. И агитация получается хитрая: в колхозы нехай идут все, кто зажиточные, не то их раскулачат и на Сибирь пошлют. А кто бедняки-батраки, могут и совсем не ходить; их власть и так не тронет. Они ж вроде как советские дворяне. Вот ведь сволочь, что придумал!

...Вечером Чередниченко и несколько активистов отправились к священнику домой. Вошли кучей, не вытирая ног, не снимая шапок. Протопали прямо в столовую. Хозяин встретил их спокойно, даже приветливо.

– Пожалуйте, гости нежданные, но весьма почтенные. Прошу садиться. Не побрезгуйте стаканчиком чая с домашним вареньем.

– Мы пришли к тебе не чаи гонять.

Чередниченко отвернул полу шинели, вытащил из кармана галифе пистолет и подбросил на ладони.

– Что это такое, знаешь?

Матушка, застывшая у самовара, тихо ойкнула. Священник смотрел невозмутимо.

– Я в оружии несведущ. Но это, кажется, браунинг.

– Угадал. А в нем семь зарядов. Так вот, все семеро в твоем брюхе будут, если завтра до света не уберешься из села. И если потом узнаю, что где-то поблизко ошиваешься. У меня одно око, но вижу далеко. Так вот, чтоб и духом твоим в районе не пахло.

– Почему? За что? Ваши угрозы противозаконны. Церковь отделена от государства, но советские законы охраняют права...

– А ну, заткнись, гад... твою господа-бога мать, присноделу и всех архангелов, апостолов и сорок святителей в кровавые глазки! Ты это видишь? Так это и есть и закон и права. И юстиция и полиция. Шлепну, как поганую собаку, а там уж нехай меня судят. По закону.

– Я буду жаловаться. Это насилие.

– Вот и тикай жаловаться. Давай, паняй на Харьков в ВУЦИК, а еще лучше на Москву в ЦИК. Нехай Петровский и Калинин тебя законно жалеют, а я жалеть не буду. Завтра, до света, шестеро конных проводят тебя на станцию. Запрягай свои сани, грузи свое барахло, все, что схочешь. Наши хлопцы помогут и багаж сдать. А все, что останется, – и коняка, и скотина, и дом – пойдет в колхоз. Ты ж сам доказывал, что так по Евангелию положено: раздай свое имущество, „блаженны алчущие и жаждущие"...

– Блаженны изгнанные за веру...

– Кончай трепаться. Ты еще нас агитировать будешь?! Я вашу поповскую науку еще пацаном ненавидел.В ремесленном поп хуже всех городовых был. „Возлюбите врагов ваших, дети мои!" А доносил, гад, и директору и жандармам. Нас, пацанов, секли, как сидоровых коз, а отцов с завода выгоняли...

– Значит худой был пастырь и худой человек.

– Не худой, а потолще тебя, трепача бородатого. Хватит, кончили разговорчики. Точка. Приказ ясный: чтоб завтра до свету... Повторять не буду.

– Вынужден подчиниться насилию. Но буду жаловаться непременно.

Это говорилось уже в спины уходившим. Они зычно пересмеивались, грузно топали и смаху грохнули дверью.

Утром священник уехал. Его почти до станции провожала стайка плачущих женщин.

После статьи Сталина „Головокружение от успехов" в соседних селах сразу же начали возвращать обобществленных коров. Кое-где и целые семьи выписывались вовсе из колхозов – Москва позволяет! – и требовали обратно своих лошадей, свои плуги, бороны, посевное зерно.

Чередниченко разрешил вернуть коров тем, кто „сильно хочет, кто еще несознательный". Но даже не допускал мысли о выходе из колхоза.

– Перегибы?! Перекручення?! Ну, может, и были какие перегибы. Там, с Москвы, виднее. Что ж мы теперь, недогибы закручивать будем? Может, куркулей обратно повезем?

В Охочей тоже началась „волынка". Толпа женщин осадила колхозные конюшни и амбары. Они плакали, кричали, вопили, требуя вернуть коров и посевное зерно. Мужики стояли

поодаль, кучками, угрюмо безмолвные. Некоторые парни были с вилами, кольями, виднелись и топоры за кушаками. Перепуганный кладовщик убежал: бабы сорвали замки и уже вместе с мужиками стали вытаскивать мешки зерна.

Председатель сельсовета, секретарь ячейки, колхозные бригадиры и активисты заперлись в школе. Их не трогали. Жены и матери беспрепятственно носили им харчи. Чередниченко и двое уполномоченных райисполкома запрягли колхозную пролетку „гитару" и укатили из деревни. По густой грязи, перемешанной с талым снегом, ехать было трудно. За ними побежали несколько парней с кольями. Чередниченко выстрелил в воздух. Парни остановились. Один крикнул:

– Давай, давай, тикай, кривой черт! И больше не вертайся! А то и другой глаз вышибем. Бандит... твою мать!

В районнном центре паниковали. Прибыл конный дивизион НКВД с пулеметными тачанками. Вечером в райкоме раздался телефонный звонок. Звонил из Охочей уполномоченный ГПУ.

– Говорю из сельсовета. Слышите, какой галас? Это они тут списки шукают. Все шкафы поразбивали. А на улице костер. Жгут все бумаги, какие нашли. Нет, меня никто не трогает. Так и хожу при форме с маузером. Они говорят, что не против Советской власти, а только против комиссаров-перегибщиков. Где там Чередниченко? На него очень злые. Ему лучше не приезжать. Все руководство в школе сидит. Нет, никто не пострадал. Я тоже там ночую. Но выхожу только один. Местные опасаются. А тут уже старосту выбрали, старичка-бедняка. Даже старая цепь нашлась с орлом на бляхе. Правда, корону сургучом залепили...

Через три дня в Охочую вступила полусотня конных милиционеров с пулеметной тачанкой. Старичка-старосту, кладовщика и еще нескольких заводил арестовали и увезли.

Созвали всех колхозников на площадь перед церковью и школой и выбрали нового председателя колхоза. О Чередниченко уже и не вспоминали. Райком направил его в другую деревню. Новый председатель, местный активист, бывший красноармеец, говорил:

– Так что, граждане-товарищи, считайте, волынка кончилась. Вот соседи наши, в Терновой, кричали: „Терновая не сда-

ется! Мы и без Советов проживем!" Даже городских товарищей побили. Кого, может и за дело, а кого и так, совсем ни за что. И теперь у них сколько мужиков на Сибирь погонют. А мы, граждане-товарищи, должны понимать. Советская власть, она все-таки за мужика. Были, конечно, ошибки, эти самые кружения головы и вообще перегибы. Но артель у нас теперь навсегда. Никуда от нее не денешься. Значит, надо, как у нас в Охочей с дедов-прадедов заведено: „коль пить, так пить, коль бить, так бить, а коль работàть, так работàть". Так что, значит, давайте работàть.

О Чередниченко я больше не слыхал. Если он и пережил 33-й год, то вряд ли пережил 37-й.

...Харьковское представительство „Комсомольской правды" поручило мне раздобывать поздравления к пятилетию газеты.

Я получил удостоверение на бланке редакции, действительное от... до... в течение 20 дней. И с этим единственным документом ходил в Окружком партии и в ЦК. Тогда еще и в самые высокие партийные учреждения можно было войти без пропуска.

Секретарем Харьковского горкома и окружкома был Постышев.

В приемной толпилось много посетителей. Но ждать долго не пришлось. В кабинет входили сразу по нескольку человек. И никто не задерживался. Я вошел с двумя представителями какого-то завода, тащившими пухлые папки. Постышев сидел за обыкновенным канцелярским письменным столом. Худощавый, скуластый. Сероватые волосы ежиком над бледным лбом. Живые серые глаза. Вышитая украинская рубашка. Говорил сильно „окая".

– Откуда тОварищи? Так, так... Ну, тОгда давай ты. У тебя, видать, делО пОкОрОче. Юбилей, гОвОришь. Уже пять лет! СкОрО гОды бегут. КОгда этО приветствие-тО нужнО? ДО завтра пОтерпишь? Ну и хОрОшО. ПрихОди утрОм.

На следующее утро секретарь Постышева, парень в гимнастерке, дал мне большой заклеенный конверт.

– Вот, бери, читай. Павел Петрович велел, чтоб тут же сказал, какие нужны поправки или дополнения. Я внесу и дам перепечатать. Он сегодня пораньше на заводы поехал. Скоро вернется и тогда подпишет.

Прочитав короткий текст, в котором были все положенные похвалы и пожелания, я вполне удовлетворился и не стал придумывать никаких поправок.

На лестнице я встретил Постышева, который поднимался, разговаривая с двумя спутниками. Он заметил меня:

– Ну что, прОчитал? ПОправляли там чегО-нибудь? Значит, уже забрал? ВыхОдит, все хОрОшО? Ты, мОжет, стесняешься или бОишься: прОвОлОчка будет? Не бОйся! Мы все, чтО надО, быстрО сделаем, не задержим. Считаешь, все хОрОшО? И в смысле размера, масштаба дОстатОчнО? Ну, тОгда лады. Привет кОмсОмОлу!..

В приемной С.Коссиора дежурный секретарь мне не понравился. Франт в кургузом пиджачке с галстуком и в остроносых, надраенных полуботинках. Явственно „переродившийся аппаратчик".

Он сухо сказал:

– Товарищ Коссиор сейчас занят. Оставьте письменное заявление и зайдите или позвоните вечером.

Я сел к столу и написал пространное заявление. Секретарь несколько раз выходил и возвращался через боковую дверь. Закончив писать, я заметил, что его нет, вошел в ту же дверь и оказался в кабинете Коссиора. Там шло заседание. За большим письменным столом лоснилась круглая лысая голова Коссиора, вдоль длинного суконно-зеленого стола и на диване у стены сидело человек двадцать.

Бородку Скрыпника я узнал сразу. И рядом с ним густо кудрявую шевелюру и пенсне Затонского. Были и еще портретно знакомые лица. Коссиор заметил меня и спросил раздраженно:

– Это еще что такое? Что вам нужно, товарищ?

– Я от „Комсомольской правды"...

– Вы что же, не видите? Заседает Политбюро. Сейчас же выйдите. Товарищ Килерог, что там у вас – приемная или проходной двор?

Дежурный секретарь, покрасневший, зло шипя, теснил меня.

– Как вам не стыдно? Я ж вам сказал – оставьте заявление. Это недопустимо – врываться на заседание Политбюро. Никакой дисциплины.

– Так я же не знал... Я понес заявление вслед за вами.

Мне очень хотелось сказать, что я думаю о пижонах-бюрократах, перерожденцах, аппаратчиках. Прошел всего год с тех пор, как я перестал сочувствовать „левой" оппозиции. Но главной задачей было получить приветствие. И я оправдывался не только вежливо, а еще и симулируя растерянность, испуг наивного паренька-юнкора.

Он взял мое заявление, продолжая сердито распекать:

– Вы что, не понимаете, что здесь не ячейка, не пионеротряд. Здесь Центральный Комитет! Политбюро! Штаб партии! Это ж надо соображать. Ладно, ладно. Идите! Будет вам приветствие. Я доложу членам Политбюро... Позвоните завтра... Срочно, срочно? Если так срочно, приходили бы раньше. Ладно, я постараюсь выяснить сегодня... Это ж должен быть партийный документ, а не филькина грамота, раз-два и готово. Если хотите ждать, сидите там на площадке. В приемной нельзя. Вы меня уже и так подвели...

Он казался мне достойным только презрения. Его неприязненная вежливость, – он говорил мне „вы", как беспартийному, – была отвратительна. В ответ я, разумеется, тоже „выкал". И не верил никаким обещаниям: раз бюрократ – значит, волокитчик. Сказав, что буду ждать за дверью, пока не дождусь точного ответа, я вышел в большой зал, где стояли диваны, кресла, несколько столиков. Уселся поудобнее, вытащил книжку из портфеля, который таскал для солидности, и стал читать.

Вскоре я заметил девушку в белом переднике, которая несла поднос с батареей стаканов чая, горками бутербродов и пирожных. Она прошла в приемную Косиора. Дождавшись, когда она выйдет обратно, я спросил, пойдет ли она туда еще раз.

– Так они ж все время пить хочут. Заседают. Говорят, говорят, глотки сохнут. Ну, и поесть охота. Я за 15-20 минут еще понесу.

Она согласилась передать записку Затонскому. На листке с грифом „Комсомольской правды" я написал вдохновенный призыв к дорогому Владимиру Ивановичу откликнуться на юбилей „Комсомолки", которая ведь немало помогает делу народного просвещения.

Выяснилось, что девушка в переднике, – звали ее Клава, моя ровесница, что она иногда читает „Комсомольскую правду", собирается учиться на инженера фабрики-кухни, живет

с мамой; отец умер; братьев-сестер нет; она любит кино, трубочки с кремом, не любит танцевать...

Она поставила мне стакан чая с лимоном, дала бутерброд с колбасой и кремовую трубочку.

– Ничего не плати. Здесь все бесплатно едят. Только домой забирать нельзя. А тут ешь, сколько хочешь. Я еще принесу.

Через несколько минут вышел Затонский, громоздкий, рассеянный:

– Какая тут „Комсомолка" мне писала? Ах, это ты! Это ты сейчас на заседание влез? Ну и комсомольцы пошли настырные, на ходу подметки режут! Так что ж тебе нужно? Приветствие к юбилею? Добре, почекай полчасика... Ну, может, немного больше. Тут сейчас мои вопросы на повестке. Потом напишу.

Моя благодетельница принесла еще чаю, еще бутербродов. Выяснилось наше полное единодушие по ряду существенных жизненных проблем: что в кино стоит ходить только на хорошие картины, что заграничные фильмы, в общем, буза, хотя есть смешные, а у нас пока мало хороших, однако, такой великолепный фильм, как „Закройщик из Торжка", стоит дюжины макс линдеров, что народные и революционные песни лучше романсов, а танцы – пустое времяпровождение.

Она призналась, что хотела бы стать киноартисткой, но учительница в школе объяснила, что для этого нужно иметь очень большой талант, и для девушек это вообще опасно. К артисткам все пристают, особенно начальство. И для здоровья вредно все время ходить перемазанной, перепудренной и пускать в глаза какие-то капли, чтобы зрачки побольше.

Затонский вынес мне два листка из блокнота с грифом „Народный комиссар просвещения", густо исписанные карандашом. Это было дружеское приветствие боевой газете комсомола, пожелание еще активнее, еще интереснее, еще живее бороться, освещать, мобилизовать и т.д. и т.п.

Он стоял надо мной, пока я читал.

– Ну как? Добре? Да чего там „спасибо, спасибо". Я „Комсомолку" читаю. Хорошая газета. Так и написал... Ну, бывай здоров.

Выходил и франт-секретарь по своим делам.

– А, вы все еще сидите? Так вам срочно приспичило?

Но потом он вышел уже прямо ко мне.

– Приветствие вам есть от Политбюро. Завтра с утра я

дам на машинку перепечатать и на подпись. Приходите часам к одиннадцати.

О встрече с Постышевым, о том, как выгодно отличалась вся обстановка в его приемной и в кабинете от „нарядного бюрократизма” ЦК, я потом часто рассказывал друзьям и приятелям.

Летом 1930 года меня назначили редактором радиогазеты на Харьковском паровозном заводе им. Коминтерна – там недавно был создан радиоузел. Начальником и одновременно инженером, техником и мастером был Сергей Иванович, пожилой радиолюбитель. Он самоучкой освоил радиотехнику и с помощью двух молодых учеников, таких же энтузиастов, оборудовал радиостанцию в небольшом флигеле у завкома, установил радиоточки во всех цехах, в столовой, во дворах и в некоторых жилых домах заводского поселка.

Сергей Иванович жил на радиостанции. А домой ходил только иногда пообедать и переночевать.

– Моя старуха не обижается. Привычная уже. Знает ведь, что не с девками прохлаждаюсь. А тут, на узле, нужен постоянный хозяйский глаз. Тут и украсть и испортить легче легкого. Радио – тонкое дело. И техническое, и политическое. Умная баба к технике не ревнует. А с дурой я бы жить не стал.

Радиовещательной студией служила тесная каморка, плотно завешанная холстами и мешковиной. Сначала я просто читал заметки из многотиражки „Харьковский паровозник”. Но вскоре обзавелся собственными рабкорами, ходил по цехам, узнавал, кто лучшие производственники, кто прогульщики и бракоделы, как выполняются дневные и недельные планы.

Моими наставниками и помощниками были старые приятели – „Порывцы” – Ваня Калянник и Ваня Шутов, которые стали штатными сотрудниками заводской газеты. Именно они и перетянули меня из депо на завод.

Сергей Иванович очень благосклонно относился к „своей” газете. Она явственно подтверждала полезность, важность его любимой радиотехники. К тому же все мы помогали ему выцыганивать в дирекции, в завкоме деньги на новые детали, новое оборудование и специальную литературу. Раньше он вкладывал в это немалую часть своей зарплаты. Впрочем, и позднее не скупился.

– Моя старуха не обижается. Говорю же вам, что умная баба. Понимает, что это лучше, чем на водку тратиться. И для здоровья полезнее.

В первые дни я исправно показывал в завкоме все, что собирался передавать. Я приходил в узенький кабинет культсектора, который осаждали цеховые культработники, представители подшефных школ, пионеротрядов, красных уголков, библиотек, гости из вышестоящих профсоюзных организаций, агенты по распространению газет и журналов, энтузиасты-затейники из клубов, театров, живых газет, организаторы культпоходов и просто жалобщики, врывавшиеся в каждую дверь завкома, взывая о помощи, требуя управы на мастера, нормировщика, бухгалтера, коменданта общежития.

Стараясь перекричать всех, я проталкивался к столу завкульта.

– Товарищи, пропустите! Срочно! Через полчаса радиогазета выйдет в эфир. Радио вне всякой очереди! Аллюр – три креста. Товарищи, будьте сознательны.

Завкультсектором, замороченный, рассеянный, перелистывал папку, которую я клал перед ним. Сергей Иванович научил меня печатать каждую заметку на отдельном листе, чтобы не путать при передаче. И папка очередного выпуска радиогазеты была толстой. Завкульт поначалу спрашивал, давал „руководящие указания":

– Мало у тебя про сборку... Нужно больше фамилий называть лучших ударников.

Но недели через две он сказал:

– Хватит тебе бегать согласовывать. Не маленький: уже сам с усам. Освоился? Справляешься? Ну и принимай ответственность, как положено ответственному редактору. И отчитываться приходи раз в неделю или раз в декаду.

Так моя газета стала выходить без всякой предварительной проверки.

Наш „Радиопаровозник" хвалили в парткоме; даже несколько раз поставили в пример заводской газете, которую редактировал писатель Иван Кулик. Его назначил горком партии то ли после взыскания за идеологические промахи, то ли потому, что он начал писать роман из рабочей жизни. Кулик был интеллигентен, серьезен и деликатен. Он тщательно правил статьи и

рабкоровские заметки, заботился о языке и стиле. Делал он это по-моему слишком литературно, с поэтично-романтичными узорами. Таким, как я, полуграмотным, напористым газетчикам, истово увлеченным именно сегодняшним, сейчасным, даже сиюминутным „боевым" делом, он казался кабинетным писателем, далеким от масс, от завода.

Когда в парткоме его упрекали, что „Радиопаровозник" оперативнее печатного, он спокойно возражал, что так и должно быть. По радио вещают три раза в день, а газета выходит только три раза в неделю. Кулик неизменно покровительствовал мне, охотно давал советы; ему нравилось, что я серьезно заботился о стилистике и фонетике украинской речи в наших передачах.

Секретарь редакции Юлий Митус тоже помогал, даже отдавал излишки своего „портфеля", но при этом не забывал строго поучать:

– Ты, дорогой радиовещатель, кажется начинаешь думать, что твоя газета есть главная газета на заводе. Пожалуйста, не забывай: радио должен быть вспомогательный сила для партийная печать. А то может получиться ненужный параллелизм. Даже вредная партизанщина...

Митус, бывший латышский стрелок, долго работал в армейских газетах. Он еще донашивал старую гимнастерку и сапоги. И навсегда сохранил военные нравы: был пунктуален, педантично опрятен, непоколебимо убежден: „дисциплинка прежде всего, нужна везде", и ревниво заботился о чести своего подразделения. Он никогда не старался выделиться, командовать напоказ, никогда не кричал, не суетился. Но именно он руководил газетой, был всегда на месте – Кулик часто отлучался по литературным делам, – а Митус „собирал" каждый номер, составлял макет, отвозил в городскую типографию, был хорошим метранпажем. Он же „проталкивал" газету в машину, оттесняя соперников с других заводов. И часто сам привозил тираж и следил, чтобы газеты не залеживались у почтовиков.

Мы ничего не знали о его семье, о личной жизни. Он приходил в редакцию раньше всех; когда мы там ночевали, он будил нас на рассвете. После двух-трех бессонных суток, как бывало в пору штурмов, он, в отличие от всех, был опрятен, чисто брит, ни пылинки на сапогах, ни морщинки на гимнастерке. Только веки припухали и розовели под редкими светло-русыми реснич-

ками.

Он, в отличие от Кулика, ревновал к успехам „Радиопаровозника”, но все же относился ко мне хорошо и только хотел подчинить своей главной редакции.

– Как сказал Владимир Ильич – газета должна быть коллективный организатор. У нас один завод, одна партийная организация, одна профсоюзная, одна комсомольская... Зачем две газеты, два коллективных организатора? Не зачем. Ты хороший массовик. Хорошо организуешь рабкоров. Значит, ты должен работать с нашей редакцией. А не отдельно. Это в буржуазных странах, где разные партии, там разные газеты. Но ты же – не другой партии.

Даже в самых сокровенных мыслях я отожествлял себя с той партией, в которой формально еще не состоял. И готов был подчиниться самой суровой дисциплине, самой взыскательной цензуре. Хотя без этого, вероятно, работал бы много лучше и с большей пользой для той же партии. Слепая готовность к самоотречению, к безоговорочному послушанию, отказ от всех искушений свободы впоследствии приводил меня к мучительным схваткам с совестью, к трудным борениям с самим собой.

Покорность всеохватному партийнодержавию не только оскопляла мысли и души верноподданных партийцев, но, в конечном счете, вела к исчезновению самой партии. Остатки ее живых сил были разгромлены уже к 1938-39 г.г. Основы ее идеологии разрушались на протяжении всех последующих лет. Когда в годы войны вступали в партию мои друзья, товарищи и я, для нас это было эмоциональным, патриотическим порывом. И менее всего *партийным*, идейным выбором. Почти никто не думал уже о программе, об идеалах, о принципах марксизма. И нас не потрясало, не огорчало то, что вместо „Интернационала” зазвучал новый державный гимн – бездарное подражание церковным хоралам. Девиз „Пролетарии всех стран, соединяйтесь!” был заменен заклинанием „Смерть немецким оккупантам!” Коминтерн, КИМ, МОПР распустили так же легко и просто, как до этого ликвидировали общество бывших политкаторжан, Союз эсперантистов, республику немцев Поволжья...

Пропасть между названиями и сущностью, между словами и делами становилась все шире и глубже.

Сегодняшняя КПСС в отличие от РСДРП/б/ и РКП/б/ уже

не партия и даже не идеологическая в обычном смысле этого понятия организация, а мощное административное учреждение, так сказать церковнообразное, административное и полицейское. Оно становится все более массовым, громоздким, иногда почти аморфным, но остается достаточно централизованным и мобильным. Через него действуют главные силы, управляющие всей страной. Но в нем уже почти не найти и следа тех наивных, революционных мечтаний, тех самозабвенных, искренних — часто убийственных и нередко самоубийственных — порывов, которые будоражили нашу молодость.

Митус убедил меня, что радиогазета должна слиться с главной редакцией. Это требовалось еще и потому, что я не был даже кандидатом комсомола и не мог оставаться ответственным редактором.

Я подал заявление в комсомол. Но заводской комитет ВЛКСМ сослался на то, что не прошло и года с тех пор, как мною „были допущены грубые политические ошибки, вплоть до участия в троцкистском подполье", и постановил, что я должен идти к станку, „повариться в рабочем котле" и вступать в комсомол через цеховую ячейку. Направили меня в ремонтный цех. Работал я сначала слесарем, потом токарем. В те дни, когда работал в первую смену, вечер был посвящен редакции, когда переходил во вторую смену, то ночевал в редакции, а потом с утра и до начала смены занимался газетными делами.

Мне поручили заведывать массовым отделом — я должен был вербовать рабкоров, помогать редакциям цеховых стенных газет, устраивать „рабкоровские рейды" для проверки „узких мест", т.е. участков производства, которые не выполняли плана.

Наш паровозный завод производил не только паровозы, но и тяжелые гусеничные тракторы „Коммунар", дизели и быстроходные танки БТ. Часть тракторов поставляли в армию для артиллерии, а часть дизелей — во флот для подводных лодок. Все это считалось тайной: некоторые детали даже в стенных газетах нельзя было называть собственными именами, а только нумеровать.

Мы верили, что наш „БТ" — лучший в мире танк. Мы радостно слушали рассказы о том, как на параде в Москве три первых стремительных БТ восхитили вождей на мавзолее и

напугали иностранных военных атташе. „Коммунар" был наилучшим из всех тракторов планеты. Он таскал штабеля экспортного леса в далекой северной тайге и самые тяжелые пушки. И наш дизель, который производили по немецкой лицензии, был непревзойденным.

В начале тридцатого года на ХПЗ числилось восемь тысяч рабочих, а три года спустя – уже 35 тысяч. Большинство пришло из деревень. Многие еще продолжали жить в пригородных селах. Их называли „поездники".

Лучшим нашим рабкором был слесарь из паровозосборочного Илья Фрид. Тридцатипятилетний, он нам, девятнадцатилетним, казался пожилым. Говорил негромко, часто насмешливо, иронично, но и добродушно, держался просто, не „давил на авторитет", хотя в партию он вступил еще гимназистом в 1918 году в подполье в Полтаве при немцах. Был красноармейцем, политработником. В двадцатые годы работал в Одессе председателем завкома табачной фабрики. В 1928 году его исключили из партии за то, что он в 1927 году голосовал за оппозиционную платформу. Он сохранил резолюцию партийного собрания фабрики. В ней перечислялись боевые и производственные заслуги, а в конце говорилось, что тов. Фрид „честный, принципиальный коммунист, отзывчивый товарищ, отличается искренностью, правдивостью, однако собрание считает нужным исключить его из рядов КП/б/У, поскольку он отказался достаточно решительно осудить допущенную им ранее грубую политическую ошибку. Хоть он и не вел оппозиционной деятельности и выполнял решения ХУ-го партийного съезда, но, отказавшись правильно оценить антипартийный, антисоветский характер оппозиции, не может находиться в рядах партии".

Из Одессы он уехал в Сибирь, стал рабочим. Ежегодно по нескольку раз писал в ЦК, прося восстановить, так как безоговорочно поддерживает решения всех партийных съездов и пленумов ЦК и осуждает все виды оппозиций. Но каждый раз местная партийная организация, которой ЦК поручал рассмотреть его дело, отказывалась вернуть ему партийный билет, так как он „недостаточно разоружился", „недостаточно искреннен".

Фрид был убежден, что напоминать о значении Троцкого в революции и гражданской войне, напоминать, что Ленин называл Бухарина „любимцем партии", – политически бестакт-

но. Об этом следует молчать. Но утверждать, что они всегда были врагами Ленина и врагами Октября, – значит лгать, искажать историю.

Из-за этой упрямой правдивости его и не восстанавливали в партии, а он не хотел, не мог уступить.

Жена разошлась с ним сразу же после того, как его исключили, и запрещала детям с ним переписываться.

– Ну что ж, она права. Я сам ее такой воспитывал. Была тихая гимназисточка, дочь врача. Словом, буржуазная интеллигенция. А я ее в комсомол вовлек. При немцах она была связной подпольного ревкома. В Одессе стала инструктором по женработе, а теперь в Полтаве в райкоме партии отделом заворачивает. Мы с ней с самого начала так привыкли, чтоб никакой брехни – ни столечки, ни полстолечки. Ни в личных делах, ни в неличных. Она сказала партии, что порвала со мной, значит, так и должно быть. А про их житуху я узнаю от моего брата. Старшая дочка уже в третью группу перешла. Когда восстановлюсь, напишу им.

В Сибири Илья выполнял задания ГПУ, наблюдал за высланными членами группы Сырцова-Ломинадзе; но он к ним никогда не подделывался, не притворялся ни единомышленником, ни сочувствующим; напротив, спорил, защищал „генеральную линию".

– Они ведь все-таки товарищи. А большевик товарищам лгать не может. Про контакты с чекистами я им, разумеется, не докладывал, задание было конспиративное. Но провоцировать, придуриваться, притворяться можно только с врагом. Когда меня немцы и „серожупанные" гетмановские жандармы поймали, так я как в театре старался: дурак дурачком, гимназистик, читатель Майн-Рида.

Фрид познакомил меня с начальником заводского ГПУ Александровым, который постоянно бывал на заседаниях парткома, на цеховых собраниях, заходил и в редакцию. Он, как и большинство ответработников, носил защитную гимнастерку без петлиц и знаков различия, хотя все говорили, что у него два ромба – заслуженный чекист. На собраниях он сидел молча, изредка что-то записывал. А в редакции или у себя в кабинете, куда иногда приглашал нас и поодиночке и группами, расспрашивал или советовал деловито, без командирского тона.

– Вот твоя заметка „Головотяпство или вредительство"

чересчур, брат, зубастая. Не разобрались вы, ребята. Мастер там еще и месяца нет, как назначен. А вы сразу – шарах! „Головотяп-вредитель"! Надо бы теперь подбодрить как-то. А вот насчет брака в литейном – дело посерьезнее. Тут приглядеться нужно. Кто там рабкоры? Надежные? Раковины в хромоникелевом литье могут быть и не случайные. Может там кто-то что-то колдует в составе или в формовке или в режиме литья. Но только вы не спешите пока писать и горланить. Тут нужно по-умному, по-хитрому. Чтоб узнать все подробности. Нужно с кем следует поговорить запросто, по душам. С ИТР у вас связи есть?.. Жаль. А кто из ваших активистов в сварочном в прошлую смену работал? В ту ночь очень уж много браку наварили. Надо бы пошуровать. Вот видите, я вам сигнализирую, как настоящий рабкор. Так уж и вы старайтесь мне помогать. Каждый коммунист, каждый комсомолец должен быть чекистом. Тем более тут, у нас. Не булки печем, даже не сеялки-веялки мастерим.

Однажды Александров вызвал нас с Фридом вдвоем для секретного разговора. Предстояли выборы в горсовет. Мы должны были изучить подрывную деятельность идеологических противников в цехах, нет ли где троцкистской пропаганды, а главное – продумать, как можно провалить на выборах самого опасного заводского бузотера Федю Терентьева.

Он был бригадиром слесарей на сборке дизелей. Сам Федя – мастер сверхвысшего класса – и все его бригадники работали безупречно, с ювелирной точностью. Но он не принимал в бригаду ни членов партии, ни комсомольцев.

– У себя в пролете я сам хочу быть хозяином. Спрашиваете план – я даю план. Не менее ста двадцати процентов. А браку – ноль и хрен десятых. Ну, а те, которые партийные и боевая комсомолия, не дадут мне хозяйничать по-моему. Пусть они там командуют, где тары-бары-растабары: за высокую идейность, за соцсоревнование. Пускай со мной соревнуются. Я секретов не держу. Ходи, кто хочешь, смотри, как работаем. Только не мешай разговорами.

В Фединой бригаде были и пожилые кадровые паровозники и молодые парни. Но все слушались его беспрекословно. На цеховых собраниях терентьевцы всегда сидели кучкой. Во время голосований, если Федя гребенкой расчесывал правый ус, вся бригада голосовала „за", если левый, то против; если же не вынимал расчески – воздерживалась. Когда он не считал

нужным идти на собрание, то бригадники после столовой возвращались на рабочие места. Курили. Играли в „козла".

В 1930-31 годах на заводе часто бывали Петровский, Скрыпник, Коссиор, Якир, Любченко. После работы и в обеденные перерывы созывались митинги. Знатный гость, случалось, спрашивал: „А Федя Терентьев здесь?" И тогда из толпы на заводской площади или из задних рядов в большой заводской столовой звучал уверенный голос: „Здесь, здесь, Григорий Иванович, и вопросики у меня к тебе есть..."

Пробегал веселый шумок.

Федя и внешне был приметен. Тогда ему было, должно быть, около сорока лет. Он уже начал лысеть по темени и со лба, но держался молодцевато: густые черные усы с подкрученными кончиками четко выделялись на бледно-смуглом, нервном лице. До 1917 года он был матросом и сохранял моряцкие повадки: летом и зимой ходил с открытой нараспашку грудью. В холода только накидывал поверх темной засаленной блузы тоже темный засаленный бушлат. И всегда носил черную шляпу — усеченный конус с короткими полями, — засаленную до блеска. „Когда совсем жрать нечего будет, я с этой шляпы суп варить стану, она у меня с 1910 года, еще старорежимные жиры держит".

Федю называли „всесоюзным бузотером". Рассказывали, что в 1924-м или 25-м году он, будучи делегатом Всесоюзного съезда Советов, произнес такую речь, что иностранные газеты писали о ней, как о „стихийной рабочей оппозиции", а Калинин назвал его демагогом.

С тех пор он больше не попадал ни на всесоюзные, ни на всеукраинские съезды, но в Харьковский городской совет его неизменно выбирали. Голосовали тогда открыто. И за него поднималось множество рук. Голосовали и те, кто раньше спорили с ним.

— Пусть он когда и переберет, но зато правду режет, не глядя... Лучше тех, кто молчит в тряпочку, слова сказать не умеет или хитрит, бережется — „моя хата с краю"...

Федя приходил на самые разные собрания — открытые партийные и комсомольские, на все производственные совещания и на лекции о международном положении. Иногда являлся уж под конец, но сразу же поднимал руку:

— А ну-ка, дай мне сказать...

Случалось, неопытный председатель возражал – „список выступающих уже закрыт” или „запишитесь, предоставим в порядке очередности”. Тотчас же поднимался гомон: „Дай Феде слово... Пусть говорит в порядке ведения... Не затирай нашего Федю... Слово Терентьеву... Дай сказать рабочему человеку...”

И он говорил с трибуны или прямо из рядов, с места. Говорил звонким, сильным голосом, уверенно, без запинок.

– Вот тут, значит, докладчик лекцию давил. Я слышу, народ говорит – содержательный был доклад за международное положение и мировой кризис... Очень хорошо. Борьба с борьбой борьбуется. Пролетарият гибнет. Капитализьм наступает... Повышай процент выполнения, понижай процент брака! Мы наш, мы новый мир построим... Только, дорогие товарищи, я вам скажу еще кое-чего. Вот сегодня моя баба встала в четыре утра, чтоб поспеть в очередь за селедкой и за крупой. Мне на работу, а баба в очереди. Я пустой кипяток похлебал, цыбулю сгрыз, побоялся хлеба много отрезать – ведь и пацанам есть надо. У меня их трое. И они ж еще несознательные, еще несогласные голодать за промфинплан и мировую революцию... А в обед пошел я к нам в столовую. Не знаю, что дорогой товарищ директор и дорогой товарищ секретарь парткома сегодня в обед кушали – я их в нашей столовке-харчевне чтой-то давно не видал. У них там столовая ИТР – бульоны, борщи, бифштексы и компот на сахаре. А у нас борщ такой, что не поймешь, чи он с котла, чи с помойного ведра насыпанный. А на второе каша на таком жиру, что я бы лучше от хорошего станка смазку принес. Биточки называются мясные. Но, кто еще не забыл, какое мясо бывает, не поверит! А те биточки и не разберешь-поймешь – чи то кролик, чи то кошка, чи, может, шорник старый ремень уварил... А с нас требуют: „встречный план... ударное выполнение... повышай нормы... снижай расценки...” Так где ж тут диктатура пролетариата и защита рабочего класса?

Речи Феди сопровождались хохотом, одобрительными возгласами: „Так их, Федя! Правильно! Крой, Федя, начальство, бога нет, попы тикают!.. Во дает, моряцкая душа!” Раздавались и враждебные реплики: „Бузотер!... Демагог... Ты чего провокацию наводишь?”

Изучать его „подрывную” идеологию было нечего. Да и сам Александров знал о нем достаточно. Он расспрашивал больше о том, как относятся к Терентьеву рабочие, кто с ним дружит,

кто враждует. И очень обрадовался, когда Илья придумал способ провалить Федю на выборах. Мы подучили наиболее опытных активистов-рабкоров предложить его кандидатуру в общезаводскую избирательную комиссию. На цеховом собрании за него проголосовали все, а в комиссии выбрали заместителем председателя. Но когда стали выдвигать кандидатов в горсовет и Федю назвали в числе первых, то в заводской газете появился фельетон „Бузотер сам себя избирает" и карикатура – усатый, носатый Федя подтягивает себя на блоке с надписью „Избирательная комиссия" к вышке „Горсовет".

Уходить из комиссии ему было поздно и на выборных собраниях ему давали обоснованный, „законный" отвод... Так в 1931 году, впервые после 1920 года, Федя перестал быть членом Горсовета.

В тот день он пришел к нам в редакцию хмурый; но казался не столько сердитым, сколько удивленным, и говорил даже с известным оттенком уважения:

– Так это, значит, вы, рабкоры-писаря, меня облапошили? Здорово вы, сукины коты, провалили Федю в горсовет... Все теперь! Не могу уже, значит, помочь рабочему человеку переехать в квартирку из барака или подвала. Не могу спасать от мильтонов наших паровозников, если кто выпьет лишнего. И сам не могу уже больше бесплатно в трамваях ездить. Выперли из горсовета последнего настоящего представителя рабочего класса. Теперь останутся одни товарищи начальники и товарищи молчальники. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Поднимают все руки сразу. Принято единогласно...

В июне 1935 года, незадолго до отъезда из Харькова, я встретил Федю на улице. И не сразу узнал. Он был в старом, но опрятном кургузом пиджачке; осунулся, поседел, смотрел тоскливо, сумрачно.

– Выперли меня. Совсем выперли. Из цеха и с завода. В порядке бдительности. Все! Накрылась лучшая бригада завода. Почти все мои разбежались: не хотят с новым бригадиром. А теперь план горит ясным огнем. Флоту нужны дизеля. А тут нужна бдительность. От кого, спрашивается, бдительность? От Терентьевых. Моего брата Гришку тоже поперли. Помнишь его, он в сварочном мастером был. И сестру из табельщиц наладили. Теперь даже ейного мужа тягают. Он в медницкой; партий-

ный. Хорошо, наш батька не дожил. Гордый старик был. Всегда хвалился: мы, Терентьевы, – династия. Паровозная династия. Дед начинал, когда еще не завод, а заводик был, паровозными мастерскими назывался. А теперь против нас бдительность, как против шпионов. Я сейчас в обком ходил. Там ведь главная власть. В профсоюзе, в совете все напуганы, под себя серут. А в обкоме какой-то чин в хромовых сапожках объясняет: „Ехай в Сибирь на новые заводы, показывать, доказывать, оправдываться...” Я спрашиваю: „Что доказывать? Я с четырнадцати годов, с тысяча девятьсот шестого, слесарю, я в пятом году пацаном баррикады строил. Я еще с рогаткой в классовой борьбе боролся. И всю жизнь на одном заводе. Отлучался, когда призывали в германскую. Морячил в Севастополе, ну и в гражданскую, конечно, воевал. В нашей же Петинской Красной гвардии, в роте у Саши Гуевского. Сколько меня людей знают, любого спросите. И на заводе и в районе. Чего ж мне надо в Сибири доказывать?..” Слышь, что это получается? Может, где вредители землю роют? Тебя, говоришь, тоже выперли? А теперь восстанавливают? Значит, и здесь можно доказать?..

Федин быстрый говорок, Федины задиристые интонации, Федины прославленные усы, хоть и с проседью. Он и не он. Поникший, растерянный. И во взгляде темная безнадежность.

Годы спустя в Москву доходили противоречивые слухи: Феде дали десять лет без права переписки. Федя уехал в Челябинск и там процветает. Федя в лагере, начальником мастерской. Федя спился и повесился...

Мы провалили Федю и нас похвалили в парткоме завода. Секретарь сказал, что редакция „Харьковский паровозник” хорошо организовала рабкоров на борьбу против последователей троцкизма и троцкистской контрабанды.

Это понятие стало расхожим после открытого письма Сталина в редакцию журнала „Пролетарская революция”.

Мы тогда не поняли, что именно это письмо было сигналом нового решительного поворота во всей нашей жизни. Не сразу это ощутили. Сталин ведь и раньше, бывало, резко высказывался по разным поводам – о правом уклоне, о хозрасчете, о единоначалии.

В 1930 году пьесу Безыменского „Выстрел” в газетах ругали за идеологические ошибки. В этой пьесе раздавался при-

зыв: „Власть у нас, власть у нас, на борьбу не жди мандатов, поднимайте ярость масс на проклятых бюрократов!" И кто-то уже успел обозвать ее троцкистской. Но Сталин ее похвалил. И мы с Фридом толковали: значит, Сталин тоже против бюрократизма, и нечего было децистам и троцкистам изображать его вождем бюрократов. И знаменательно, что одобрил он именно Безыменского, который раньше был открытым приверженцем Троцкого, посвятил ему свою поэму „Комсомолия", назвал сына Львом. Значит, Сталин справедлив, объективен, а все разговоры о его подозрительности, злопамятности – брехня, сплетни врагов.

Однако в письме 1931 года он призывал бороться уже не только против откровенного троцкизма, но прежде всего против „контрабанды". Нам объясняли: теперь уже ни троцкисты и никакие другие раскольники не решаются выступать открыто против победоносной генеральной линии, против ЦК. Они стали действовать „тихой сапой", потаенно распространяют слухи, шепотом возбуждают сомнения. Они кричат о своей преданности партии и Советской власти, притворяются энтузиастами, но при этом стараются дискредитировать вождей, подорвать доверие к промфинпланам, к партийным установкам...

И мы убеждались, что необходимо стать бдительнее, необходимо приглядываться, прислушиваться, принюхиваться к любому, кто может быть заподозрен в подобных намерениях, и особенно взыскательно проверять публичные выступления, каждое печатное слово.

Так, едва приметно для самих себя, мы ускоренно готовились – идеологически, психологически и морально готовились к новому режиму цензуры, все более жесткой и придирчивой. И становились добровольными цензорами для своих товарищей, для самих себя.

Одни были послушны без размышлений.

– Раз дана такая установка, наше дело „руки по швам", „есть", выполняй! Там, наверху, товарищи поумней нас. Думали не шутя. Значит, даешь революционную бдительность! А эту вот статейку (книжку, пьеску, картинку, стишок) – мы лучше похерим. Что-то тут не того, вроде как чуждым духом, контрабандой пахнет...

Другие расчетливо старались быть самыми ревностными, заботились о своей карьере, о благосклонности начальства.

— Сказано — бдительность? Так это всех касается. За меня никто другой бдить не будет. А тут что же получается? Под видом критики-самокритики тень на ясный день наводят. Партия дает установку на достижения, на боевой энтузиазм. А у тебя что? Сплошные неполадки, паникерство, маловерие! Это и есть оппортунизм... Ну и пускай факты. Пускай правда. Но это не наша правда, если от нее только подрыв главного звена. Это уже злостная контрабанда. Еще надо проверить, кто тебе эту правду нашептал. Ну и пусть даже открыто говорил, это тоже способ маскировки, самая хитроумная тихая сапа... А эти исторические воспоминания еще зачем? Маевки, забастовки, баррикады? Чего вдруг надумали привлекать внимание на такие моменты? Конечно, юбилеи там, героическое прошлое, старые кадровики — это все хорошо. Но только в меру. А то ведь, знаешь, в годы проклятого прошлого и эсеры, и меньшевики, и бухаринцы, и троцкисты — ох, как активничали. Ловили рыбку в мутной воде. Чего ж это вдруг так приспичило вспоминать за 1905 год, за февральскую революцию? Если нужно будет, так найдутся где надо авторитетные товарищи, которые вспомнят, что надо и как надо...

Но были среди нас и неподдельно убежденные, бескорыстные ревнители „чистой" идеологии. И они тоже пристрастно вслушивались, вчитывались, а не кроется ли в словах этого краснобая или того скромно-смиренного автора какая-то вредная, тлетворная мыслишка, дурной намек, провокационная недомолвка...

Таким был Илья Фрид, таким и я старался быть...

Все это я записывал, пробираясь сквозь чащу давних и недавних воспоминаний, часто тягостных, иногда постыдных... Нелегко, мучительно смотреть сквозь них на былых друзей и наставников, на самого себя — тогдашнего. Нелегко восстанавливать и еще труднее объяснять сколько-нибудь беспристрастно (возможно менее пристрастно) наши тогдашние мысли, чувства, восприятие людей и событий.

Но я не могу согласиться с теми историками и беллетристами, для которых наше тогдашнее общество — это жалкое человеческое крошево, бездуховное, „богооставленное", а все тогдашние комсомольцы, партийцы и вообще деятельные участники развития страны — трусливые, своекорыстные обыватели,

тупые или фанатизированные глупцы-невежды, либо циничные, бессовестные негодяи, карьеристы, властолюбивые изуверы, злокозненные инородцы, ненавидевшие Россию, и просто „слуги антихриста".

Рассказывая сегодня о том, *что* и *как* помню, я убежден, что новый исторический и нравственный опыт не должен задним числом видоизменять ни события, ни людей, ни мое тогдашнее к ним отношение. Не хочу никого и ничего оправдывать, но не хочу и обвинять безапелляционно.

Нет, мои современники-соотечественники были и разнообразнее и сложнее, чем их представляют любые идеологические схемы – и „правые", и „левые", и „усередненные".

А я только свидетельствую. Насколько могу нелицеприятно и правдиво.

Илья долго не хотел идти на штатную работу в редакцию. Его уговаривали в парткоме, он упирался, доказывая, что должен оставаться в цеху рядовым станочником, пока не восстановится в партии. Наконец секретарь парткома вызвал его на бюро и там предложил уже официально, „под протокол".

– Ты это брось, дорогой товарищ. Ты в партии сколько был? С 18-го по 28-й. Значит, не маленький, сам должен понимать, где тебя можно лучше проверить. Нет, брат, не у станка, будь ты хоть разударник пятилетки. Мы все уважаем ударный труд. Но ведь тебя из партии за что исключили? Не за брак на производстве, не за прогулы. А за идейные, политические ошибки. Значит, оправдать себя ты можешь только на идеологической политической работе... Что значит – одно другому не мешает? Мы уже знаем твою работу как рабкора. Хорошо работаешь. И на выборах показал себя по-боевому. Вот тебе и доверяем ответственный участок. Твои партийные документы на восстановление направлены в Москву, в ЦКК. А мы пока тебя принимаем на общих основаниях в кандидаты... Но, учитывая все, что мы о тебе знаем, партком направляет тебя на укрепление, – понимаешь, партийное укрепление, – заводской ежедневной газеты. Это ты учитываешь? Уже не многотиражка, а ежедневная боевая газета, по своему политическому значению крупнее любой районнной. Для тебя это и боевое, почетное партийное задание и проверка... Ты ведь сам говорил: быть честным перед партией, чтоб ни на единое слово, ни на полслова не сбрехать,

не умолчать. Так вот и скажи честно, по-партийному, где от тебя пользы больше, где тебя лучше проверить можно, – идейную твою позицию и политическую линию, – в цеху или в газете?

На это возражать было нечего. Илья стал заведывать партийным и производственным отделами редакции. Он был и старше всех нас, и опытнее, и умнее.

Тогдашний редактор Сева Менахин, один из первых украинских комсомольцев, ЧОНовец, потом партийный работник, одно время был членом ЦК ЛКСМУ, за что-то схлопотал выговор, и его направили к нам на завод „исправляться". Он был энергичен, хитер, честолюбив и напорист.

– У меня еще комсомольская задорность не выветрилась. Но добавилось партийной хватки.

При нем наша четырехполосная, малоформатная многотиражка, выходившая три раза в неделю в 1000-1200 экземплярах, превратилась в ежедневную шестиполосную газету. А тираж за один год вырос до десяти тысяч. Он доставал бумагу сверх всяких фондов, и наконец, через ЦК добился того, что на заводе была создана своя типография. Там вначале печатали только цеховые газеты-листовки, различные бланки, ведомости, а позднее стали печатать и заводскую газету.

Производство танков считалось особо секретным. И для рабочих танкового отдела Т2 стали издавать газету-листовку „Удар". Она выходила иногда больше десяти раз в день. Каждый выпуск предназначался для отдельного цеха или пролета (чтобы описываемые в нем события не стали известны в других местах). Так соблюдалась секретность. И в то же время наши сообщения не отставали от событий больше, чем на два-три часа.

Редактором „Удара" с начала 32-го года назначили меня. Заодно поручили редактировать еще и многотиражку „Будивнык ХПЗ", которую мы выпускали трижды в неделю для рабочих, строивших новые секретные цеха.

Почти треть строителей составляли заключенные, жившие в бараках за дощатым забором позади завода. Одним из прорабов был инженер, осужденный на 10 лет за убийство жены, другим – троцкист, осужденный на 3 года. Среди рабочих и техников были воры, убийцы, растратчики. Охраняли их вахтеры в таких же темных формах, какие я видел в ДОПРе и самоох-

ранники – тоже заключенные, обычно бывшие красноармейцы или милиционеры. Со всеми заключенными редакция общалась беспрепятственно. И в газете-листовке мы славили поименно ударников-строителей, которые „самоотверженным трудом искупают свои вины". Несколько осторожнее писали мы о строителях „трудармейцах". В „трудовых батальонах" отбывали воинскую повинность сыновья лишенцев, то есть кулаков, нэпманов, „служителей религиозных культов", а также толстовцы и сектанты. У них тоже были свои культуполномоченные, красный уголок, ударники и несколько наших рабкоров. Но все же они считались „классово чуждыми". Прежде чем похвалить кого-нибудь из них за хорошую работу, я обязательно „запрашивал" замполита батальона.

...Как мы могли верить в справедливость тогдашних судебных процессов, в то, что существовали вредители?

В 1928 году я был влюблен в Женю М., дочь инженера-„шахтинца", одного из главных подсудимых. Женя и ее мать говорили, что он не совершал тех преступлений, которые ему приписывали другие обвиняемые – его коллеги. Правда, он был против Советской власти, однако работал всегда лойяльно и только не хотел доносить на тех, кто действительно устроили заговор и пытались его втянуть. Но после ареста он рассказал правду, и за это настоящие вредители стали его оговаривать. Отцу Жени расстрел заменили десятью годами. Он писал домой длинные, поэтичные письма о природе и книгах, уверял, что здоров и занят интересной работой по специальности. Самый старый из „шахтинцев", инженер Рабинович, в последнем слове сказал: „Я всегда был вашим врагом и останусь им, даже если вы меня пощадите". А его приговорили к восьми годам. Бухарин в той беседе с Каменевым, запись которой опубликовали оппозиционеры (сентябрь 1928 года), говорил, что Политбюро только благодаря ему, Томскому и Рыкову постановило расстрелять главных шахтинцев, а Сталин „не хотел расстрелов". Это сообщение Бухарина мы восприняли как свидетельство „примиренческого" отношения Сталина к вредителям. Но через год-два оно уже служило доказательством его великодушия. Значительно позднее я стал понимать, что этой игрой он просто хотел связать всех членов Политбюро кровавой порукой соучастия в новом терроре.

Когда весной 1930 года шел процесс СВУ („Спилка Вызволения Украины")*, то билеты-пропуска рассылали по заводам и учреждениям, раздавали активу и просто желающим. Суд заседал утром и днем в Оперном театре. (Вечером там ставились оперы и балеты.) Билеты для комсомольцев распределял мой друг Коля Мельников, конструктор и член заводского комитета комсомола ХПЗ, вдумчивый, безоговорочно строгий правдолюбец.

– Кто хоть раз соврет – для меня конченый человек. Доверие, как девичья невинность, – теряют раз и навсегда.

Потомственный инженер, он считал, что не пролетарское происхождение и не пролетарская трудовая деятельность обязывают его работать особенно много, с полной отдачей, особенно внимательно изучать все, что составляет „настоящую пролетарскую идеологию". Он стремился к полному безраздельному „слиянию с пролетарским коллективом".

Коля был очень пригож. Многие девчата называли его самым красивым хлопцем ХПЗ. Но, женившись восемнадцатилетним, он не позволял себе даже пошутить ни с одной из девушек, льнувших к нему.

– Комсомольская семья должна быть образцовой. Мещане про нас чорт-те какие гадости распускают: „без черемухи", „собачьи свадьбы". Комсомолец, который корчит из себя дон-жуана, помогает мещанской антисоветской агитации. И вообще – кто нечистоплотен в быту, будет грязен и в общественной жизни. Кто врет жене, соврет и товарищам и комсомолу.

Но Коля не был ни унылым аскетом, ни оглядчивым ханжой. Он мог и выпить с приятелями.

– Ну, что ж, по-артельному, стопку-другую... Только без перебора, без хамства. В меру. Чтоб согреться телом и душой. Не признаю выпивку как самоцель. А питье до одурения, до блевотины – гнуснейшая пакость. За это – гнать из комсомола!

На собраниях, на демонстрациях, на субботниках он был главным запевалой. Пел сильным, красивым баритоном и знал множество русских и украинских песен, старинных, народных, революционных, шуточных; пел и романсы, частушки, куплеты „Синей блузы". Лихо плясал гопака, камаринского, чечетку-„яблочко", снисходил к вальсам, полькам, мазурке. Но пре-

* См. о нем: Г.Снегирев „Мама, моя мама" (*Континент*, №№11-15)

зрительно отвергал фокстроты и танго.

– Это не веселые пляски, а буржуазное половое разложение. – Трение. Два пола трутся об третий и друг об дружку.

Наша дружба началась еще до того, как я попал на завод. Познакомились мы в случайной компании и сразу сблизились, обнаружив совпадение литературных вкусов. Он тоже с детства был привязан к Пушкину, Некрасову, Шевченко, Толстому, Короленко, Горькому и тоже с почтительной неприязнью читал Достоевского и Тургенева.

– Они, конечно, великие писатели, описатели, психологи... Начнешь читать, не оторвешься. Но один – барин и все больше по заграницам, а другой – почти черносотенец и какой-то припадочный, во всяческих гадостях копаться любит.

Коля был одним из бригадиров заводской „легкой кавалерии"*, и я обычно назначал его командиром рабкоровских „рейдовых бригад", когда нужно было проверять цеховые конструкторские бюро, отделы технического контроля и вообще руководящих ИТР.

С ним вдвоем я побывал несколько раз на заседаниях суда по делу о СВУ. Сидели мы в ложе, недалеко от сцены. Видели подсудимых: профессора истории и литературы, один епископ, экономисты, служащие, студенты... Их внешний облик и повадки не возбуждали у меня сострадания и не вызывали сомнения в том, что они здоровы и сыты. Казалось даже, что никто из них не взволнован, а только несколько озабочен ходом суда. Они рассказывали о том, как устанавливали связи с зарубежными петлюровцами, как печатали антисоветские листовки и книги, составляли антисоветские учебные программы, признавались, что хотели свергнуть Советскую власть, отделить Украину от СССР... Они говорили спокойно, деловито, иные – несколько смущенно запинаясь, они отстаивали какие-то свои формулировки, обвиняли друг друга в преувеличениях или неправде. Прокурор Михайлик обращался к ним вежливо, но иронично. Он спросил у главного обвиняемого профессора Ефремова:

– Вот тут в вашем дневнике вы формулируете вашу политическую программу очень выразительно: „Мы хотим, чтобы

* Так называли добровольцев-общественников, которые участвовали в обследованиях, проводимых контрольно-инспекционными учреждениями – ЦКК и РКИ.

на Украине все были украинцами, от премьера до последнего арестанта..." А вы знаете, кто у нас премьер?

– Влас Яковлевич Чубарь.

– Украинец чистых кровей! А кто последние арестанты?

Он, прищурившись, поглядел на скамью подсудимых. Ефремов пожал плечами и понурился. В зале засмеялись, захлопали. Но засмеялись и несколько человек на скамье подсудимых и тоже зааплодировали прокурорскому остроумию.

Всем, кого на этом процессе приговорили к „высшей мере", заменили расстрел десятью годами заключения. Мы с Колей и другие ребята, обсуждая ход суда и приговор, были совершенно убеждены в преступности этих недобитых петлюровцев, в справедливости и великодушии советского правосудия.

Прошло почти сорок лет, прежде, чем я додумался до понимания того, что процесс СВУ, вспоминаемый как „справедливый и законный", в действительности был подобно „шахтинскому" и всем другим „вредительским" процессам, одной из тех судебных инсценировок, посредством которых готовился и осуществлялся массовый террор.

Нас юридически, пропагандистски и психологически готовили к тому, чтобы считать преступлением любое несогласие с политикой властей. Записанные в личном дневнике, либо высказанные в разговоре „идеологически вредные" суждения, религиозные взгляды, мечты о национальной независимости, о свободе слова и т.п. и уж, конечно, любые связи с жившими за границей родственниками, друзьями, коллегами означали прямые угрозы государству и веские доказательства причастности к еще более страшным злодеяниям – к вредительству, шпионажу, террору...

На ХПЗ я не помню дел о вредительстве. Хотя мы очень старались – явно и потаенно – выискивать, как тогда говорили, „конкретных носителей зла", виновников неполадок, прорыва, брака и т.п., но ни разу не обнаружили злонамеренных саботажников.

В 1931 году мы все же увидели „настоящих вредителей". Их привезли из Николаева – шесть осужденных инженеров – членов „Промпартии". В одном из новых домов заводского поселка к нескольким окнам приварили решетки. Там их поселили. Каждое утро они приходили на завод, сопровождаемые рослыми парнями в синих буденновках, с маузерами в больших

деревянных кобурах. Так, с конвоирами, они и ходили по цехам. А недели через две заводской партком созвал внеочередное заседание актива. Докладывал директор завода Владимиров. Он был членом ЦК КП/б/У, имел орден Красного Знамени с гражданской войны. (Тогда он был едва ли не единственным орденоносцем на заводе.) О нем говорили: „Твердый мужик. Характер железный, чистого литья – большевистский. Он и с наркомом и с чернорабочим одинаковый". Все знали, – кто бы из вождей ни приехал на завод, – Орджоникидзе, Коссиор, Постышев, Якир, даже сам Калинин, – наш директор никогда не выходил к воротам, как секретарь парткома или предзавкома, почтительно выбегавшие к правительственным машинам. Он встречал знатных гостей у себя в кабинете и разговаривал с ними так же, как с инженерами или рабочими. С Орджоникидзе иногда спорил. Зато во время ночных „штурмов" в танковом отделе он несколько раз вместе с нами, активистами, сам таскал ящики кефира и соевых булок из заводской столовой на сборку, чтобы угощать энтузиастов, работавших бессменно.

На том заседании парткома Владимиров сказал:

– Все видели этих николаевских спецов, которые с конвоем ходили? Так вот, с завтрашнего дня они получают твердые назначения. Такой-то будет начальником механического цеха Т2, такой-то – старшим конструктором, такой-то главным механиком и т.д. Конвой отменяется. Решетки с окон снимут. К семейным приедут жены. Они пока остаются осужденными, в выборах участвовать не могут. Как там насчет профсоюза – узнаете в горкоме металлистов. Но они будут занимать руководящие инженерные посты. И единоначалие должно соблюдаться беспрекословно. А в данном случае, более, чем всегда. Требуется еще особая чуткость. Это касается, прежде всего, вас, товарищи-газетчики, товарищи рабкоры. И всех любителей митинговать. Чтоб никаких там хитрых намеков, вопросиков: „головотяпство или вредительство?" Наблюдение будут за ними вести те, кому специально поручено. Есть все основания верить, что работать они будут честно, добросовестно. Советская власть им дает возможность искупить прежнюю вину. И мы не позволим никому разводить демагогию, мешать такому важному делу. Понятно?

Года через полтора-два у всех наших шестерых „вредителей" была снята судимость. Был слух, что некоторых в 35-36

годах даже орденами наградили. Владимиров позднее стал директором Челябинского тракторного завода. В 1937 году его арестовали.

В редакции „Удара" нас было сперва трое, потом даже пять штатных работников. Нам помогали не менее дюжины постоянных рабкоров. И мы всегда были подробно осведомлены о том, что происходило в цехах нашего отдела; знали, где „узкие" места, когда сборка танков простаивала из-за того, что не прислали деталей из кузнечного, из литейного, а когда и из-за того, что в механическом „зашивались" с инструментами и приспособлениями.

Листовки мы делали бойкие. Но это не было самоцелью. Мы действительно хотели помогать цехам, хотели, чтобы наш отдел выпускал возможно больше танков и чтобы они становились все лучше – мощные, стремительные, безотказные.

Дни и ночи мы торчали в цехах. Не довольствуясь описанием, повторяя как заклинание слова Ленина „газета должна быть ...организатором", мы то и дело превращались в настырных „толкачей" – звонили „подсобникам" и поставщикам, звонили в дирекцию, сами ходили в другие цеха разыскивать опаздывающие детали. Иногда пробивались и в кабинеты высокого заводского начальства – жаловались, убеждали, упрашивали. Листовки особо важные и тревожные мы заканчивали так: „Требуем немедленно ответить по телефону 1-72!" Это был наш редакционный номер. У телефона я установил круглосуточное дежурство, которое часто сам же и отбывал.

В парткоме нас хвалили, и все похвалы с достоинством принимал Менахин. Хотя в горячую пору мы его по неделям не видели. Но он рассуждал так откровенно, что я даже не мог всерьез рассердиться.

– Ты что думаешь, что я на вашу славу покушаюсь? За ваш счет политический капитал наживаю? Признайся: правда ведь? Что значит: „не знаю, что сказать"? Ты же не кисейная барышня: „Ах, ах, нет слов, чтоб чуйства передать!" А я по глазам вижу, что так думаешь. Но теперь послушай, что я тебе скажу. Дело мы все делаем одно. Политический капитал у нас тоже не частный. Нужно только уметь его и наживать и пускать в оборот. Конечно, „Удар" – это прежде всего твоя заслуга. Но ведь начало положил я. Разве нет? Это я вас нашел и сейчас вос-

питываю и по-партийному направляю, когда нужно – ругаю, когда нужно – хвалю. И я добиваюсь, чтоб вас и тебя ценили. Вчера я поставил вопрос в дирекции. С будущей недели приказом по заводу тебе присваивается должность и права, – поимей в виду, права! – внештатного помнач ПРБ отдела Т2. Понимаешь: помощник начальника планово-распределительного бюро танкового отдела. Это значит, что ты теперь можешь по праву распоряжаться движением деталей, можешь требовать отчета с любого мастера, давать задания пролетам. И этого добился я. Понимаешь? Ты ж в редакции самый молодой комсомолец. Только-только переведен из кандидатов. Ведь я правду говорю? И Фрида я вытянул в редакцию, а теперь помогу ему восстановиться в партии. Так что мой политический капитал многим товарищам на пользу. А мне он нужен не на сегодня. В редакторах я не задержусь. Мое призвание – партийная работа. Писать не люблю и не шибко умею. Сами ведь знаете, по-украински я и вовсе неписьменный. Хочу передать газету Пете Грубнику. Он свой парень, коренной паровозник, хороший коммунист, хороший писатель и душа-человек.

Менахина вскоре избрали заместителем секретаря парткома. Год спустя он был уже в горкоме, потом в ЦК. Петр Грубник, один из первых электросварщиков завода, несколько лет был ревностным рабкором. Писал по-русски и по-украински стихи, очерки и рассказы – чувствительные, „густо-психологические" повествования из рабочей жизни. После тяжелой болезни глаз ему запретили работать в цехе и направили в редакцию. Он же руководил и заводским литературным кружком, в котором участвовали некоторые бывшие члены „Юни" и „Порыва" – Иван Каляник, Сергей Борзенко, Николай Нагнибеда, Иван Шутов (Ужвий). На первых порах мы примыкали к Пролитфронту, нашим постоянным руководителем был Григорий Эпик, приходили на собрания Микола Кулиш и Юрий Яновский. В конце 1931 г. все вступили в ВУСПП (Всеукраинский союз пролетарских писателей). Нас называли „ударниками, призванными в литературу".

За полчаса до конца первой смены в партком завода срочно созвали работников цеховых ячеек и профсоюзных комитетов, сотрудников редакции. Секретарь торжественно сказал:

– Товарищи! Получено секретное сообщение. Японские

войска перешли нашу границу в районе Хабаровска, а на Западе румыны форсируют Днестр. Началось, товарищи! Пока еще война официально не объявлена. Пограничники и части Красной армии отражают провокации. Но есть уже приказ: мобилизовать десять возрастов. Пока секретно. Завтра утром должны уйти на призыв не меньше двух тысяч наших рабочих и ИТР. Значит, надо немедленно заполнить опустевшие рабочие места. Чтоб никаких прорывов. Наоборот: теперь надо работать вдвое лучше. И темп и качество. Наши БТ, возможно, пойдут прямо со сборки на фронты. Понятно, какая ответственность? Сейчас всем разойтись по своим участкам. И чтоб полная боевая готовность. И высшая бдительность. Возможны диверсии и уж конечно — шпионаж.

Еще до полуночи нам объявили, что это — „пробная мобилизация", сообщение о японцах и румынах было только испытанием, военной игрой. Однако, многие продолжали верить, что, напротив, успокоительное опровержение — только для дезинформации шпионов.

На рассвете огромная колонна рабочих ХПЗ прямо с заводского двора двинулась к сборному призывному пункту на другом конце города. Призывников провожали жены, подружки, родители и товарищи, работавшие в ночную смену. В колонне ехали грузовые машины, в которых везли чемоданы, вещмешки и походные „буфеты", которые на ходу продавали ситро, папиросы, соевые пирожные и конфеты.

На одном из грузовиков мы установили наборные кассы и печатную машину-„американку" с ножным приводом, и выпускали импровизированные листовки. Главным образом, о тех призывниках, которые в этот день и час прямо в строю подавали заявления в партию. Особая комиссия парткома заседала здесь же, на грузовике с типографией.

Шли мы несколько часов, останавливаясь по пути; на большом пустыре перед призывным пунктом сбивались в компании, пели, плясали, скандировали лозунги. Были и хмельные, но мало. В этой шумной, суматошной игре взрослых виднелись и суровые, печальные лица и плачущие женщины. Многие продолжали верить, что война все-таки началась. Наш редактор говорил:

— Конечно, это маневры. Военные и политические маневры. Однако, на Амуре действительно неспокойно. Очень неспо-

койно. Там каждый день стреляют. И на Днестре и на Збруче тоже. Капиталистов кризис жмет все сильней. А выход из кризиса они могут искать только военный. Это закон природы. Той, которая природа империализма.

В те часы я испытывал лихорадочно тревожное и, вместе с тем, радостное возбуждение, примерно такое же, как девять лет спустя 22 июня 1941 года. Наконец-то война. Та неизбежная война, которую мы ждали давно. Будет страшно, будут несчастья, беды. Но зато все ясно: за что бороться, ради чего жить и умирать, кто враг и кто свой... И конечно же, мы победим! Подмывающее радостное любопытство было сильнее всех страхов.

Через четыре дня пробная мобилизация закончилась. Призывники вернулись в цеха. Но война, тем не менее, казалась неотвратимой, все более реально близкой. Хотя не менее близкой представлялась и революция, раньше всего – в Германии.

У нас на заводе работали немецкие инженеры и мастера. Мне, как члену МОПРа, предложили вести культпропработу с иностранцами. Моим главным помощником и другом стал молодой берлинец Вилли Гуземанн, лекальщик высокого класса и конструктор-самоучка, член компартии и сын старого коммуниста. Вилли был свирепым радикалом; ненавидел буржуазных спецов и „социал-фашистов". Ссорился и с земляками-коммунистами, обличал их в оппортунизме. Все, что ему не нравилось у нас, – беспорядок и грязь в цехах, высокий процент брака, плохая работа столовой, недостаточное внимание инженеров к его многочисленным рационализаторским предложениям, – Вилли объяснял просто:

– Он есть вхедитель! Саботёх. Он помогать фашистам!

Отец Вилли, тоже Вильгельм, в 32-м году проезжал через Харьков в отпуск в Крым. Он работал в Берлине техническим сотрудником немецко-советской фирмы „Дерунафта". И тогда мы втроем составили план моей поездки в Берлин для участия в неизбежно предстоявшей революции. Вильгельм старший должен был переснять на немецкую фотобумагу снимок и прислать нам, чтобы заменить снимок на паспорте Вилли. (Приметы, записанные там же не вызвали бы сомнения: Вилли был приблизительно моего роста, тоже темноглаз и черноволос). Я должен был приехать в Германию и потом отправить паспорт обратно в Харьков. В крайнем случае Вилли мог просто заявить об утере, но

уже после того, что узнает о моем благополучном прибытии.

Об этом прекрасном плане я, разумеется, доложил секретарю комитета комсомола. Он выслушал, не прерывая, но смотрел сердито.

– Ну и штуку вы надумали! Штуки-трюки, чистое кино „Месс-менд"! Ты вот что, погоди, поостынь. Раз ты еще в мировую революцию не включился, то, значит, подчиняешься не Исполкому Коминтерна, а пока что нам, заводскому комитету Ленинского комсомола. Ну, а мы городскому комитету и центральному... Это тебе ясно? Так вот я запрошу по всем инстанциям. А ты занимайся своими делами и не рыпайся. Ваш отдел уже сколько месяцев из прорыва не вылазит. Ты уж лучше своим „Ударом" покрепче ударяй, чем в международные дела лезть.

Через несколько дней он пришел в наш редакционный барак. Недолго посидел, полистал подшивки листовок.

– Пойдем, проводи меня малость. Есть серьезный разговор... Вот что, дорогой товарищ, про эти твои личные планы германской революции забудь! И чтоб никто – понимаешь? – никто о них не слышал! Понятно? Товарищи в ЦК велели серьезно разъяснить тебе насчет этих трюков-фокусов с паспортом. Чтоб даже думать не смел. Это не просто политическая ошибка, – да-да, грубая ошибка, партизанщина. Это пахнет международной провокацией. Ты подумай: забирает тебя, например, ихняя полиция. Ты, конечно, герой, все терпишь, с тебя жилы тянут, кости хрупают, а ты поешь „Интернационал" и, конечно, по-немецки. Но только там же еще кто-то про тебя знать будет, какой ты немец и откуда взялся. И знать будут еще раньше, чем приедешь. И тогда хай на весь мир: Советский Союз посылает агентов с фальшивыми паспортами. Какой дурак поверит, что это ты с Вилли и с его папашей втроем все придумали и обтяпали. Ты ж должен понимать, как такие моменты могут использовать наши враги, буржуазная печать и всякая фашистская сволочь. Это – номер раз. А еще тебе надо знать, что такой ваш план есть уголовное преступление по советским законам. Понятно? Подделка документа и нарушение границы. Тяжелое государственно-политическое преступление! И тут клянись-божись, что ты за мировую революцию, но факт будет налицо и преступников жалеть нельзя. А то ведь и другой кто может захотеть такие трюки строить. Любой контрик, вредитель,

нэпман-валютчик, ворюга, растратчик... И скажет: „Я, видите ли, не просто за границу тикаю, а хочу бороться за мировой пролетариат". Понимаешь, куда тебя занести может? Хоть ты и шибко грамотный, и редактор вроде ничего, мы ведь тебя в кандидаты партии рекомендовали. Но только ты еще пацан. Хочешь, как в кино или в книжке: „Даешь Варшаву! Даешь Берлин! Урр-а-а! Навались, братишки!"... Ты погоди, не обижайся, я вижу, как ты скривился на „пацана". Но я тебе правду говорю. У меня опыт – ого-го! На комсомольской работе десять лет. Первый раз секретарем ячейки выбрали, когда еще Ленин жил. И я знаю – пацанство у многих долго держится. Есть такие, кто до старости, до гроба с пацанским характером живет. Один от физкультуры отстать не может. Ну, там футбол или городки. Уж сам не играет, так ходит смотреть и с азарта чуть не бесится. Другой, как что не так, драться лезет. А третий, как выпьет – плачет, маму зовет... Наверное, у каждого человека есть такие пацанские отрыжки. Только один сознает, а другой нет. И у меня тоже есть. Я мог бы про себя всякое рассказать. Но я свое пацанство давно осознал и далеко-далеко заховал. А ты своего пацанства не хочешь сознавать. Пример – это ваша выдумка. Про нее – все! Забудь! Партия знает, кого, когда и куда посылать. Твое дело сейчас выполнять боевые задачи здесь, на заводе. А может, и в село тебя пошлем. Там сейчас получается сложная обстановка. Но не лезь вперед батьки, – ни в пекло, ни в Берлин...

Вскоре после этого разговора меня действительно направили в село.

...Два месяца спустя, когда я вернулся из деревни и надолго слег в постель, ничего не ел, кроме тошнотного рисового отвара и тонехоньких сухарей, и не мог заснуть без грелки, я читал в газетах о поджоге рейхстага, о массовых арестах в Германии, об убийствах при попытке к бегству, о пыточных застенках в казармах штурмовых отрядов.

Заводские друзья и приятели, приходившие меня проведывать, говорили больше всего о голоде, о голоде и снова о голоде. Рассказывали, что Илья Фрид вместе с Дусом Рабижановичем и Левой Раевым – молодыми рабкорами, которые тоже стали сотрудниками редакции, вернулся из деревни и ни о чем другом не думает и не говорит, кроме голода.

– Он теперь вроде чокнутый. Ходит, подбирает по улицам, по вокзалам сельских пацанов. Таких, у кого родители померли или с голодухи сказились и детей позабывали. И Дуса и Леву гоняет, чтобы таких искали. Фрид их кормит, ведет в приемники. Весь свой паек тратит. Некоторые у него по два-три дня живут, пока он их в детдом устроит. Сам похудел еще хуже, чем был, и с лица – как старая кожа...

О событиях в Германии говорили меньше:

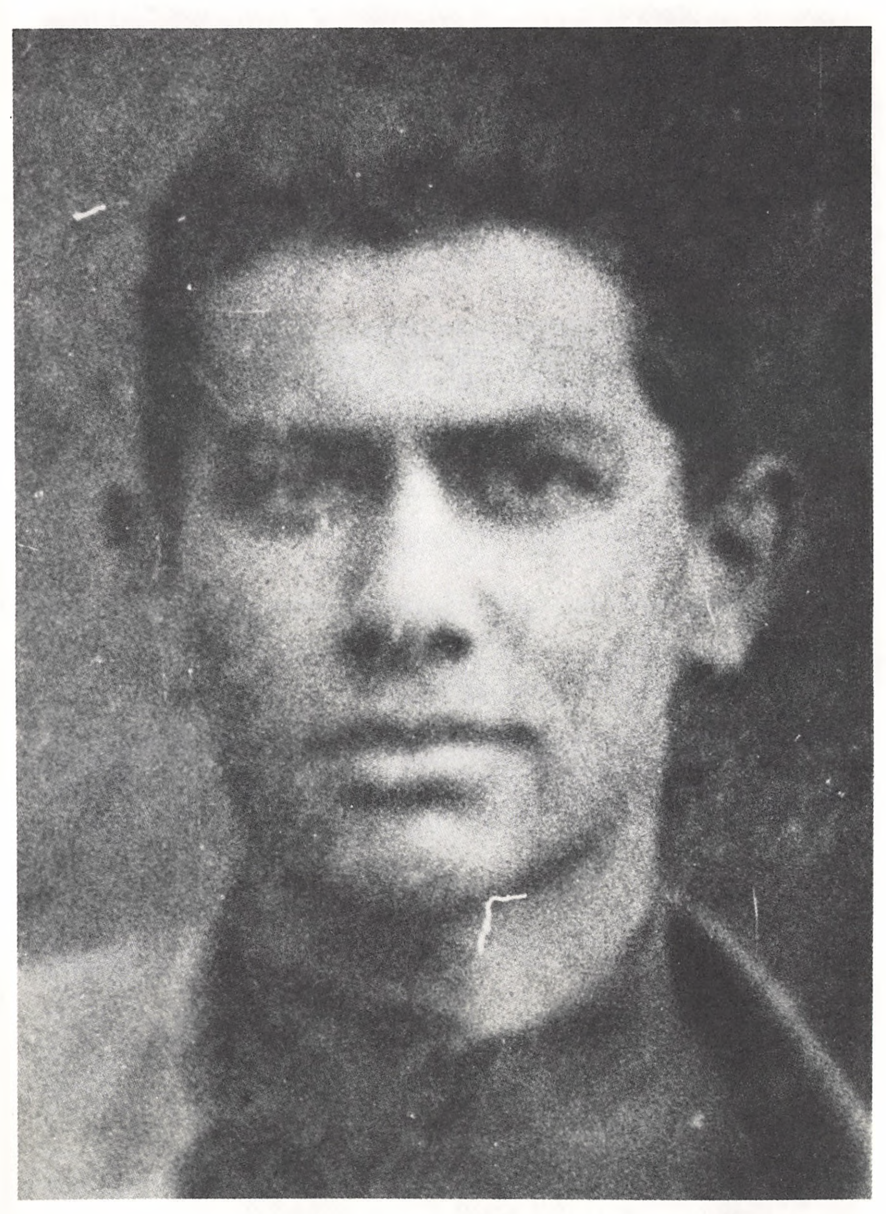
– Там ведь уже давно кризис и всякая мура. Гитлер – псих, дорвался до власти себе на беду. Теперь все увидят, что он такое. В „Известиях" здорово написали „Шуты на троне". Шутам недолго царствовать.

Но Вилли Гуземанн приходил бледный, то растерянный, то яростный. Он, кажется, даже и не замечал, что у нас голод. Не знал, что в нескольких кварталах от того дома, где он жил, под мостом через железную дорогу каждое утро находили трупы. Не знал, что в соседнем подъезде, в комнате чудака Фрида ночуют крестьянские дети, опухшие от истощения... Вилли боялся за отца и младшего брата Вальтера, который работал в редакции „Роте Фане".

Вальтер Гуземанн ушел в глубокое подполье. Он был арестован в 1942 году с группой „Красной Капеллы" и казнен в 1943-м. Их отец, старый Вильгельм Гуземанн, долго скрывался. До моего отъезда из Харькова летом 1935 года я еще получал от него письма и бандероли – подпольное издание „Роте Фане" на папиросной бумаге, заложенные в номера „Фелькишер Беобахтер" и „Ангриф" или журналов. Тогда еще можно было получать просто по почте даже фашистские газеты. Он отправлял их из разных городов Германии с различными адресами. Мать писала Вилли, что „отец не унывает и верит в скорое крушение нацистов". А Вилли ушел с ХПЗ еще в 34-м году, переругавшись со всем начальством. Он женился на харьковчанке-чертежнице, у них родился сын, и Вилли с семьей перебрался в Луганск, тоже на паровозный завод. Оттуда я получил одно письмо. Он жаловался, что и там есть дураки и вредители, писал, что хочет переехать в Челябинск, где на новом заводе тяжелых тракторов работало много харьковчан. Это было последнее известие от него. А года три спустя, уже в Москве, я услышал, что Вилли в Челябинске арестовали.

Стефан Хермлин в книге о „Красной Капелле" опубликовал предсмертное письмо Вальтера Гуземанна отцу, в нем была такая строка: „Оба твои сына погибли".

Я впервые попал в Берлин в феврале 1964 года. Узнал, что старик Вильгельм Гуземанн жив. Долго был заключенным в концлагере; похоронил жену, работает швейцаром в здании ЦК СЕПГ. Я хотел было пойти к нему, но не решился. Что он знал о судьбе Вилли? Что я мог ему рассказать?

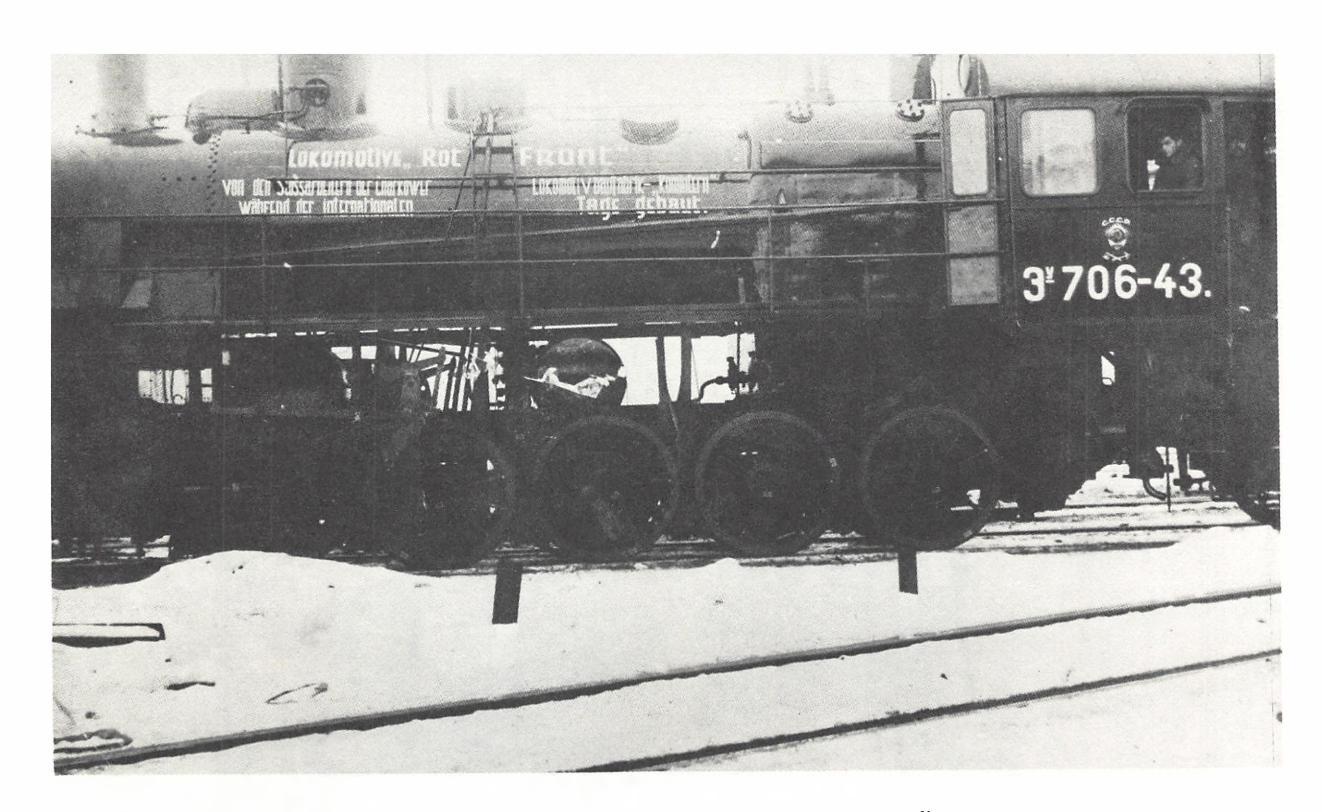


Лев. 1927 год.

1930. Харьков. Лев с Иваном Шутовым (Мих.Ужвий) в заводском радиузле.



1930. Ялта. Справа налево наверху: рабкор Я.Рубашкин, Лев, Надя, Альфред Павловский – немецкий коммунист „в отпуску".



Сверхплановый паровоз ХПЗ, выпущенный в честь немецких „красных фронтовиков".

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!



ОРГАН партколективу будкомитету та кол-ву ЛКСМУ 6-го будтресту

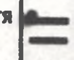
№ 2 | 29 травня 1932 року | Рік видання перший | № 2

І-го червня
кінчити добудову Т-2
Таке бойове завдання
будівельників ХРК.

З рештовань добудови Т-2

31-го покласти останню рейку—даху

До 1-го встановити підкранові пуття в перших двох прогонах



Плотники! Монтажники! перемога залежить від Вас

Виконати завдання до 11 год. вечора

Штурмова бригада плотників Сука до 11-ї години вечора повинна закінчити вкриття 1-го прогону на добудові Т-2 та євдову на Т-2, а бригада штурмовиків Горохова—закінчити другий прогон.

ШТУМОВИКИ!

Відмічаємо вашу штурмову дисципліну, закликаючи закінчити вчасно свої завдання.

Редакція „Удар".

Прискорити встановку підкранових шляхів

Монтажний відділ встановлює підкранові шляхи на добудові Т-2 але темпи робот не відповідають терміну її закінчення—до 1-го травня в перших двох прогонах а в останніх двох 4-го червня.

Крім загрози зриву цих термінів по встановкі шляхів, балки, яки лежать в середині цеху заважають роботі іншим бригадам будівельників.

Майстер Бабкін повинен зрушити кволи темпи роботи, перетворивши їх в штурмови, що одночасно звільнить місце від балок для работ інших бригад.

Романенко.

Тов. Стебленко забезпечте добудову Т-2 теслярами

З ранку 30-го травня деревообробна майстерня ім. „Удару" мусить розпочати встановку переплетів в 4-му прогоні та закінчити встановку 1-го та 2-го прогонів на добудові Т-2.

Т. Стебленко, аби вчасно в термін закінчити ці роботи, забезпечте належною кількістю теслярами виконання цих завдань.

Т. Меліксєдов.

Закінчити встановку підоконників 29 травня

Бригада плотників тилополченців Евтушенка повинна сьогодні закінчити встановку підоконників фонарей в 180 пог. метрів, аби з ранку 30-го травня дати можливість теслярам розпочати встановку переплетів.

Т. ЕВТУШЕНКО!

Організуй по штурмовому роботу плотників, забезпечивши здійснення сьогодні завдання бригади.

Т. К.

ПОПЕРЕДИТИ АВАРІЇ

На ділянкі 1-і ХРК часто трапляються аварії з вагонами та кранами.

29-го травня пульманівський вагон зірвався з гори і наскочив на котучий підьомний кран монтажного відділу біля лісопилки.

Наслідком цього пошкоджено вагон та кран і обірвано провода, через що зараз стоять лісопилка та деревообробна майстерня ім. „Удару".

Такий випадок, це—вдруге за короткий час, а коли підрахувати всі випадки, то вони, вже перетворюються в систему.

Вимагаємо від транспортного відділу ХПЗ встановити на вагонах гальмо та поставити біля верхних та нижчих ворот шлагбаума. Рижих, Кричевський, Данченко, Шевченко, Коренберг, Парасюк.

ЗА ПОЗИКУ „4-го ВИВЕРШУВАЛЬНОГО"

Поширене засідання цехкому монтажного відділу, з участю з активом та робітниками, проробивши питання про передплату позики „4-го виверпшального", накреслив організацію переведення передплати і викликав на змагання цехком будівництва котло-зварочного на кращу підготовку та переведення самої передплати серед своїх колективів будівників.

Цехком котло-зварочного! Приймай виклик, відповідай кращою роботою.

Валенов.



Лев – редактор „Удара" и „Будівника ХПЗ". 1932.



В Т—2

ОПЕРАТИВНА ЛИСТІВКА
„ХАР. ПАР."

28-II-32 р.

11 г. 25 хв.

№ 80

НЕ ВТРАЧАЙТЕ ЖОДНОЇ ХВИЛИНИ

СЬОГОДНІ ДАТИ

д. 13-42 на складальню

ЦЕ СПРАВА ЧЕСТИ УДАРНИКІВ 7 ПРОГОНУ

майстра **Міхайлова**

інстуктора **Віткаленка**

і фрезеровн. **Головка**

Деталь 1342, конче потрібна складальні. Вона повинна була бути приставлена на складальню ще учора в 11 г. вечора. Але дві зміни уряд ця деталь марно лежала в 6 прогоні, завдяки ганебного злочинного нехлюйства двох головотесов, розпреда Солощанського і приймальника Бронштейна які не потурбувались вчасно приставати деталь до наступної операції і тільки но сьогодні у 8 г. 30 хв. ранку потрапила вона до 7 прогону.

т. Міхайлов, Віткаленко, Головко закликаємо Вас ударною працею забезпечити приставлення дет 13-42 на складальню, с ь о г о д н і.

Вимагаємо від начальників „РБ" та „КН" та відповідних громадських організацій притягти до суворої відповідальности злочинних нехлюїв Солощенко і Бронштейна.

З КОМСОМОЛЬСЬКИМ ЗАПАЛОМ ПРАЦЮВАЛИ СТАРІ КАДРОВИКИ:

▣ **Гурін, Мілешко, Столяров, Канін, Мурмило** ▣

Нач. механічної **Віноградов**, цілими добами не виходов з цеху і в день і в ночі пильнуючи якість обробки деталів М-р-кадровик **Гаплевський** був йому гідним помічником.

Ударно працювали нач. складальні **Ніфонтов** та нач. експ. майстерні **Селімбовський**

ЦЕ ПЕРША ЧОТА

НАШОЇ КОЛОНИ ГЕРОЇВ.

Ентузіястам засвоєння нової техніки

ТВОРЦЯМ І БУДІВНИКАМ БД-2.

ПЕРШОТРАВНЕВИЙ ◆

◆ ПРИВІТ!

Горлит 17. Уполномоч 13..
Типография „Харьковского Паровозника" тир. 8000. Ред. Копелев.

КЕРІВНИКАМ В. К. П. НАЙСТАРІШИМ БІЛЬШОВИКАМ КРИЦЕВИМ ЛЕНІНЦЯМ

Т. Т. МОЛОТОВУ і КАГАНОВИЧУ

ВІД 30000 ПРОЛЕТАРІВ Х. П. З.

Пролетарі всіх країн єднайтесь!



ПАЛКИЙ ПРОЛЕТАРСЬКІЙ ПРИВІТ

№ 7 | 8 липня 1932 р. | 14 г. 35 хв.

Цеха і бригади зустричають З КОНФЕРЕНЦІЮ КП(б)У

ЗУСТРИЧАЮТЬ ПРИЇЗД

т. т. Молотова і Кагановіча

ДЛЯ УЧАСТІ В РАБОТАХ КОНФЕРЕНЦІЇ





Могутнею хвилею ентузіязму

СПРЯМОВАНОЇ НА ПЕРЕМОЖНЕ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Масовим вступом кращих ударників до лав партії і комсомолу

ДЕСЯТКАМИ НОВИХ ГОСПРОЗРАХУНКОВИХ БРИГАД.

ТИСЯЧАМИ НОВИХ УДАРНИКІВ-ЗМАГАНЦІВ



Студенческий „сводный взвод”. Лето 1934.



Д. Моор. Москва

D. Moor. Moskou


МЫ КОЛХОЗНИКИ на БАЗЕ СПЛОШНОЙ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ
ЛИКВИДИРУЕМ КУЛАКА как КЛАССА.

Глава девятая

ПОСЛЕДНИЕ ХЛЕБОЗАГОТОВКИ (1933)

Горе мне в моем сокрушении, мучительна рана моя, но я говорю *сам себе* „подлинно это моя скорбь и я буду нести ее".
(Иеремия 31, 29)

Був рік смертей, пекельних скрут,
Був тридцять третій рік.
Микола Руденко

Миргородский район в декабре 1932 года все еще не выполнил плана хлебозаготовок. Обком направил туда выездную редакцию двух газет „Социалистическая Харьковщина" и нашего „Паровозника", чтобы издавать газеты-листовки в отстающих селах. Нас было четверо: два миргородских паренька – наборщик и печатник, и два харьковчанина – мой заместитель Володя Ив. и я. Все наше имущество – несколько наборных касс, ручная печатная машина „Американка" и два-три мешка бумаги, уже нарезанной на листы, – умещалось вместе с нами в одних больших санях.

В селе Петривцы уполномоченный районного ГПУ рассказывал:

– Тут во всех селах есть контрреволюционные элементы. В Петривцах на сегодняшний день живут человек двадцать таких, кто вернулся с Соловков, с Нарыма, с разных допров; кто по амнистии 27 года, а кто и позже. И не какие-нибудь воры-конокрады. За тех милиция заботится. А я вам говорю только за тех, кто с оружием на нас ходил, нашу кровь проливал. А в Поповке,

можно сказать, целое бандитское гнездо. Село большое – тыща четыреста дворов, но с них в колхозе меньше пятисот. Самый малый процент во всем районе. Зато имеются данные, что в полутораста дворах прячут оружие. И не только наганы, но и обрезы. У них там и гранаты есть и пулеметов штуки три где-то захованы. Это точно известно. По всему району полно таких, кого и не сажали никогда, но известно, что они воевали у Петлюры, у Махна, у Маруси, у Ангела... Тут в гражданку разных банд было, как блох на Шарике.

Мы верили ему безоговорочно; сам он был сыном забойщика, до армии работал на шахте. Когда призывался, взяли в войска НКВД; там учился и стал оперативным работником. Он улыбался широко, белыми рафинадными зубами, глядел прямо, приветливо. Русый чуб он тщательно расчесывал на две густых запятых по вискам, – такая прическа называлась почему-то „политика”.

Поместили нас втроем – Володю, его и меня – в хате единоличника-середняка, не выполнившего хлебозаготовку. Колхоз выделял нам харчи и топливо. Хозяева перебрались к дочери. Хозяйка приходила топить печь и готовить. В первые недели у нас бывал изредка хлеб и даже мясо. Но потом обычно макуха (жмыхи подсолнечника), мелкий картофель, сладковатый от промерзлости и горьковатый от гнили, реже – пшено, горох и квашеная капуста.

Наш уполномоченный пытался нас воспитывать, приучать к „армейскому порядку”. Напоминал, что нужно бриться и не надо оставлять грязную посуду на столе.

– Соберем, товарищи, кучкой и поставим на припечек... Ну, зачем ты бычка на пол бросаешь? Ну и пусть он глиняный, не загорится. Но зачем хозяйке за нами убирать? Она хоть и не выполнила хлебозаготовку, но трудовая крестьянка. Да и себя уважать нужно. Мы здесь живем, здесь питаемся, чего ж мусорить? Чистота – залог здоровья.

Он каждый день заботливо чистил щеткой синюю буденовку и длинную серую шинель, подолгу драил сапоги суконкой. И укорял нас:

– Вы бы, хлопцы, кожухи хоть потрясли. Вы ж ими на печи укрываетесь. Посмотрите, и солома, и крейдой (мелом) замазаны. А вы кто такие? Представители харьковского пролетариата! Товарищи из красной столицы. Значит, надо иметь

вид как следует. Не фасон давить, нет, не комчванство напускать. Но чтоб порядочек, как в Красной армии: подтянутость, дисциплина. И вся выходка боевая, аккуратная... Что значит, что вы не военные? Мы все тут красные бойцы хлебного фронта.

Он умел дать понять, что причастен к особым, государственным делам. Маузер в лакированной деревянной кобуре он ни разу не позволил никому из нас подержать, даже разглядеть вблизи эту заветную мечту моей юности.

– Нельзя, хлопцы, нельзя. Это не цяцька, а боевое оружие.

Хлебный фронт! Сталин сказал: борьба за хлеб – борьба за социализм. Я был убежден, что мы – бойцы невидимого фронта, воюем против кулацкого саботажа за хлеб, который необходим для страны, для пятилетки. Прежде всего – за хлеб, но еще и за души тех крестьян, которые закоснели в несознательности, в невежестве, поддаются вражеской агитации, не понимают великой правды коммунизма...

Мы не считали их противниками и не чувствовали себя среди них враждебными чужаками. Ведь в каждой деревне мы находили товарищей, единомышленников.

В Петривцах нашим наставником стал голова сельрады (председатель сельсовета) Ващенко. Он в германскую войну дослужился до унтера, имел двух Георгиев, а в гражданскую командовал ротой.

– Тогда лёгше было. От верьте, не верьте, а куда лёгше. Все было ясно-понятно. Туточки, значит, своя часть, своя позиция; а там, значит, враг – кадеты, петлюры или махны. Ну, значит, гады, контра! Ну и даешь им прикурить. С пулеметов и с винтарей залпами! А потом змейкой в обход или цепью в лоб – на ура. Штыком коли! Прикладом бей! Кто не поднял руки кверху – в могилевскую губернию! И давай дальше марш-марш! Даешь Крым! Даешь Варшаву!.. Все ясно-понятно. А теперь противник, может, коло тебя сидит, может, с тобой за ручку здоровается. Наган у меня, правда, есть, но его в кармане держи. И выймай только в самой крайности: для отчаянной обороны или для виду. Для понта, чтоб пугануть какого самого-рассамого гада. Но и это часто нельзя. А фронт, между прочим, везде вокруг. Я так считаю, что одной пшеницы у нас в Петривцах должно быть тысячи две пудов закопаны-попрятаны. За-

таились гады-индюки*. Сами одну макуху едят. Есть такие, что уже и дети пухнут. Но ям не открывают. Надеется такой надувальник, что пересидит хлебозаготовки, что мы отстанем, — он тогда выкопает и жировать будет. Или уже только боится, что яму найдут, все до зерна заберут. И обратно семья голодная; а самого до белых медведей... Дядьки ведь у нас какие? Хитрые-хитрые, а дураки. Я их добре знаю. Сам ихнего корня. Тут родился, в десяти километрах. И уже с шести годов на куркулей работал. Мать наймичкой была, вдовая. Я у нее один. Еще до стола не дорос, а уже хозяйских гусей пас. А потом, как в школу пошел, один-два дня в неделю учился. А все другие и все утра и все вечера — коло хозяйских коров, свиней да овец старался. И пахал и косил... А ведь только в четырнадцать годов первые гроши получил. Два, потом три рубля в месяц положили. А то раньше все только за „натуроплату": за харчи, за жилье. Летом в клуне, зимой в хатынке, что одним боком до печки, а другим до коровника. И за одежу — обноски хозяйские драные... Мама так в наймичках и померли. Застудились весной. Чоботы у них были только, чтоб в церкву ходить, на праздник погулять. А так, зимой носили постолы с онучами; а то — всегда босые. И по стерне, и по лесу, по всем колючкам... Мама говорили, что у них ноги задубелые, не хуже копыт. Но постолы промокают; мама и застудились. Горячка трясла. Как пьяные стали или как в тифу: говорили всякое, песни спивали. Так и померли в холодной клуне на соломе. Хозяин не пустил фершала позвать. Лошадь не дал за ним поехать... „Ничего, — сказал, — отлежится. Она баба здоровше всех. А лошади нужны сейчас навоз возить. Весна какая пошла — весь снег за неделю отмыла. Земля уже мягкая..." Навоз он вывез. А мама померли. И я еще к нему кланяться ходил, чтоб дал рубля два на попа и на гроб. Не подарил, нет, с нашего заработанного. У того куркуля прынцып был: платить наймитам только в осень, когда все уберет. Я тогда так разнервничался за маму и за ту куркульскую жадность, что схватил колун и на него... Если б не вцепились хлопцы, так бы и зарубал. И на каторгу пошел бы не жалеючи. Он тогда злякался — отдал все гроши и выгнал. „Иди, куды хотишь, но подальше от села. А то скажу старосте и страж-

* Единоличников-индивидуальников дразнили „индюками", „индейцами", „надувальниками".

никам, что ты гайдамака, убивец..." Я тогда всю Украину прошел насквозь. У куркулей работал и в панских хозяйствах. И в городе и на шахтах. Аж пока в солдаты не взяли...

Так вот, я куркулей с детства ненавижу. Хуже, чем всех панов-помещиков, юнкеров, офицеров. Те хоть прямые враги. Панскую белую кость за версту видно, кто он есть. И с них даже хорошие люди бывают. Ленин с кого вышел? Еще и другие были. А эти, кто с грязи в князи повылезли, кто сами волам хвосты крутили, в навозе росли!.. У них ни науки, ни уважения. Они до наймита, до бедняка такие безжалостные, что хуже всех панов. Да хоть бы даже своя кровь, сродственник, они за копейку глотку перервут. Голодному корку пожалеют. Умирать будешь – воды не подадут. Потому – кто умирает, от него уже никакого интересу.

Он говорил, не повышая голоса. В глубоко посаженных, маленьких, чуть раскосых глазах – ни искры. Большая самокрутка – козья ножка, свернутая из четверти листа районной газеты, – дымилась равномерно. Только широкие руки сжимались в кулаки и косточки белели.

Так же негромко, ровно и внятно разговаривал он на собрании, которые каждый вечер собирались по „куткам". Большое село делилось на несколько кутков (то есть углов), охватывающих от 50 до 100 хозяйств. Сельские исполнители и колхозные активисты приглашали-пригоняли в хату тех, кто не выполнил план хлебозаготовок, и потом следили, чтобы никто не ушел без особого разрешения.

Обычно начинал Ващенко. Он рассказывал о том, сколько по селу уже сдано хлеба, сколько еще нужно сдать. Называл злостных несдатчиков и подробно докладывал, где и у кого нашли спрятанный хлеб.

–...Он думал, он самый хитрый. Закопал на дальнем поле. Да только мышей не перехитрил. Нашли мыши его яму. А за ними и лиса. А там хлопцы, которые охоту любят, заметили, чего это лиса все на одном месте, на одном поле мышкует. Так и открыли ту хитрую яму. А зерно уже пополам с мышиным говном. Ну, хозяина, конечно, забрало НКВД. Поедет теперь туда, где зимой и солнца не видать. А семья без хлеба осталась. Выходит, он враг не только державе, он и своим детям самый злой враг.

Потом говорили приезжие: районнные заготовители, мы

с Володей, местные активисты-комсомольцы, колхозные бригадиры.

Все выступавшие сидели за столом, под иконами. На белой стене темнели большие рамки, начиненные разнокалиберными фотоснимками. Николаевские солдаты в лихо заломленных бескозырках. Девчата в венках с лентами. Красноармейцы в буденновках. Остолбеневшие перед фотоаппаратом дядьки в жестких картузах или барашковых шапках, в расшитых рубахах и городских пиджаках. И тут же цветные картинки из старых журналов, открытки с усатыми запорожцами, пляшущими гопака.

На скамьях и просто на полу у печки тесно сидели насупленные бородачи, усачи в кожухах, в серяках, молодые парни, сонно равнодушные или презрительно угрюмые. Отдельными кучками сгрудились бабы и девки в темных платках, повязанных замысловато кочанами или накинутых шатрами поверх светлых косынок, в суконных полушубках, – там их почему-то называли „юпками", – обшитых по вороту и по груди светлыми овчинными полосками.

Густо клубился сине-сизый махорочный дым в зыбком полумраке. Еле-еле светились самодельные свечки или лучины, реже – керосинка. Села, не выполнившие план хлебосдачи, заносились на „черную доску" и подлежали „товарному бойкоту". Лавки закрывали. Нельзя было достать ни керосину, ни гвоздей.

Каждый раз, начиная говорить, я хотел доказать этим людям, что они страшно ошибаются, утаивая хлеб, что они вредят и всей стране и самим себе. Я старался поменьше повторяться, хотя ораторствовать приходилось на нескольких собраниях за день. Я рассказывал, как трудно живется рабочим в городах и на строительствах. Они работают по две, а то и по три смены, без выходных. Их жены стоят в очередях, потому что не хватает харчей, не хватает хлеба. И все потому, что нашей стране со всех сторон угрожают смертельные враги. И значит, надо напрячь силы, чтобы срочно выполнять планы. И необходим хлеб...

Я рассказывал о всемирном кризисе (тогда мы еще не знали, что он уже пошел на убыль). Говорил о немецких фашистах, о японских войсках в Маньчжурии, о коварстве польских панов. Все они готовились напасть на нас, хотели завоевывать, порабощать, грабить.

Говорил я лишь то, в чем сам был убежден. И каждый раз увлекался, кричал, размахивал руками. Слушали, – мне казалось, – внимательно. Бабы переставали шептаться. Никто не выходил курить, не ругался за дверью с исполнителями, удерживавшими подозреваемых в намерении удрать... И, разумеется, я всячески поносил, проклинал кулаков и подкулачников. А всем, кто злонамеренно или по несознательности утаивал хлеб, грозил презрением народа и карающим мечом пролетариата.

Уполномоченный тоже ходил на такие собрания, несколько раз бывал на тех же, что и мы. Он никогда не сидел с нами за столом и не произносил речей, а пристраивался где-нибудь сзади.

Ващенко снова и снова призывал:

– Кто хочет вступить и добровольно объявить, что выполнит свой долг?

Иногда поднималась рука. Вставал парень или разбитная баба.

– Завтра я, може, достану. Родня обещала мешка два. Тогда отвезу.

Таких сознательных громогласно хвалили, отпускали домой спать. А на следующий день выходила наша газета-листовка: „Слава честному селянину, ставшему на путь выполнения долга перед народом. Следуйте его примеру!"

Но обычно после нескольких тщательных призывов, Ващенко начинал поименно выкликать к столу должников.

– Ну, гражданин Дубына Степан, в который раз мы с тобой тут балачки балакаем?.. Чего молчишь? Тебя спрашивает Советская власть – сколько раз мы тебя уже вызывали?

– Нэ памъятаю. Нэ рахував.

– Ах, ты еще смешки строишь! Шутки шуткуешь. Ну, а я тебе серьезно говорю, очень серьезно. Мы тебя уже четырнадцатый, чи нет, пятнадцатый раз вот так спрашиваем. Когда выполнишь?

– Немае у мэнэ ни фунта хлиба... Вже й диты макуху едять...

– Так, значит, хитруешь? Сколько ты сеял? Пять с половиной гектаров сеял. Точно известно: было у тебя пшеницы два гектара и жита полтора. А еще и горох, и ячмень, и овес, и подсолнечник, и кукуруза на двух гектарах. Ты не бреши, я твои поля знаю. Черного пара у тебя не было. Так сколько ж

ты собрал? Сколько копычек? Ты не хитруй, не бреши, сколько?.. Не помнишь уже? Такой ты, знаешь, хозяин лядащий, что своего урожая не помнишь! Ну, так я тебе напомню. На твое поле не другое какое солнце светило. И дождики тебя не обходили. Значит, собрал ты пшеницы двадцать четыре центнера. Ну, нехай двадцать два. А сколько ты сдал? Всего и с кукурузой и с ячменем только восемь центнеров! Еле-еле на сорок процентов задания. А задание у тебя твердое. Мы тебя, гражданин Дубына Степан, знаем, кто ты есть. Советская власть все знает. Я ж сюда не сдалека приехал, не с Харькова, не с Москвы. Я ж еще помню, как ты женился. В тот самый год, когда молонья сожгла панское сено. Ты ж даже новых чоботов не имел. У старшего брата, у Тараса, чоботы брал на свадьбу. Мы знаем: ты с бедняков. Но только своего классу цурался. Вот я тут при всех людях считаю: сколько тебе на семью хлеба нужно. Кладем один пуд на душу в месяц. Считаем всех твоих, и старых и малых, и тех внуков, что титьку сосут. Вас всех – девять душ. Считаем по-царски – девять пудов в месяц. Полтора центнера. Значит, за зиму вы от силы шесть центнеров съели. У тебя ж ячмень есть и кукуруза. Так где ж они, все другие центнеры? Не знаешь? Если ты их не сховал, значит, продал. Закон преступил! Задание хлебосдачи не выконал*, а спекулюешь. Наш план подрываешь и тайно загоняешь хлеб перекупщикам. Знаешь, какая кара за это?

– Рубайте мне голову!.. Не маю ни фунта! Ни зернинки.

Именно эти слова в таких ночных разговарах звучали чаще всего: „рубите мне голову!" Их произносили кто сумрачно, яростно, кто слезливо, надрывно, кто обреченно, устало, почти равнодушно.

– Рубайте мне голову. Нет ничего в хате. Ни фунтика.

Бабы часто плакали, кричали, отругивались.

– Та шоб я своих диток больше не видела! Та шоб очи мне повылазили!.. Не сойти с этого места, если брешу!.. Шоб меня паралик разбил, руки-ноги поотсыхали! Шоб мне до смерти добра не видать! Не брешу и не брехала сколько живу! Присягну, забожусь, нема ни зернинки, ни крыхточки! Рубайте мне голову от туточки на пороге!

Ващенко тяжело грохал кулаком по столу, но говорил

*Выполнил *(укр.)*

так же спокойно и ровно:

– Годи! Хватит! Сидай и сиди, пока не надумаешь! Пока не пообещаешь, что надо. Сиди и домой не просись, не пустим.

Так из ночи в ночь. Иные собрания продолжались непрерывно по двое-трое суток. Активисты у стола сменялись. Мы чередовались, уходили, или спали тут же, откинувшись к стенке, урывками, в чадной духоте. Спали и многие крестьяне, сидевшие и лежавшие на полу.

Ващенко был самым неутомимым. Снова и снова наседал, допрашивая очередного несдатчика. Ему вторили и другие, сидевшие рядом, просыпаясь или силясь не задремать. Задавали все те же вопросы, кто поспокойнее, а кто криком. Повторяли все те же призывы и угрозы.

И я тоже не раз приставал к понурому, сонному дядьке, осовевшему от надсадного галдения, от духоты и бессонницы.

– Неужели же вы не понимаете? Вы только подумайте: ведь рабочие – ваши братья, ваши сыны. Они ждут хлеба, просят хлеба, чтоб жить, чтоб работать. Ну, подумайте.

Женщину, утиравшую мокрые от пота и слез щеки концами бахромчатого платка, повязанного кочаном вокруг головы, я уговаривал:

– Вы же сами мать, вы ж своих детей любите. Ну, вот представьте себе, как матери в городах сейчас плачут; не знают, чем кормить своих малых. Вы их пожалейте и своих пожалейте. Ведь тот хлеб, что вы спрятали, вы и у своих детей забрали. А если вас накажут, что будет? Ваши дети без матери голодные останутся.

Не реже, чем через день, мы выпускали газету-листовку. Цифры хлебосдачи, упреки несознательным, проклятия разоблаченным саботажникам.

Единоличников, которые числились должниками по хлебопоставке, всячески утесняли. В их хатах проводили ночные собрания, к ним вселяли приезжих уполномоченных, заготовителей, ревизоров, шефов. Колхозники уже давно выполнили и перевыполнили план хлебосдачи и поэтому были освобождены от постоев и прочих повинностей. А единоличников заставляли ежедневно запрягать своих отощавших лошадей – возить дрова для сельсовета, для школы, перевозить командированных в соседние колхозы или в Миргород и просто часами де-

журить у сельсовета, – авось, понадобится „транспорт".

Это были предварительные, предупредительные меры воздействия. Наиболее упорных или дерзких председатель сельсовета сажал в „холодную". В задней комнате сельсовета окно забили досками, а дверь прижимали большим колом.

Охрану несли дежурные сельисполнители. Они были на побегушках у председателя, разносили „казенную почту", созывали собрания, а в отсутствие членов сельсовета „слушали" телефон. И они же выводили арестантов на двор, передавали им харчи и одежду. У властей не было средств кормить заключенных. Родственники приносили им, что могли; а бобылям и задержанным бродягам приходилось выпрашивать еду у сокамерников. Содержались там вместе мужчины и женщины, все лежали вповалку на соломе. И комната действительно была холодной, так как единственная сельсоветская печка едва обогревала исполнителей, зябнувших в коридоре.

„Задерживать" при сельсовете в холодной полагалось не больше недели. После чего задержанных либо отпускали, либо препровождали в район.

Единственный в селе милиционер, Василь-мильтон, бывший армейский старшина, плечистый, красномордый, выпивоха и ерник, помахивал наганом. Двое исполнителей с палками выводили продрогших, темнолицых от грязи людей, кутавшихся в рваные кожухи и мешковину. У крыльца их усаживали в сани. Возчиками были иногда их родственники, такие же несдатчики.

Василь зычно распоряжался:

– Сидай, вшивая команда! Сидай теснее! Чтоб и вам теплее, и нам от ваших вшей подальше!

А Ващенко входил в холодную и говорил оставшимся:

– Давай, тикай до хат. И чтоб выполняли! А то в другой раз хуже будет. Тут, хоть холодно, да в своем селе. А из района поедете белых ведмедей пасти. Там похолодней будет.

Высшей мерой воздействия на злостных несдатчиков было „бесспорное изъятие".

Бригада, состоявшая из нескольких молодых колхозников и членов сельсовета, руководимая, как правило, самим Ващенко, обыскивала хату, сарай, двор и забирала все запасы зерновых, уводила корову, лошадь, свиней.

В иных случаях милосердствовали, оставляли картофель, горох, кукурузу для пропитания семьи. Но более суровые очищали

все, „под метелку”. И тогда забирали также „все ценности и излишки одежды”: иконы с окладами, самовары, коврики с картинками, даже металлическую посуду – может, она серебро. И деньги, которые находили спрятанными. Особая инструкция предписывала изымать золото, серебро и валюту. В нескольких случаях находили золотые царские монеты – пятерки, десятирублевки. Но обычно сокровенные клады оказывались бумажными: старые купюры с Петром и Екатериной, неказистые линялые керенки, гетманские и петлюровские „шаги”, деникинские „колокольчики”, а также советские „лимоны” (миллионы) и „лимонарды” (миллиарды). Попадались и советские серебряные рубли, полтинники и даже медные пятаки. „Те монеты, которые еще до колхоза чеканили, правильные были”.

Несколько раз мы с Володей присутствовали при таких грабительских налетах. Даже участвовали: нам поручали составлять опись изъятого.

– Нехай товарищи шефы из Харькова проверяют, чтоб все как следует было. Давай весы. Все твое пшено по фунту перевешаем. Мы себе и пшенинки не возьмем.

Исступленно выли женщины, цепляясь за мешки:

– Ой, то ж последнее! То ж детям на кашу! Ей-Богу, дети голодные будут!

Вопили, падая на сундуки:

– Ой, то ж память от покойной мамы! Ратуйте, люди, тут мое приданое, ще ненадеванное!..

Я слышал, как, вторя им, кричат дети, заходятся, захлебываются криком. И видел взгляды мужчин: испуганные, умоляющие, ненавидящие, тупо равнодушные, погашенные отчаянием или взблескивающие полубезумной, злою лихостью.

– Берите. Забирайте. Все берите. От еще в печи горшок борща. Хоть пустой, без мяса. А все ж таки: бураки, картопля, капуста. И посоленный! Забирайте, товарищи-граждане! Вот почекайте, я разуюсь... Чоботы, хоть и латанные-перелатанные, а, может, еще сгодятся для пролетариата, для дорогой Советской власти...

Было мучительно трудно все это видеть и слышать. И тем более, самому участвовать. Хотя нет, бездеятельно присутствовать было еще труднее, чем, когда пытался кого-то уговаривать, что-то объяснять... И уговаривал себя, объяснял себе. Нельзя поддаваться расслабляющей жалости. Мы вершим историческую

необходимость. Исполняем революционный долг. Добываем хлеб для социалистического отечества. Для пятилетки.

Оставалось только заботиться, чтоб не было „излишних" жестокостей, чтоб чересчур азартный хлопец-активист не лез с кулаками на женщину, которая крестом легла на сундук: „Не отдам!" И чтоб изъятое добро было точно описано, в двух экземплярах. Ведь условием такого изъятия было: сдашь хлеб, вернем все, что забрали.

Мои сомнения, совесть и простые чувства сострадания, жалости и стыда подавлял, так сказать, рационалистический фанатизм, но питали его не только умозрительные газетные и книжные источники. Убедительнее были те люди, которые в моих глазах воплощали, олицетворяли нашу правду и нашу справедливость, те, кто своей жизнью подтверждали: необходимо, стиснув зубы и стиснув сердце, исполнять все, что велят партия и Советская власть.

Такими наставниками практического большевизма были для меня Чередниченко, Илья Фрид, Коля Мельников, директор ХПЗ Владимиров, Ващенко и председатель Поповского сельсовета Бубырь.

Рано осиротевший батрацкий сын, он тоже с детства работал у кулаков. Шестнадцатилетним пошел в ЧОН*, воевал с „зелеными". Был тяжело ранен. Потом стал одним из первых комсомольцев на Полтавщине, секретарствовал в сельских ячейках. Председателем сельсовета в Поповке его избрали накануне коллективизации.

Высокий, очень худой. Глаза бледной, иконной синевы; острый большой нос, впалые щеки с переменчивым лихорадочным румянцем, бледный тонкий рот. Лицо аскетического инока. Старый, темнокоричневый кожух, висевший на нем, как бурка был распахнут и в самые сильные морозы. Серая барашковая шапка, небрежно сдвинутая на затылок, открывала высокий бледный лоб.

– Меня моя чахотка греет лучше шубы.

Сбросив кожух, он оставался в застиранной армейской гимнастерке и потертых синих бриджах с леями. Сапоги казались непомерно большими, ноги торчали, как палки. Девчата дразнили

* Части Особого Назначения – нерегулярные военные формирования в 1919-1921 г.г.

его „крук" (журавль). Жил он попеременно то у одного, то у другого члена сельсовета.

– Не маю права жениться. Через мою работу и через мою чахотку. Работа моя такая, что может завтра, а может через месяц куркульская пуля достанет. Если свою хату заведу, обязательно спалят. Зачем же дивчину или бабу на такую скаженную жизнь уводить? Чтоб она день и ночь страхом жила, а потом вдовой бедовала? И чахотка не позволяет. Я ж бациллоноситель! Шо такое палочки Коха, знаете? У меня открытый процесс. Каверна! Значит, дырка в легком. Как раз там, где махновская пуля прошила. Доктор смотрел через этот... герент... чи рантгет... ну, такая машина хитрая, что все потроха насквозь видно. Сказал, что дырка уже с кулак.

Он говорил об этом едва ли не с гордостью и куда охотнее, чем о том, как в него стреляли на прошлой неделе.

Бубырь просто не знал страха. Не умел бояться и презрительно удивлялся, замечая страх в других.

– Ты что, может, в селе Трусы родился? Может, и в черта веруешь и ведьмаков боишься? Нехай куркули нас бояться, а мы не будем. Нам нечего бояться. Все люди помрут. Еще никто не дожил до бессмертия. А тому, кто не боится, и умирать легше.

Он говорил высоким глуховатым голосом. И глядел, не мигая, пристально в глаза собеседнику.

За несколько километров от Поповки были „куркульские выселки". Мужей и отцов выслали на Север, а семьи выгнали из села, подальше. И они жили в землянках, в лесном овраге. По слухам там же скрывались также их родичи, бежавшие из ссылок и тюрем. Бубырь поехал туда напоминать о выплате налога. Ехал один, верхом. В лесу в него стреляли. Самодельная пуля пробила кожух, ранила лошадь. Но он не повернул обратно. В овражном поселке нашел, кого искал, достал смолы, замазал рану коню. Обратно повел его на поводу. И взял несколько молодых „куркулят" заложниками, они должны были проводить его обратно.

– Под наганом их вел. И по дороге агитировал.

После этого случая секретарь партийной ячейки потребовал, чтобы с наступлением темноты и за пределами села Бубырь никогда не оставался один, чтобы его сопровождали не менее двух крепких хлопцев из колхозного актива. Бубырь посмеи-

вался:

– Партийная дисциплина, як фронтовая. Нравится, не нравится – есть, товарищ командир.

Секретарем Поповской партячейки был пожилой харьковский рабочий-двадцатипятитысячник. Медлительный, казавшийся флегматичным, он редко участвовал в больших собраниях – не умел говорить по-украински. Целые дни проводил в колхозных усадьбах, в МТС, на ветеринарном участке. Его тревожило, что медленно ремонтируются плуги, бороны, сеялки. Нередко он и сам становился к верстаку или к наковальне; ковал даже новые лемеха – тонкая работа для мастера. Весело позванивая молотком, работал споро и оживлялся, казалось, молодел.

К Бубырю он относился, как строгий отец к малому сыну:

– Ты ж псих малохольный, а не председатель сельсовета. Голова сельрады! Тоже мне голова! Кровью харкает, а гоняет день и ночь, как заведенный. Не ест, не спит. Шурует за всех, и за комсомол, и за хлебозаготовителей, и за милицию, и за кооперацию. Ты ж сам весь хлеб не соберешь. А за месяц-другой свалишься, как загнанная кляча. Еще в прошлом году ему райком путевку достал. Через бюро обкома хлопотали. В Крым, в самый лучший туберкулезный санаторий. На три месяца. Там доктора высшей квалификации. Лекарства, приборы всякие. Получше, чем за границей. Так он, псих чахоточный, не поехал. Ему, видите ли, надо в Поповке всех куркулей и подкулачников извести. Партячейка постановила ему лечиться ехать, а он – ноль внимания.

Бубырь ухмылялся.

– Не-ет, тут твоя дисциплина кончается, товарищ секретарь. На фронте командуй, а чтоб с фронта выгонять – я не дамся. В Крым я и сам хочу... Я там четыре года назад был. В Ливадии. В царском дворце жил. Без шуток, как раз там, где раньше цари квартировали, когда на дачу ездили. Ну и жизнь была! Постельки белые. Подушки, как у невесты. Простыньки чистенькие. Доктора, фельдшера, сестры кругом тебя ходят, как мамы родные. А харчи – точно царские. Бульоны-консомоны, курочки, яечки. Масло только сливочное – не сметанное. Пирожные всякие... А природа – райская. Воздух – чистый мед. Если глубоко дыхать, с непривычки захмелеешь, как с горилки. В тот Крым я хочу еще поехать, погреться. Может, и вправду каверна

моя усохнет. Но только сначала хлеб сдадим. Выполним заготовку. Как снег сойдет, в ямы видно будет. Они ж на полях закапывали. Это точно. Так и в прошлом годе было. На дальних полях, чтоб и сосед не видел, где копали. Но как снег потает, пахать будем и найдем. Потом посевную запустим. Тогда я в Крым и подамся.

– Да ты ж раньше загнешься. У тебя уже прошлой весной кровь с горла, как из кранта, шла.

– Ну, если загнусь, то поховаете. А ты на могиле хорошую речугу скажешь: „Погиб дорогой товарищ на боевом посту. Найкращий ему памятник – сто процентов хлебосдачи!"

И засмеялся коротким, злым хохотком, похожим на кашель.

В селе Бубыря многие боялись. Иные жалели. Некоторые ненавидели. От жалости он сердито отмахивался. Ненавистью гордился. И охотно повторял пословицу, которую сочинили острозыкие поповские бабы: „Де побурят бубыри, там не станет и гузырив"*.

Наша редакция размещалась в Поповке в одной большой комнате в доме, раньше принадлежавшем лавочнику. Печатник Мишка-малый, курносый, смешливый пройдоха, и наборщик Миша-большой, длинный худой мечтатель, в каждом селе обзаводились подружками и приятелями. У нас постоянно собирались хлопцы и девчата – селькоры, колхозные активисты. Они рассказывали новости, смотрели, как набирается, правится и печатается очередная газета. Гости сидели на топчанах, служивших нам кроватями, на полу, лускали семечки; парни смолили едкий самосад, плели байки и небылицы.

– Бабуси говорят, что он черту душу променял. Его еще в гражданскую войну банда убила. А черт ему сказав: „Хочешь пожить – отдавай душу. Не хочешь так отдавать, бери на сменку чертову силу на двадцать годов". Вот его теперь ничто не берет, – ни чахотка, ни пуля, ни сокира. Куркули его уже, может, двадцать раз убивали, а он не умирает...

– Ну, это, конечно, старушечья брехня. Религиозные забобоны. Но Бубырь и вправду не такой, как другие люди... И глаз у него особенный и вся выходка. Не курит, не пьет. До

* Гузыри – конические мешочки из углов старых мешков или наволочек, в которых хранили семена цветов, овощей, лекарственные травы и т.п.

девчат и до баб – безо всякого внимания. Шо ест, когда спит – никому не известно.

– Говорят, он даже на двор не ходит. Только плюет кровью в хустку.

Чаще всего рассказывали, как Бубырь находил самые хитрые ямы.

– Пришел он до того Вдовиченко Грицька – по-уличному Нюхарь зовут – и каже: „Открывай сам свою яму, а то я открою – хуже будет". Тот божится: „Нема ямы, хоть режьте". А Бубырь взял железный щуп и пошел по двору. Потыкал, потыкал и каже: „А ну, отгребайте навоз". А там в углу большая куча навоза лежала. Нюхарь только смеется: „Под навозом земля, конечно, мягче, не мерзла. Тут вам и щупа не нужно. Сразу можете приказать копать". „И прикажу. Давай лопаты". Стали мы копать. Земля вроде ворошена. Выкопали большую яму. Уже с головой в ней стоим, а ничего нема. Нюхарь ходит, посмехается: „Вы, дорогие товарищи-граждане, просто як колодец выкопали. Може, еще трошки постараетесь, пока вода буде. А то моей бабе далеко с ведрами ходить". Мы уже и до твердой земли докопали. А Бубырь вроде так и ждал. „Твердо, кажете? А ну, пустите меня". Сам полез в яму и стал по бокам щупать. И все-таки нашел. Нюхарь там, как шахту, устроил: прокопал норы-пещеры крестом от главной ямы. Она пустая, а в норах – по пять крепких лантухов (пятипудовый мешок) пшеницы. Двадцать лантухов. Сто пудов! Нюхарь стал белый, как мертвяк. Ну, его и взяли в милицию. Полный обман, доказанный. Теперь на Сибирь погонят.

– А то еще у другого Вдовиченко – Семена, что Серяком зовут. Тот божился, что уже на Крещенье без хлеба остался. Только горохом и макухой семья живет. У него и сын и зять в Красной армии. Так Серяк с Серячихою и с меньшей дочкой до другой дочки-солдатки перебрались. А свою хату замкнули: „Нам всей семьей вместе и теплее и печку одну топить легче". А Бубырь пришел и сказал, чтобы он отчинил свою хату. Походил там, постукал по стенам, по печке: „Холодно, як в поле зимой. Чего не топишь? Чего жмешься? Нема чем?.. А ну, хлопцы, разбирайте печку!" И как наскрозь углядел. Там в печи и под печью мешки замурованные. Отборная пшеничка, не меньше полсотни пудов. Но Серяка в районе пожалели, что у него сын и зять в Красный армии и что сам он в гражданскую

у Буденного воевал, тяжело ранетый и всегда в бедняках ходил. Только-только в середняки вышел. Взяли с него штраф и в Миргороде в тюрьме продержали недели с три. Приехал весь вшивый и худой, как щепка.

В Поповке, как и в других селах, в ту зиму были заведены особые ящики, вроде почтовых, „для жалоб и заявлений". Их вывесили в школе, в сельсовете, на ссыпном пункте, в лавке, просто на улице. И призывали подавать письменные заявления, где ямы, где спрятанный хлеб. А подписывать – не обязательно. В этих ящиках нередко находили записки с угрозами, обращенными к Бубырю и вообще ко всем, кто отбирает хлеб. Нам сулили „скорую нещадную смерть", призывали: „Тикайте, гады, пока целы!"

Бубырь, усмехаясь, откладывал такие записки.

– Пошлем в район. Нехай понюхают, какая есть классовая борьба.

За те недели, что мы работали в Поповке, доносов было немного. Бубырь читал их внимательно.

– Это брехня! Видно, сосед на соседа злится. И похоже, какой-то старый писарчук работал: буквочки аккуратные... А вот это – може, и правда. Знаю я этого индюка. Его невестка с свекрами, как кошка с собаками. Наверно, то она и писала. Или кто с ее родни... И вот тут – кто-то метко поцелял. Я давно уже понимаю, что этот хитрован много хлеба прячет. Только не догадывался, где. И не хотелось шукать задаром, чтоб не срамиться. Я думал, где-то в поле. А он, видишь, какой хитрый – в стайне, под коровой. Там же земля всегда мягкая. Не побоялся, гад, что навозная юшка на зерно потечет. Укрыл, наверно, крепко. Ну, мы откроем.

После одного из таких достоверных заявлений Бубырь позвал и нас участвовать в бесспорном изъятии у середняка Охрима Глущенко, по-уличному – Пивня. Тот не был твердозаданцем и сдал больше половины хлебопоставок по контракту. Но его сын, который стал зятем-приймаком в кулацкой семье, был сослан вместе с тестем. Невестка с матерью и родственниками жила в куркульских выселках. Неизвестный доносчик писал, что Пивень „имеет связь с куркулями", прячет куркульский хлеб и барахло.

Бригаду вел сам Бубырь. Он размашисто вышагивал, от-

кинув полы кожуха. Мы с Володей старались не отставать.

Вход в большую хату был со двора. Едва мы вошли в полутемную прихожую-хатынку, Бубырь метнулся в сторону.

– Стой! Кто тут?!.. Чего ховаешься? А ну, вылазь, красуня!

Он крепко держал за обе руки молодую женщину в сбившемся платке и распахнутом полушубке. Она упиралась, тяжело дышала. Темные глаза блестели испуганно и сердито.

– Отцепись! Пусти! Мне до ветру надо!

– А ты потерпи немножко. Ты еще с нами побалакай. Глядите, какая знатная гостья в нашем селе. Это ж Маруся, Пивнева невестка, куркульская красавица. Давно я тебя не видал. Говорили совсем уехала в Харьков чи в Москву, на профессора учиться.

Он втянул Марусю в хату. Мы всей кучей ввалились вслед за ними. Хозяин, невысокий, плешивый старик с жиденькими усами, и его жена, моложавая баба, стояли растерянные у стола. Девушка лет шестнадцати, их младшая дочь, и две ее подружки жались на лавке за печью. Бубырь посадил Марусю рядом с ними. Она откинула на спину темный шерстяной платок. Под низко повязанной светлой косынкой чернели густые брови. Смуглая, разрумянившаяся, с маленьким ярким ртом, она и впрямь была очень хороша.

Бубырь начал официальным тоном:

– Гражданин Глущенко Охрим, заявляю вам от имени...

И вдруг порывисто бросился к Марусе, схватил ее за горло:

– А ну, открой рот стерва! Выплюнь! Открой! Не дам глотать!.. Эй, хлопцы, помогайте. Эта сука что-то в роте сховала!

Маруся отбивалась, тяжело сопя. Прижали к стенке. Бубырь разжал ей зубы ложкой.

– Ага, вон оно что!

Он держал комок непрожеванной бумаги. Маруся громко плакала. Старик застыл молча. Его жена вполголоса причитала: „Ой, што ж это?! Ой, лышенько! Ой, люди добрые, за что?”

Бубырь разгладил на столе бумажку. Брезгливо отер руку о кожух. Прочитал. Хохотнул. Протянул мне.

– Погляди, какой документ секретный!

Справка Миргородской районнной поликлиники, выданная

гражданке Глущенко Марии в том, что она находилась с... по... января 1933 года на излечении по поводу аборта – прерывания трехмесячной беременности.

– Понял? Трехмесячная! А ее Петрусь уже два года белых медведей пасет... Вот где курва куркульская.

Бубырь посмеивался презрительно. Однако говорил вполголоса только со мной и с Володей. Был заметно смущен. Он небрежно сунул злополучную справку Марусе.

– Забирай свой документ, красуня. И на дальше завсегда запомни: от Бубыря ничего не сховаешь.

– Будь ты проклят, сучий сын! Зараза! Холера! Чтоб ты сдох, как жаба на болоте! Чтоб тебе за каждую мою слезу болячки на морде! Чтоб тебя чахотка душила, как ты меня душил! Гадючье семя! Бандит! Чтоб тебе очи повылазили! Чтоб ты своей кровью захлебнулся!

Маруся ругалась и плакала, не утирая больших, злых слез. Стоявший рядом парень хлопнул ее рукавицей по рту.

– А ну заткнись, паскуда цыганьска!

– Да чтоб вы все добра не видели, злодияки, воры, босяки проклятые! Чтоб вы все посдыхали, чтоб ваши матери себе очи выплакали на ваших поганых могилах!..

Бубырь насупился. И сказал негромко:

– А ну замолчи, стерва! Сейчас же. А то свяжем и сунем в холодную клопов и вшей кормить. Заткнись и чтоб я дыхания твоего не слышал.

Она мгновенно умолкла. Накрылась темным платком так, что и лица не стало видно. Я не заметил, как она потом ушла.

Обыск у Глущенко продолжался несколько часов. В клуне под большим ворохом плотно умятой соломы нашли бочки с пшеницей. Весь чердак был засыпан толстым слоем зерна, а сверху прикрыт сечкой и просто соломой. В клуне установили веялку, стали просеивать зерно, которое сгребали с чердака. Мы все работали. Кто вертел ручку веялки, кто таскал мешки. Хозяин ходил за нами бледный, молчаливый, безропотно услужливый. Хозяйка сидела на печи с дочкой, изредка постанывая и ойкая.

Бубырь под конец сказал нам:

– Глущенко мы карать не будем. Он сам не вредный, тихий дядько. То его жинка гетманит. Она ж и сыну ту Маруську присватала, знала, что посаг (приданое) богатый. Маруська един-

ственная дочка. Ее батько, — по-уличному его Раком звали, — две мельницы имел, паровую молотилку, бугая и жеребца чистых пород. А детей — только Маруська; неплодный был куркуль. В селе говорили, что мать нагуляла ее от цыгана. И сама она в девках здорово гуляла. С дачником женатым в Полтаву ездила. Нелегко было ей жениха найти. Хотя давали за ней хорошего коня, корову с теленком и всякого барахла и грошей... А Петро взял ее, не глядючи, и в приймаки пошел; без отказу работал на тестя. Он тихий хлопец, вроде как его батько. Мы с ним еще в школе товарищевали. И в ЧОНе он со мной воевал. Я его агитировал, чтоб не лез в куркули, не брал Маруську. Не послушал ни меня, ни других. Мать слушал. Ну, и влюбленный был сильно. Через эту сучку и попал в ликвидацию класса... Но старого Глущенко не будем карать. Я ему нагрозил, наказал, чтоб еще пошукал у себя, где есть хлеб, а то пошлем в район в гепеу. И тогда уж значит Сибирь — Соловки. Он плакал, все обещал.

Бубырь в этот день говорил с нами больше, чем всегда. Ему было не по себе. Да и нам тоже. Ведь и я держал Марусю за руку, когда он, вцепившись ей в горло, выдавливал изо рта „документ". Тогда я думал: бандитская шпионка... тайное донесение...

А потом было стыдно до тошноты. И сейчас вспоминать стыдно.

В Поповке хлебосдача подвигалась туго. Правда, каждый день на ссыпной пункт привозили то один, то два воза. Но процент выполнения плана еле-еле дополз до шестидесяти.

Неожиданно приехал секретарь харьковского обкома Терехов. Мы с Володей в тот день были заняты в дальнем кутке. И не видели его. Бубырь собрал общее собрание-митинг на площади перед сельсоветом. Терехов сказал речь. Собрание единогласно приняло резолюцию: „В ответ на призыв любимого вождя товарища Терехова..."*

Потом Терехов укатил в другое село ночевать. Велел доложить ему на следующий вечер, сколько хлеба привезут на ссыпной

* До 1933-34 г.г. бывало еще, что руководителей областных и краевых организаций называли „вождями" и „любимыми вождями". Позднее это стало титулом одного только Сталина.

пункт. Но за весь день, как на зло, не привезли ни одного мешка.

Еще накануне пришла на пункт молодая баба и принесла „гузырь" – килограмма полтора пшеницы.

– У нас тут на кутку вчера товарищ с Харькова говорил... Чернявый такой, в синем кожухе, и усы, как у того начальника из Москвы, який три года тому назад нам коров отдал (она притворялась, что не помнит фамилии Сталина). Цей чернявый говорил, що рабочие очень голодуют, що у ихних детей уже хлеба немае. То я и принесла, скильки намела. Остатнюю пшеницу. Хай вже мои дети одну макуху едять...

Хлопцы, рассказывавшие мне об этом, восхищенно злились:

– Вот чертова баба. Никого не боится. И с нас и с вас надсмехается. Принесла ту пару фунтов, как нищему на паперть. А вокруг дядьки стоят, молчат и радуются на то издевательство. Начальник ссыпного пункта взял гузырь. Жаль, не кинул ей в морду. Но сказал: „Вы, тетенька, если не принесете столько центнеров, сколько нужно, так потом долго плакать будете, этот фунтик вспоминаючи. Как поедете с детьми на Сибирь". А она зыркнула в него оченятами, как ножами. И вроде со слезой: „Ой, так значит, за мое жито и меня же бито. Я ж от сердца принесла, все, что мала... А вы мне еще угрожаете". И пошла, и пошла: „Я до самого Петровского дойду, до Калинина. Мы трудовые хлеборобы. Мы рабочим на помощь..." Вот видите, как ваша агитация действует!

Наша агитация вызвала насмешки этой бабы. Однако речи секретаря обкома Терехова вообще не произвели никакого впечатления. И тогда он распорядился отнять у двух поповских колхозов несколько тонн семенного зерна, приготовленного на весну, с тем, чтобы колхозники потом восполнили из „личных запасов".

Бубырь за эти сутки изменился, как после долгой болезни. Лицо потемнело, ссохлось, глаза потускнели и взгляд стал угрюмо тоскливым. Он чаще кашлял и плевал в грязную тряпку.

– Вот, значит, какой подарок от дорогого вождя. Сегодня с колхоза в бригады пришло только четверо активистов. Трое хлопцев и одна дивчина – самые завзятые комсомольцы. Да и те сумные, как на похоронах. А ведь раньше приходили

и двадцать и тридцать, а бывало, и сорок активистов. Кто их теперь заманит?.. Секретарь наш сегодня, вроде утопленник, з воды вынутый. Поехал по бригадам. Сказал, надо завтра по хатам ходить. Объяснять-разъяснять... А что я объясню? Когда колхозники уже четыре встречных плана выполнили... Уже макуху едят. И не с понтом, как те индюки проклятые, что на ямах сидят и голодными представляются. У колхозников ям не было. А мы с них все шкуры дерем. И еще требуем ин-ту-зиаз-ма. Я уже совсем спать не могу. Хожу – думаю. Лежу –думаю. Што же це такое, дорогие товарищи? Снова ошибки, перегибы?.. Или, може, где шкодят какие-то гады, вредители? Ну как я людям вот эту газету покажу?..

Он вытащил из кармана экстренный выпуск районнной газеты. „Шапки" были набраны большими, почти афишными литерами: „Новая победа на хлебном фронте", „Наш ответ на призыв любимого вождя Харьковщины – потоки хлеба".

– Теперь и вы так напечатаете?.. Може, в республиканском масштабе или краевом это называется победа. Но у нас тут, в Поповке, – кто победил? Только не мы, не колхозы, не Советская власть...

Шли сумрачные дни. Как нарочно, и морозы припустили с туманами, жестокими секущими ветрами. Недаром январь по-украински – „сичень"... Победных реляций о поездке Терехова мы печатать не стали. Я не хотел и не мог. И не дал Володе. Из-за этого мы с ним даже поспорили.

После рассказа Бубыря, когда постоянные наши гости, колхозные комсомольцы, внезапно перестали к нам приходить, Володя растерялся так же, как я. Но он был членом партии, а я только комсомольцем. И, хотя ответственным редактором числился я, он считал себя как бы комиссаром. Дня два он просидел над подшивками харьковских и московских газет, которые бережно собирал и хранил. А потом сказал, что мы допустим политическую ошибку, если станем замалчивать такие факты, как участие секретаря обкома в хлебозаготовках.

– Ведь все-таки за один день сильно повысился процент хлебосдачи и по селу и по району. Это же факт. И факт политический. А если местный актив недопонимает, так это от растерянности... У них тут, конечно, сильная классовая борьба. Мы ж видим. Но только у Бубыря из-за всего этого, да еще из-за

его тяжелой болезни, ослабилась партийность. Это надо понимать. Он впадает в панику. А паника означает оппортунизм. Терехов не от себя лично выступает, а от партии. Он вождь коммунистов области. Не может быть такого, чтобы партия ошибалась, а вот мы с Бубырем были на правильных позициях.

Мы разругались. Моим главным доводом в споре были ссылки на Сталина, на его статьи весны 1930 г., обличавшие „головокружение от успехов" и „перегибы" местных властей.

Но листовку мы не выпустили. И поспешили уехать. Благо из Харькова нас уже несколько раз торопили.

На обратном пути мы провели день в Миргороде; прочли первое из доверительных писем Постышева, обращенных ко всем партийным и советским работникам на селе. Это была тоненькая брошюрка, которую рассылали по райкомам. То было именно письмо – не директива, не воззвание, а товарищеское письмо, рассказывавшее об ошибках, просчетах, убеждавшее, приглашавшее адресатов думать...

Мы восхищались. Володя признал, что Бубырь и я были правы. Когда два года спустя, в феврале 1935 года, меня исключили из комсомола и из университета, обвиняя в связях с троцкистами, Володя был среди тех, кто деятельно помогал мне восстановиться.

В Миргороде мы впервые за долгое время по-настоящему обедали. В столовой райкома нам дали мясной борщ, гуляш и хлеб – не кукурузный, не ячменный, а ржаной. Наши продовольственные карточки в деревнях были ни к чему. А в Миргороде нам сразу выдали по целой буханке хлеба. Сыроватый, с закальцем и с отстающей верхней коркой, но все же настоящий хлеб. Получили мы еще и по куску сала, несколько банок консервов – бычки в томате, – сахар и конфеты – липкие комья карамели. Без карточек мы купили полдюжины пива. И, погрузившись в поезд со всеми этими сокровищами, мы сразу же почувствовали, что несмотря на великолепный обед очень голодны. Поезд был почтовый, тащился долго и пировали мы блаженно.

Уже в день приезда, когда я в заводской редакции рассказывал, как мы работали, мне стало плохо. Рвота, жестокий понос, жар. То был первый приступ тяжелого колихолицистита, который с тех пор так и не удалось залечить. Но именно эта хворь помогла мне начать учиться. Осенью я поступил в уни-

верситет и вскоре ушел с завода.

О зиме последних заготовок, о неделях великого голода я помнил всегда. И всегда рассказывал. Но записывать начал много лет спустя.

И когда я писал, то всплывали все новые воспоминания. Внезапно проступали забытые лица, слышались давно умолкшие голоса. Строчки сплетались в диковинный невод и тащили из темных омутов памяти обломки затонувшей жизни. Одни люди сами вызывали других. Оживали умершие боли и радости. И проклевывались вовсе новые мысли.

А когда я переписывал черновики и когда читал друзьям, возникали вопросы. Давние – казалось, уже навсегда припечатанные ответами, – поднимались со дна, как рогатые мины старой войны, ржавые, но еще опасные. И совсем новые выныривали неожиданно. Вопросы к истории, к современности, к самому себе.

Как все это могло произойти?

Кто повинен в голоде, погубившем миллионы жизней?

Как я мог в этом участвовать?

В книгах А.Платонова, А. Яшина, В.Белова, С.Залыгина, Б.Можаева, Ф.Абрамова изображены те люди и те силы, которые разоряли, разлагали и губили крестьянство.

В повести В.Гроссмана „Все течет...", в „Архипелаге ГУЛаг" А.Солженицына (глава „Мужицкая чума") запечатлены многие горестные гневные свидетельства и отголоски тех гибельных событий. За рубежом есть об этом научно-статистические, социологические, исторические работы.

У нас в стране их не знают. Сама тема все еще запретна. Голод 1933 года продолжают скрывать и десятилетия спустя, как государственную тайну.

Но прав Гете:

И если истина вредна,
Она полезнее обмана.
И если ранит нас она,
Друзья, целебна эта рана.*

Записав то, что помнил давно и что вспомнилось недавно, я решил проверить, дополнить память.

В читальном зале Ленинской библиотеки тишина лечебни-

*Пер. Б.Заходер.

цы и деловитое, неравномерно непрерывное движение вокзала или фабрики.

День за днем я листал пожелтевшие, потускневшие страницы. Постановления, доклады, репортажи. Заметки селькоров. Речи партийных сановников. Статьи знакомых и незнакомых авторов. Такие же, как и я тогда писал или мог писать.

Голоса тех дней бередили память. Сквозь пыльные завесы казенной словесности пробивались, просвечивали недосказанные, невысказанные, а то и вовсе несказуемые клочья...

Нас воспитывали фанатическими адептами нового вероучения, единственной правильной *религии* научного социализма. Партия стала нашей воинствующей церковью, несущей всему человечеству вечное спасение, вечный мир и блаженство земного рая. Она победно одолевала все другие церкви, расколы и ереси. Сочинения Маркса, Энгельса и Ленина почитались, как священные писания, а Сталин, как непогрешимый первосвященник.

Заводы, шахты, домны, паровозы, трактора, станки, турбины превратились в предметы культа, сакральные, исполненные благодати („Техника решает все!"). Им поклонялись в стихах, в прозе, в живописи, в кино, в музыке...

518 и 1040!!! (518 новых промышленных строек и 1040 новых МТС) – эти цифры не сходили с газетных страниц, топорщились на миллионах плакатов, сияли и сверкали на стенах, на крышах, их пели и декламировали. Мы знали их наизусть – вот и сегодня помню, и они значили для нас уж никак не меньше, чем для наших внуков значат имена прославленных „звезд" кино, джаза, футбола, хоккея...

Ежедневно газеты печатали сводки выпуска тракторов, автомашин, молотилок. Бесстрастные величины статистики – цифры планов, отчетов, сводок обретали для нас некую пифагорейски-каббалистическую, завораживающую силу. Когда Сталинградский тракторный стал производить по 120 тракторов в день, я испытал настоящую личную радость.

О борьбе за хлеб тоже вещали цифры, таблицы, сводки.

В 1926-27 г.г. на Украине было заготовлено 197 миллионов пудов.

В 1927-28 г.г. – значительно больше: 261 миллион.

Однако этого было уже недостаточно. Троцкисты и другие левые оппозиционеры призывали повышать налоги, нажимать на кулака. Правые настаивали на более целесообразной политике товарооборота: производить больше сельскохозяйственных орудий, тканей, обуви, предметов потребления, чтобы крестьяне сами хотели продавать больше хлеба.

В 1929 году заготовили 300 миллионов пудов.

В 1930 – уже 464 миллиона!

Эта цифра знаменовала победу коллективизации.

Все оказывалось так ясно и просто! В 1929 году на Украине было 3266000 единоличных крестьянских хозяйств – океан мелкой собственности! – 200000 „кулацких" хозяйств были к концу 1930 года „ликвидированы". А значительное большинство середняков и бедняков (73,2% всей посевной площади) объединены в 24191 колхоз.

Согласно этой общедоступной арифметике наша деревня становилась социалистической. „Борьба за хлеб увенчалась победой".

Тогда многое стали называть борьбой. В цеху боролись за план, за снижение брака, против прогулов. В школе боролись против лени, отсталости, недостаточной сознательности. Дворники боролись за чистоту тротуаров. Боролись врачи, литераторы, землекопы, счетоводы...

Мы упоенно выкликали припев „Буденновского марша" – одной из самых популярных песен тех лет – „И вся-то наша жизнь есть борьба!.."

За что, против кого и как именно должно бороться в каждое данное мгновение решала партия ее руководители. Сталин был самым проницательным, самым разумным (тогда его еще не начали называть „великим" и „гениальным"). Он сказал: „Борьба за хлеб – это борьба за социализм". И мы поверили безоговорочно. И позднее верили, что безоговорочная коллективизация была необходима, чтобы преодолеть своевольные стихии рынка и отсталость единоличного хозяйства, чтобы планомерно снабжать города хлебом, молоком, мясом. А также для того, чтобы перевоспитать миллионы крестьян, этих мелких собственников, а значит, потенциальных буржуев, кулаков, – превратить их в сознательных тружеников, освободить от „идиотизма деревенской жизни", от невежества и предрассудков,

приобщить к культуре, ко всем благам социализма...

Но в 1931 году на Украине заготовили только 434 миллиона тонн – на 30 миллионов меньше, чем в предыдущем году.

Одни объясняли это засухой. Другие – плохой работой заготовителей. Третьи – плохой работой колхозов. И почти все говорили о вредительстве.

13 февраля 1932 года был создан Комитет заготовок при Совете Труда и Обороны (СТО). Неделю спустя, 21 февраля, было издано постановление о „контрактации зерна нового урожая”. Заготовителям предписывалось заключать с крестьянами договора, по которым единоличные хозяйства должны будут сдавать государству от 25 до 30 процентов всего собранного ими зерна, 50 процентов бобовых, 70 процентов подсолнечных.

(За день до этого ЦИК постановил лишить советского гражданства 37 проживавших за границей меньшевиков, эсеров, а также Троцкого и членов его семьи. Пятью годами раньше его исключили из партии, в частности и за „переоценку кулацкой опасности и недооценку середняка”.)

Весной 1932 года газеты и докладчики ликовали: „зерновая проблема решена!” Ссылаясь на это, ЦК и Совнарком в постановлении „О плане хлебозаготовок и развитии колхозной торговли” 6 мая 1932 года возвестили „применение новых методов торговли хлебом”. Всем колхозникам и единоличникам, которые выполнят план хлебозаготовок и заготовят посевные семена, предоставлялось право с 15 января 1933 года свободно торговать хлебом по рыночным ценам. Для Украины план хлебозаготовок был установлен в 356 миллионов тонн. На 78 миллионов тонн меньше, чем в 1930 г.

Всех этих цифр я, потом уже, разумеется, не помнил. И лишь значительно позже сообразил, что „новые методы колхозной торговли” были обещанием возродить несколько видоизмененный НЭП.

Государство пыталось восстановить „смычку” и поладить с деревней, еще не окончательно ограбленной.

25 июля 1932 года постановление ЦК и Совнаркома „Об укреплении революционной законности” строжайше запретило „принудительно обобществлять имущество крестьян... произвольно устанавливать твердые задания единоличникам... нару-

шать колхозную демократию (и в частности, „принцип выборности"). Запрещалось также „командовать... администрировать... мешать колхозной торговле".

А 7 августа был издан закон ..Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении социалистической собственности". Этот закон был придуман и написан лично Сталиным*. В преамбуле сказано: „Покушающиеся на общественную собственность должны рассматриваться как враги народа".

Впервые официально применялось то понятие, которое впоследствии стало обиходным в судах, в газетах, в публичных речах и в частном быту. В 1938 г. Вышинский на процессах требовал расстрела врагов народа Бухарина, Пятакова, Рыкова. Охранник на лагерной вышке рапортовал: „Пост по охране врагов народа сдал... принял".

22 августа новое постановление ЦК и СНК „О борьбе со спекуляцией" – крестьянин, продавший свой хлеб, не дожидаясь официального разрешения, рисковал быть зачисленным в спекулянты. В этом постановлении уже и речи не было о законности, о судах, оно обязывало „ОГПУ, органы прокуратуры и местные органы власти... применять заключение в концентрационном лагере сроком от 5 до 10 лет без права применения амнистии". Так постановления не законодательных ведомств (ЦК партии) заменяли и „дополняли" законы, одновременно препоручая судебные функции ОГПУ!

Так в ходе борьбы за хлеб вырабатывались и пропагандировались обоснования и мнимо-законные средства тех бессудных расправ, которые в последующие годы обрекли на гибель, на страдания миллионы людей.

Августовские указы стали смертоносно действенны. Они контрапунктно развивали те майско-июньские постановления, которые сулили свободную колхозную торговлю, но остались пустыми бумажками.

Однако ни тогда, ни позднее я не ощущал этих противоречий.

За рубежами лютовал всемирный кризис. Каждый день газеты сообщали о голоде, о безработице, о разгоне демонстра-

*И.Сталин, *Собр. соч.*, т.13, М., 1952, стр. 409.

ций, о том, как в Америке сжигают хлеб, выливают в канавы молоко, как в Китае пытают, казнят.

И в тех же газетах телеграммы, статьи, очерки рассказывали о наших новых заводах, домнах, МТС, о все новых и новых успехах, достижениях, все более грандиозных замыслах. Правда, немало было и тревожных корреспонденций, обличительных заметок... В отсталом колхозе плохо убрали урожай. Растяпы в тресте не углядели вредителей. Бесчестные хозяйственники воровали. Несознательные рабочие прогуливали или скрывали брак. Несознательные колхозники лодырничали.

Но дурные вести не могли обескуражить. На то и суровые будни. Борьба.

У нас на ХПЗ в 1932 г. строили новые цеха: термический, корпусной, моторный. Приезжал Орджоникидзе, ходил по заводу, разговаривал и с инженерами и с рабочими. Сердито горячился, что все еще не выполняется план. Мне он сказал: „Газетки выпускать умеете. Это немножко легче, чем танки... А скажи, редактор, почему опять недельное задание в прорыве? Ах, литье подкачало и корпуса? Смежники виноваты? Это все говорят – и директор, и партком, и начальники, и подчиненные. А рабкоры обязаны находить виновных на месте. Кто твой лучший рабкор? Пошли, покажи. Может, хоть он не боится критиковать свое начальство, если редактор боится!"

Лучший рабкор – наладчик Максим Приходько тоже говорил, – вернее, орал сквозь грохотание сборки про смежников, поставляющих недоброкачественные корпуса, и про брак в сталелитейном. Орджоникидзе отмахнулся.

– Все вы тут одним миром мазаны. Нигде близко виноватых нет. Только далеко, только подальше.

Максим перекрикивал гудение моторов:

– Ни Гнат не виноват, ни Калина не винна, одна хата винована, шо пустила на ночь Гната.

Все засмеялись. Описывая встречу наркома с рабкорами, я, к сожалению, не мог привести шутку Максима: по нашим тогдашним понятиям фривольный намек был недопустим в серьезной заводской газете.

Осенью я позволил себе наконец взять отпуск. Мы не знали отпусков и почти не пользовались выходными с начала пятилетки. Надя работала тогда в заводской лаборатории. Ей тоже

дали отпуск. И в октябре мы оба впервые в жизни попали в Крым – получили путевки в дом отдыха в Ялте...

В Ялте мы подружились с Альфредом Павловским. Немецкий рабочий-коммунист, отпущенный из лейпцигской тюрьмы под залог на три месяца, чтобы подлечить туберкулез, он прожил в санатории только шесть недель. Предстояли внеочередные выборы в рейхстаг, и он не мог оставаться вдали, не хотел больше лечиться; писал в Коминтерн, в МОПР, требуя, чтобы его отпустили домой. МОПР не позволял, не давал ему денег. Тогда он решил ехать самовольно. В его санатории и в нашем доме отдыха собрали „шапкой по кругу" больше 100 рублей. Проводы ему устроили вскладчину в „Поплавке", приморском ресторанчике на сваях. Каждому из участников пиршества досталось по стопке водки, две кружки пива, полдюжины чебуреков, сочившихся бараньим жиром, и кофе с мороженым. Мы чувствовали себя кутилами, купавшимися в роскоши. Пили за здоровье Альфреда, за победу пролетарской революции в Германии, распевали русские и немецкие песни и неизменную „Бандьера Росса". Альфред сказал, что всегда хорошо думал о русских геноссен, о Советском Союзе, который фатерлянд пролетариев всего мира. Но раньше только думал, а теперь чувствует. Всем сердцем чувствует, каждым клочком легких, которые здесь починили. Именно поэтому он должен ехать. Он должен все рассказать немецким рабочим, немецким избирателям. В его городе его хорошо знают и социал-демократы и нацисты. Среди них ведь много обманутых рабочих парней. Противники называют его мечтателем, фанатиком. Но никто и никогда не называл его вруном. Ему поверят. Он докажет; вот у него снимки, открытки. И мы добудем тысячи новых голосов, мы вместе с вами, геноссен. МОПР, и Крым, и ты, и ты, и вы все. Победит список номер три – КПД, Коммунистише Партай Дойчландс. И это будет наша общая победа. Рот фронт!

Зимой, когда я вернулся из деревни уже после того, как Гитлер стал рейхсканцлером, меня ждало письмо из Германии: брат Альфреда писал, что тот успел несколько раз великолепно выступить на собраниях перед выборами, пока полиция не узнала его и не водворила обратно в тюрьму. В их городе коммунисты получили на 20 процентов больше голосов, чем было подано за Тельмана весной*.

*Альфред был в 1931 г. осужден по обвинению, в котором в числе дру-

В конце октября 1932 г. меня послали в Москву на совещание в редакции журнала „Рабселькор". Наде разрешили взять отпуск за свой счет.

И мы впервые увидели Москву. Мы шли в мавзолей и в Третьяковскую галерею, в музей Революции и в домик Толстого торжественно возбужденные, как паломники, добравшиеся до заповедных святынь.

В Москве у нас не было денег ни на рестораны, ни на театры. По вечерам, когда закрывались музеи и выставки, мы просто ходили по городу, искали те улицы, площади, здания, о которых когда-то читали, слышали на уроках истории. Еще целы были Китайгородская стена, Сухарева башня и Страстной монастырь. Вечером, сэкономив на ужине, мы пошли в кинотеатр „Ударник". И это был праздник. Огромное новое здание – строим уже не только заводы! – двухярусный кинозал, невиданное величие. Мы смотрели фильм „Встречный" и восприняли его как прекрасное искусство, необычайно правдиво отразившее драматизм нашей жизни. Песню Шостаковича „Нас утро встречает прохладой..." мы оба запомнили сразу и навсегда.

Сегодня в мире все новых, все более разнообразных потребностей и взыскательных потребителей наши тогдашние радости могут показаться наивно-убогими. Но в моей памяти осенние дни 1932 года в Ялте и в Москве остались неостудимо, ликующе праздничными.

А между тем, именно в те дни, такие радостные для нас, двадцатилетних влюбленных, уверенных в том, что наша родина – лучшая страна в мире, а наша жизнь полна великого смысла, вокруг нас уже развертывалась новая жестокая битва.

Наша партия, наше государство воевали против крестьян.

В августе и в сентябре „Правда" писала, что на Украине плохо заготовляют хлеб, разбазаривают его, укрывают...

Еще в сентябре приезжали Молотов и Каганович. На митинге, собранном во дворе после окончания первой смены, они говорили об „ошибках, допущенных на Украине по линии заготовок". Тогда мне больше всего запомнилось, как бледный желтоватый Молотов не мог произнести звукосочетания „ст"

гих пунктов значилось участие в уличных схватках со штурмовиками, квалифицированное как „соучастие в убийстве". После 1933 г. гитлеровцы убивали всех осужденных такого рода.

и, часто называя Сталина, каждый раз натужно заикался. А развязный, жовиальный Каганович играл, видимо, давно привычную роль „пламенного агитатора" и „свойского парня". То, что они говорили об ошибках и недостатках, не встревожило. Тон не был угрожающим. И „конкретных носителей зла" они не называли...

Но сейчас по газетам и журналам тех лет я вижу, что уже в начале сентября можно было ощутить подземные толчки приближавшейся катастрофы.

В июньском номере „Большевика Украины" (№13-14) еще звучал бодрый мажор – „Постановление СНК и ЦК о хлебозаготовках означает, что отныне каждый колхоз становится полным хозяином-распорядителем над большей частью произведенного им зерна..." В том же номере приводилась речь Кагановича: „Для того мы боролись и революцию делали, чтобы и рабочий и крестьянин жили лучше, чем раньше". Он высмеивал тех партийных и советских работников, которые „боятся приусадебных хозяйств... боятся собственной тени".

Еще и в августовском номере (№17-18) В.Затонский уверял, что партия ведет к „новому скорому расцвету и благоденствию деревни", предостерегал местные власти от перегибов и уклонов.

Но уже в сентябре тот же журнал (№19-20) писал тревожно, что планы хлебозаготовок не выполняются и в этом повинны „руководители колхозов, коммунисты, руководители партийных ячеек, которые объединились с кулачеством и с петлюровцами и стали не борцами за хлеб, а агентурой классового врага".

К началу октября на Украине было сдано всего 25,9 процента хлеба, предусмотренного планом хлебозаготовок. Это объясняли плохой работой низовых партийных организаций и колхозного руководства.

В октябре „Большевик Украины" (№21-22) гневно обличал колхозы, которые раздают хлеб „на авансы" и по трудодням, еще не сдав ничего государству... „до 30 процентов трудодней начислено руководящим работникам и вовсе посторонним односельчанам – учителям, милиционерам, врачам".

18 ноября секретарь Харьковского обкома Терехов в докладе на собрании городского партактива говорил уже об „угрожающем прорыве в хлебозаготовках", который означает

„подарок кулаку". Главной причиной неудач он называл „голую идеализацию колхозов". Партия и правительство, оказывается, „переоценили" колхозы, понадеялись, что они честно выполнят свой долг перед державой, сдадут хлеб и потом будут свободно торговать. А колхозы вместо этого „разбазаривают урожай на авансы, на общественное питание, на разные фонды". Он требовал немедленно отобрать хлеб, выданный „неправильно" на авансы колхозникам, а также „решительнее нажимать на единоличников".

19 ноября Совнарком и ЦК постановили обложить новым „единоразовым налогом" единоличные хозяйства. Сверх всех других поборов крестьяне должны были отдать государству еще от 100 до 170 процентов причитающегося с них сельскохозяйственного налога, а „кулацкие" хозяйства – 200 процентов. Местным властям давалось право повышать, даже удваивать ставки для тех, кто не сдал хлеб.

2 декабря СНК и ЦК разрешили „свободную торговлю хлебом в Московской области и в Татарской АССР", которые „выполнили планы хлебозаготовок". То был „пряник". Но кнуты хлестали все нещаднее.

3 декабря. Совнарком распорядился „подвергать уголовному преследованию за расходование хлебных фондов"... и строго судить руководителей колхозов, которые из хлебных фондов, предусмотренных и разрешенных ранее, выдавали хлеб строителям, милиционерам, в больницы и т.д.

6 декабря Совнарком постановил „заносить на черную доску деревни и колхозы, не выполнившие плановые обязательства по сдаче хлеба". В таких деревнях надлежало „ немедленно прекратить торговлю... вывезти все наличные товары из кооперативных и государственных лавок".

К этому правительственному распоряжению годился бы эпиграф: „Сарынь на кичку! Руки вверх! Хлеб или жизнь!"

7 декабря ЦИК СССР постановил изъять из ведения сельских судов все дела „О хищении общественного имущества". За сельскими судами осталось право судить только мелкие кражи (на сумму не свыше 50 рублей) и только личной собственности.

Это было несколько запоздалое дополнение к закону от 7 августа. Сельские суды не могли приговаривать к смерти и к длительным срокам заключения. А каждый посягнувший на го-

сударственную или колхозную собственность – на хлеб! – был потенциальным смертником.

10 декабря было опубликовано решение Политбюро ЦК ВКП(б) провести новую чистку партии и на это время прекратить прием в кандидаты.

27 декабря ЦИК издал постановление о паспортах, которые вводились для горожан, чтобы „лучше учитывать население", „разгрузить города" и „очистить их от кулацких уголовных элементов".

Мой отец и некоторые старики на заводе были недовольны, говорили, что паспорта – подражание царской, полицейской бюрократии; я спорил, возмущался, – как можно даже сравнивать?

А ведь то закладывалась одна из административно-правовых основ нового крепостничества и беспримерной тоталитарной государственности. „Кулацкими элементами", от которых надлежало очищать города, оказались *все* крестьяне, уезжавшие из деревни без особого разрешения местной власти. Паспортный режим снова „прикрепил" крестьян, как это было до 1861 года.

Система обязательных прописок и доныне означает административный надзор над всеми гражданами вообще. И многих, едва ли не всех советских людей, ограничивает в праве выбирать место жительства. Благодаря той сталинской паспортизации 1932-1933 годов, и сегодня можно не пускать крымских татар в Крым, немцев Поволжья на Волгу, месхов и греков в Грузию, можно запрещать политзаключенным, отбывшим сроки, возвращаться в родные места.

Борьба *за хлеб* в 1932 году начиналась отступательными примирительными маневрами. Так было в мае и в июне.

Но уже в августе наметился крутой поворот. И государство перешло в нервически беспорядочное, яростное наступление.

Все средства пропаганды, все силы районной администрации, партийного и комсомольского аппарата, суды, прокуратура, ГПУ и милиция должны были устремиться к одной цели – добывать хлеб.

Наша выездная редакция была одной из несметного множества наспех призванных войсковых частей – вернее, частичек –

паникующего хлебного фронта.

В январе 1933 года заговорил сам Главнокомандующий.

Собрался пленум ЦК; Сталин докладывал. Он не сказал ни слова об угрозе голода. Зато много твердил, что обостряется классовая борьба, а те, кто „склонны к контрреволюционной теории потухания классовой борьбы и ослабления классовой борьбы... перерожденцы либо двурушники, которых надо гнать вон из партии". Едва ли не главным выводом из его доклада был призыв к „революционнной бдительности".

В речи „О работе в деревне" он признал, что, хотя в 1932 году хлеба собрали больше, чем в 1931, но „хлебозаготовки прошли с большими затруднениями"... „объявление колхозной торговли означает легализацию рыночной цены на хлеб, более высокой, чем установленная государственная цена. Нечего и доказывать, что это обстоятельство должно было вызвать у крестьян некоторую сдержанность в деле сдачи хлеба государству".

Уже Ленин писал о грубости Сталина. Злобно-грубыми бывали почти все его полемические выступления. Однако массовые расправы с крестьянами в 1930 году, ограбление миллионов и насильственную коллективизацию он снисходительно назвал „головокружением от успехов". О законе от 7 августа 1932 года, который грозил смертью сотням тысяч людей, сказал, что он „не страдает особой мягкостью". И столь же эвфемически говорил он о неудачах хлебозаготовок.

„Деревенские работники не сумели учесть новой обстановки в деревне", не предусмотрели, не учли „сдержанности крестьян" и поэтому „не выполнили своего долга... всемерно усилить и подгонять хлебозаготовки". Он самокритично признавался: „ЦК и Совнарком несколько переоценили ленинскую закалку и прозорливость наших работников на местах". Тогда как в противоположность единоличникам, колхозники „требуют заботы о хозяйстве и разумного ведения дела не от самих себя, а от руководства" (?!).

Он так и сказал без обиняков: „Партия уже не может теперь ограничиваться отдельными актами вмешательства в процесс сельскохозяйственного развития. Она должна теперь взять в свои руки руководство колхозами... должна входить во все детали (!!!) колхозной жизни" и т.д.

Сталин доказывал, что нельзя „переоценивать колхозы...

превращать их в иконы". Хотя колхоз — это „новая, социалистическая форма организации хозяйства", но ведь главное — „не форма, а содержание" (словосочетание „форма организации" на четырех страницах повторено 17 раз).

Он утверждал, что колхозы *„не только не гарантированы от проникновения антисоветских элементов, но представляют даже на первое время некоторые удобства для использования их контрреволюционерами".* И прямо сравнил колхозы с Советами в 1917 г., когда ими „руководили меньшевики и эсэры", напомнил о кронштадтском лозунге „Советы без коммунистов".

Тогда я воспринимал эти рассуждения как пример диалектической проницательности. А когда писал и переписывал эти страницы, внезапно стало понятно: да ведь Сталина испугали именно те новые силы, которые пробуждала, могла пробудить коллективизация. Новые объединения крестьян — пусть поначалу и насильственные, искусственные — кое-где становились, могли стать по-настоящему самодеятельными.

Все оппозиции были подавлены, разогнаны по ссылкам и „политизоляторам" (так называли дальние тюрьмы). Кулаки выселены.

Однако в „сдержанности крестьян" он ощутил новую угрозу, тем более страшную, что ее носителями были уже не политические и не идеологические противники, не „классовые враги", а миллионы по-новому организованных бедняков и середняков.

Ими руководили такие люди, как Чередниченко, Ващенко, Бубырь, сотни тысяч „низовых" коммунистов, которые верили его словам, лозунгам, обещаниям, верили в программу, провозглашенную ЦК, безоговорочно ее поддерживали.

Но Сталин все больше опасался именно беззаветных, бескорыстных соратников, видел в них угрозу для режима, основанного на противоположности слова и дела. Торжественно возглашаемые идеологические принципы все явственней противоречили зигзагообразной „генеральной линии" государственной политики.

Первоначально планы кооперирования сельского хозяйства и уставы колхозов предусматривали такие возможности общественной жизни в деревне, которые в известной мере были связаны с традициями старой русской общины и украинской „громады". Эти возможности и традиции не противоречили

и тем принципам Советов, которые провозглашались в 1917 году. Но были чужды сущности сталинского правления, которое уже становилось бюрократически-крепостническим самодержавием.

Борьба за хлеб и впрямь была борьбой политической. Независимо от того, насколько это сознавали ее рядовые и руководящие участники. Действительная самодеятельность в „новых формах организации” крестьян испугала Сталина и его приспешников не меньше, чем их наследников четверть века спустя напугал чешский „социализм с человеческим лицом”.

Инстинкт властолюбца придавал аналитическую остроту ограниченной, доктринерски примитивной мысли Сталина и подсказывал ему достаточно эффективные приемы истолкования и „перетолковывания” действительности.

В той речи он снова и снова повторял одни и те же обвинения против колхозников и „товарищей на местах”.

А в заключение твердил экстатически-исповедально: „...виноваты во всем только *мы* (подчеркнуто в подлиннике. – *Л.К.*), коммунисты... *Мы* виноваты в том, что не разглядели... *Мы* виноваты в том, что оторвались от колхозов, почили на лаврах... *Мы* виноваты в том, что все еще переоценивают колхозы как форму организации... *Мы* виноваты в том, что... не уяснили новую тактику классового врага...”

(Монарх, возвеличивая единственность своего „я”, говорит о себе *мы*. В устах генсека „*мы*” заменяло „вы”. Это было такое же привычное лицемерие, как обращение „товарищи”, как рудиментарные ритуалы выборов, отчетных докладов и „коллективных договоров”.)

Гипнотизирующе настойчивое повторение простых словосочетаний – постоянная особенность сталинских речей. Так же, как отчетливое катехизисное построение: вопрос – ответ, причина – следствие, посылка – вывод и нумерация тезисов: во-первых, во-вторых...

Прилежного ученика семинарии выдают и другие характерные свойства: интонация начетчика, монотонность псаломщика, инквизиторский стиль обличений – нападки на еретиков, отступников, грешников; чередование показной „кротости” с фанатической истовостью; обязательные ссылки на „святых отцов” – Маркса, Энгельса, Ленина и на „козни дьявола” – зарубежных врагов, троцкистов, кулаков.

Однако его типичной семинаристской риторике присуще и некое индивидуальное своеобразие. Начинал он, как правило, с простых истин: обещание свободной торговли должно было повлиять на крестьян... Колхозники работают менее ревностно, чем единоличники и т.д. Настойчиво повторяя очевидную правду или правдоподобную полуправду, он постепенно подводил слушателей и читателей к лживым заключениям: в колхозы пролезли враги; местные власти ослеплены, растеряны, развращены либо стали прямыми, сознательными пособниками врагов и т.п.

И выводы он тоже повторял упрямо, надсадно, монотонно, как шаманское камлание. Оснащаемые ленинскими цитатами и сталинскими шуточками, заклинания возбуждали массовую паранойю, этакую организованную эпидемическую манию — психоз преследователей и преследуемых. Вскоре такие мании стали неотъемлемой особенностью нашего общественного бытия и повседневного быта.

Пленум ЦК решил учредить политотделы МТС и совхозов. Значительно расширялась и усложнялась система централизованного управления сельским хозяйством.

Задачи новосоздаваемых учреждений определялись недвусмысленно: „Решительная борьба с расхищением колхозного добра, борьба с явлениями саботажа мероприятий партии и правительства в области хлебозаготовок и мясозаготовок в колхозах..."

Уже само название *политотдел* напоминало о войне. Политотделы были в дивизиях, в армиях. Политотделы МТС должны были не столько вести политическую, организационную и пропагандистскую работу на самих МТС, сколько наблюдать за колхозами („активно участвовать в подборе кадров МТС и правлений и служащих обслуживаемых МТС колхозов, имея в виду как руководящий состав, так и административно-хозяйственных работников").

Политотделы подчинялись непосредственно „политсектору краевого или областного земуправления" или республиканского наркомзема, а те в свою очередь — непосредственно политуправлению МТС Союзного Наркомзема. Таким образом новые *военизированные партийно-полицейские ведомства,* будучи независимыми от местных властей, создавали прямую „линию переда-

чи" административной энергии, извергаемой центром. А колхозные ячейки и сами колхозы оказывались в двойном подчинении (Райкомы и Райисполкомы сохраняли полноту власти).

Централизованному иерархическому государству, казалось бы, необходимы послушные и действенные механизмы управления. Однако нашим партийным и государственным властям изначально были свойственны бесплодная суета и бюрократическая возня. При любом кризисе они многократно усиливались, причем безответственные „верхи" перелагали ответственность за свои же нелепые приказы на растерянные „низы", и прилежных исполнителей карали за просчеты распорядителей.

На Украине за 19 месяцев с 1 августа 1930 г. до 1 марта 1932 года были заменены 942 рукводящих работника райпарткомов. А за последующие 4 месяца еще 716*.

С 1 февраля 1933 года до 1 ноября 1933 года сменили 237 секретарей райпарткомов и 249 председателей райисполкомов.

За то же время проходили „чистку" 120000 членов и кандидатов партии: 27000 были вычищены как „классово враждебные, неустойчивые, разложившиеся"**.

Так борьба за хлеб, война власти против крестьянства оборачивалась еще и саморазрушительным побоищем. Партийные штабы жестоко расправлялись с подчиненными – и с недостаточно бдительными или недостаточно послушными, и со слишком властными, и просто с неудачниками, попадавшими под колеса на очередном крутом повороте „генеральной линии".

19 января 1933 г. был издан новый закон „о поставках зерна государству". Взамен хлебозаготовок вводился единый хлебный налог, который надлежало взимать уже не с урожая, не по договорам и не по твердым заданиям, а с „площади реально обрабатываемой земли".

18 февраля Совнарком СССР разрешил ввести торговлю хлебом в Киевской и Винницкой областях, в ЦЧО и в Грузии.

* „Більшовик України", №21-22, XI, 1933, стр.13.

** П.Постышев, „Итоги 1933 сельскохозяйственного года и очередные задачи" – доклад на пленуме ЦК КП/б/У 19.XI.33 г.

25 февраля Совнарком и ЦК постановили выделить „семенное пособие" колхозам и единоличникам, оставшимся без посевного зерна. Для Украины предназначалось 20300000 пудов.

То были новые, но запоздалые пряники.

Уже голодали села Харьковщины, Днепропетровщины, Одесщины. И новое тактическое отступление генералы хлебного фронта проводили над тысячами свежих могил.

Бедствия, вызванные хаотически непоследовательной „борьбой за хлеб", разрастались и ширились тоже хаотически и неравномерно. В иных местах рядом с голодающими районами были такие, в которых люди все же как-то перебивались, и местные власти даже рапортовали об успехах. В десяти-двадцати километрах от вымиравших, пустевших сел оставались деревни и колхозы, где лишь немногие семьи оказались без хлеба; опухших от недоедания лечили.

Эта чересполосица катастрофы поставляла доводы и бессовестно хитроумным и добросвестно наивным утешителям. Мол, вот на той же самой земле, при тех же объективных условиях, все по-разному. Потому что там партийное руководство не подкачало, не упустило врагов.

...„Хлеб есть, надо только сломить кулацкое сопротивление" – писал в январе журнал „Агитатор для села". А двухнедельник „Колгоспний активіст" поносил „жалких нытиков, которые доходят до того, что, имея хлеб, сознательно морят голодом себя и своих родных, лишь бы вызвать недовольство других колхозников" (№1, стр.37).

ЦК ВКП/б/ отстранил секретаря Харьковского обкома Р.Терехова – того самого, который в ноябре требовал отнимать у колхозников полученный ими за работу хлеб, а в январе отнял посевное зерно в Поповке, привел в отчаяние Бубыря и наших селькоров.

Партия изгоняла зарвавшегося чинушу, „перегибщика", одного из тех, кто был непосредственно повинен в начинавшемся голоде. Это убеждало в правильности других решений и других расправ с теми, кого объявляли виновниками всех бед.

И мы продолжали верить нашим руководителям и нашим газетам. Верили, вопреки тому, что уже сами видели, узнали, испытали.

...Восемь лет спустя, в августе 1941 года, в мокрых окопах у Волхова, сразу после того, как мы ушли из горевшего Новгорода, я верил, что лишь здесь, на этом гиблом участке огромного фронта, немцы оказались так несоизмеримо, так сокрушительно сильнее нас. День за днем немецкие самолеты осыпали нас бомбами, секли пулеметным огнем. Двухмоторные штурмовики Мессершмиты-110 яростно гонялись за отдельными машинами, даже за пешеходами. Только изредка наш одинокий отчаянный „ястребок" бросался на строй вражеской эскадрильи, сбивал одного-другого черно-желтого Юнкерса или Хейнкеля, а потом сам, густо дымя, скользил вниз. Когда телефонист сообщал, что летчик жив, только остался „безлошадным", мы ликующе победно орали „ура!"

Сравнивая показания пленных и все, что я сам видел с НП в стереотрубу, с тем, что было рядом, вокруг и позади до самого Валдая, нельзя было сомневаться, кто сильнее...

У нас в двух танковых дивизиях – 3-ей и 28-ой – оставалось от силы два-три основательно потрепанных танка, и главной заботой было доставать для спешенных танкистов автоматы, винтовки, ручные гранаты, пулеметы. Всего нехватало.

А там, по дороге на Чудово, на Ленинград, катили и катили колонны танков, тяжелых и средних, мчались грузовики с пехотой, тягачи волокли огромные пушки. И мы видели их и нам нечем было помешать. Артиллеристы проклинали жесткие „лимиты расхода боеприпасов", снова и снова повторяли угрюмую шутку: „Давеча какой-то Ганс опять кричал: эй, рус, возьми полмины сдачи, лимит перерасходовал!"

Зато немецкие батареи щедро обкладывали нас всеми калибрами и прицельно, и по площадям в строго определенные часы. Листовки, густо сыпавшиеся после бомбежек, сообщали о новых победах вермахта по всему фронту от Белого до Черного моря. И каждую ночь уходили от нас к немцам перебежчики из недавно призванных запасников...

Но в один из самых мрачных дней в холодной сырой землянке мы заспорили о том, когда же наконец начнется наше контрнаступление и когда именно мы дойдем до Варшавы и Берлина. Я был среди немногих скептиков, полагавших, что для полного разгрома гитлеровской империи потребуется все же не менее года. Большинство, в том числе и кадровые солдаты и офицеры – танкисты и молодые политработники из ново-

бранцев, отвергали наше „маловерие". И спорили уже о том, к октябрьским праздникам или к новому году мы начнем наступать и придем ли в Берлин ко дню Красной Армии или к Первому мая.

В морозно-туманное утро 7 ноября, сразу после жестокой бомбежки, еще струилась земля из потрясенного перекрытия землянки, зажужжал полевой телефон: „Давай, включай радиву, в Москве парад!" И я услышал знакомый голос с грузинским акцентом, интонации спокойной убежденности и слова о победе „через полгода-годик", и совсем необычные, благословляющие слова „пусть осенит вас великое знамя..."

В памяти не остывали боль и ужас 33-го и 37-го годов; я помнил, знал и даже в какой-то мере понимал, как он раньше хитрил, обманывал нас, лгал о прошлом и о настоящем, когда мы вместе с Гитлером громили и делили Польшу, когда постыдно воевали в Финляндии. И все же я опять поверил ему так же, как мои товарищи. И верил даже больше, чем когда-либо раньше. Потому что, пожалуй, именно тогда впервые испытал к нему сердечную, родственную привязанность. Раньше было только уважение, рассудочное, временами боязливое, – непроницаем, непредвидим, суров, жесток, – но именно только уважение к тому, кого считал гениальным „хозяином", лучшим из возможных вождей моей страны и всех добрых сил мира.

Этой веры и даже этой сердечной приязни не могли разрушить и многие годы тюрем и лагерей, и все новые кошмары послевоенного великодержавия, расправы с целыми народами, с бывшими военнопленными, с „пособниками клики Тито", с космополитами, с „повторниками"...

Понадобилось несколько лет уже после первых разоблачений „культа личности", когда я настойчиво передумывал собственные воспоминания, „выдавливая из себя по капле" мировоззрение и мироощущение, идеологию и психологию рабского доктринерского мифотворчества, чтобы я стал наконец понимать, какого уродливого пигмея вообразил пригожим великаном, как непоправимо губительны были тогдашние наши, – мои, – диалектические иллюзии и слепое доверие.

Сегодня я убежден, что никакие победы и завоевания, ни разгром гитлеровщины, ни полеты космонавтов не могут нас оправдать, не должны рассматриваться как „смягчающие обстоятельства".

И тем менее простительны все рассудочные и эмоциональные предпосылки моей виновности, моего соучастия в тех роковых хлебозаготовках, – при всей их объективной, т.е. общественно-исторической, – и субъективной, т.е. непосредственно-личной, – детерминированности, объяснимости...

Этого греха не отмолить. Ни у кого. И ничем не искупить. Остается только жить с ним возможно пристойней. Для меня это значит – не забывать, не скрывать и стараться рассказывать как можно больше правды, и возможно точнее.

В феврале я болел. Товарищи, приходившие меня навестить, рассказывали: вокзалы забиты толпами крестьян. Целые семьи со стариками и малышами пытаются уехать куда-нибудь, бегут от голода. Многие бродят по улицам, просят подаяния...

Каждую ночь грузовики, крытые брезентом, собирали трупы на вокзалах, под мостами, в подворотнях. Они ездили по городу в те часы, когда никто еще не выходил из домов. Другие такие же машины собирали на улицах бездомных. Совсем истощенных отвозили в больницы. Все лечебницы в городе были переполнены. Морги тоже.

Детей, оставшихся без родных, отправляли в приемники. Но всех, кто покрепче, просто увозили подальше от города и там оставляли.

Пришел отец, вернувшийся из поездки по районам, – проверял, как готовятся к севу сахарной свеклы. Он сидел, горбясь; воспаленные глаза, лицо темное, как после малярии. Но он не был истощен. На сахарных заводах не голодали.

– Да не болен я. Какие сейчас болезни? Ты что, не понимаешь? Душа болит. И мозг разрывается. Я такое видел, чего никогда видеть не приходилось. Не мог бы вообразить. Никому не поверил бы. Ты из района еще до голода уехал. Твое счастье. И то, что болеешь, – повезло.

Приходила мама. Жаловалась на отца.

– Каждый вечер приводит кого-нибудь из приезжих агрономов и пьют – пока не свалятся... Грищенко приехал с женой; та все время плачет; рассказывает такие ужасы. А твой папочка с утра уже натощак за бутылку. Видел, какие глаза у него красные? По ночам не спит, плачет. Это ж какое-то безумие. Люди умирают с голода, а они пьют, как сапожники.

...После болезни я пришел к родителям обедать. У них был гость – Кондрат Петрович, агроном, член партии, участник Гражданской войны. Неулыбчивый шутник и замечательный рассказчик.

Мама возилась на кухне. Кондрат Петрович подвинул мне граненую стопку.

– Ты, сынку, животом хворал? Ну, значит, с перцем.

Отец был мрачен и сразу накинулся на меня.

– Все гибнет! Понимаешь? Нет хлеба на селе!.. Не в Цераб-коопе, не в городском ларьке, а на селе! Умирают от голода хлеборобы! Не босяки беспризорные, не американские безработные, а украинские хлеборобы умирают без хлеба! И это мой дорогой сынок помогал его отнимать. Головы надо было отнять у тех, кто приказывал. Сраной метлой гнать правителей, что Украину довели до голода.

– Не шуми, Зиновий, чего ты на сына кричишь? Он же не член Цека. Давай лучше выпьем за здоровье хлопца. От горилки мозги яснее. Тогда можно вести широкую дискуссию в узком кругу. Это правда: умирают от голода. Страшная правда, будь она проклята. Вот и мой двоюродный брат на Сумщине, и жинка его, и теща, и двое детей малых. Один только сын остался, семнадцатилетний, приехал до нас, – отходили. Рассказал: за неделю все поумирали. И еще дядя умер. Выпьем на спомин. Хай им земля легкая будет... На Украине никогда еще такого не было. В России голод случался. И в старое время, и в 1920 году на Волге. А мы всегда были с хлебом. Но только не спеши ты все хоронить, Зиновий. Мы, агрономы, должны думать не спешно, а медленно, повильно... Как зерно растет. Как солнце ходит. Нехай инженера, шофера быстро думают. Они коло быстрых машин работают. А мы коло земли. У нас другие темпы. У нас только кошки скоро женятся, оттого слепые родятся. А ты, сынку, ведь не инженер-шофер? Жаль, что не агроном. Но ты ж в ту газету не на всю жизнь запрягся? Философию хочешь учить? Хорошее дело. Был у нас Грицько Сковорода, философ-странник. Светлая голова и великая душа. Жаль, забывают его теперь ради тех гегелей-шмегелей. Нет, я не против, хай и тех учат. Только надо, как батько Тарас завещал: „и чужому научайтесь, и своего не цурайтесь". А мы не только цураемся, а еще и жмем своих так, аж кости трещат. В гражданскую как почистили села... Правда, начали немцы, а там и жовтоблакитные,

но потом и мы – червоные, и белые, и зеленые, и паны-поляки... Все приходили за хлебом. Все дядьков, как груши, трясли...

– Только червоные хуже всех. Ты что, не помнишь, как пели в селах: „Був царь и царица, булы хлиб и паляница, а настали коммунисты, и не стало чого исты". Тогда эти продразверстки проклятые хлеб и жизнь отнимали. А потом еще хуже.

– Преувеличиваешь, Зиновий, йий-богу, преувеличиваешь и даже перекручуешь. Вспомни, когда война кончилась, когда НЭП дали – как поднялось село? Как жито молодое после дождя. Хоть и полегло, а солнышком пригрело, еще крепче встает, золотом играет. Помнишь, как мы с тобой тогда на Волыни, на Подолье за буряки старались? Как села богатели! Сколько мы с тобой тогда горилки выпили? Добрый ставок, не меньше. Да и вот под этот борщ выпить надо. Ваши борщи, Софья Борисовна, я б на всеукраинскую выставку посылал. Сколько раз моей бабе наказывал ваш рецепт изучить. Так давайте за хозяйку!..

...Что теперь на селе делается, нелегко понять. Вот я селянин с деда-прадеда; я первый в роду учиться пошел, как с Красной Армии вернулся. И агрономическую науку вроде понимаю. Но классовую борьбу и мне бывает нелегко понять. Раньше установка была какая? Даешь культурных хозяев! Помнишь, Зиновий? Были с них даже герои Червонной армии, такие что и Перекоп брали, и Варшаву чуть-чуть не взяли. А потом на землю сели и сразу корни пустили, как дубы. Богатели! А кто за своей землей не дбал, тот был вечный незаможник. У него никакой чернозем не родил, только сорняком зарастал; никакая корова доиться не хотела. Зато он галдел, что его классовый враг зажимает, с его бедняцкого пота-крови жиреет... Да, про классовую борьбу много пишется. Но только не вся правда.

– Больше – брехня. Самая нахальная брехня. От ваших газет-брошюр стошнить может. Раньше троцкисты кричали: „Нажимай на кулака, закручивай гайки!" Как мы радовались, когда им по шапке дали! Когда везде объявили: „Лицом к деревне!" „Даешь смычку!" Но ведь это оказалось брехня! Бухарина и Рыкова – интеллигентных, понимающих вождей – выгнали, как мальчишек. А деревню грабить начали... Ты это понимаешь, редактор-философ? Три года уже грабите, хуже, чем все махновцы, чем все продотряды. „Раскулачили!" Тех самых культурных хозяев, на ком держалось село, в кулаки позаписывали

и „ликвидировали как класс". Это ваш научный социализм?! Одним декретом – целый класс. Раз-раз, и в Нарым. Ты, Кондрат, не разводи демагогию. Здесь не собрание ячейки. Чего ты не допонимаешь, если все ясно? Завели новое крепостное право обратно через 70 лет! А теперь ты можешь каждый день речи говорить, все стены плакатами оклеивать, но только на новой панщине никогда не будут селяне работать так, как на своей земле. Чем ты их заставишь? Наганом? Или агитацией: „Гните спины, не жалейте сил! Мировой пролетариат вам спасибо скажет!"? И это вы, материалисты, думаете, что люди могут ради завтрашнего „спасибо" сегодня жилы тянуть? Нет, колхозники никогда не будут настоящими хозяевами села. Но зато грабить колхозы – легче. Вот и выгребли весь хлеб. И вымирает село. Что ж тут недопонимать?

– Опять ты горячку порешь, Зиновий. По фактам правильно говоришь, но с выводами спешишь. „Крепостное право! Панщина! Грабеж!.." Надо ж отличать генеральную линию от перегибов. А ты, как пьяный пожарник, услыхал тревогу с каланчи, вскочил на тачанку с насосом и погоняет, а куда – не смотрит. И скачет не в ту сторону, где горит.

– Сам ты пьяный, Кондрат. А горит уже везде. Все села горят. Только насосов нет. Ни у нас с тобой, ни у тех вождей, кто декреты пишет, лозунги кидает. Для них же это только эксперимент. Ты что, не понимаешь? Ученые на лягушках, на собаках опыты делают. А эти научные социалисты на людях экспериментируют. На всем народе. А такие молокососы, как мой сынок, рады стараться. Свое здоровье кладут и чужого не жалеют. А ведь он в селе вырос. Знает, что пшено от пшеницы отличается. Он должен был бы уважать хлебороба. Должен знать цену и крестьянскому поту, и рукам мозолистым, и разуму. Да, да, разуму, не книжному, не газетному умничанью, а здоровому селянскому разуму. Но он прочел десяток брошюр, сотню газеток и, пожалуйста, уже готов учить и своего батьку агронома и всех селян, кто с деда-прадеда хозяева. Он их нахально учит, как лучше вести хозяйство. А его дружки, наверно, еще хуже! Новые паныри с комсомольскими билетами. Да, да, панычи, хоть и не из кадетских корпусов, не из пансионов. Но зато нахальнее. Городские пацаны селом командуют... Ну, пусть не пацаны, пусть рабочие, старые партийцы. Пусть они умеют паровозы делать, речи говорить, из пулемета стрелять...

Но ведь не знают они, когда и как пахать, боронить, сеять, полоть, косить. Ни из каких книг им не научиться тому, что ты, Кондрат, и твой батька, и твой дед уже с детства понимали и чувствовали, чему нас с тобой всю жизнь учат. Как земля живет, дышит, что такое первые росточки весной и первый дождь после жары, и как пахнет первая жменя из-под молотилки... Эти новые паны и паныни ничего такого не чувствуют, ничего не понимают. Но зато командуют, как никакой помещик, никакой исправник не посмел бы. Они-то все и натворили, все эти ячейки, райкомы, эмтээсы, комиссары, подкомиссары. Это же саранча! Хуже саранчи! Та нажрется и улетит или посдыхает...

– Опять спешишь, Зиновий, и опять не туда. Через главное перескакиваешь. Не одни городские товарищи виноваты. Не только центральная власть. В 27 году, когда села разбогатели, окрепли и когда троцкистов шуганули, грамотные дядьки как рассуждали? – „Наша взяла! Теперь мы в державе первыми будем!" Они старались поменьше продать государству, потому – цены твердые. До весны берегли хлеб, чтоб на базаре дороже стал. А когда с налогом поджали, они и хлеб прятали, и скотину резали. „Наше добро, что хочем, то с ним и делаем. Вы, городские, можете лапу сосать с вашими планами". Тогда и пошла вся коллективизация и ликвидация. Но только мы по-казацки взялись, нахрапом. Шашки вон! Даешь в атаку! Ну, и побили горшки, черепков накрошили... Но кто поправлял? Партия поправляла. Сталин статьи писал про головокружение.

– Писал, писал! А раньше кто приказывал? „Сплошная коллективизация на базе ликвидации..." Все один черт. Они там наверху шкодили, а на вас, на низовых, сваливали. Ты что – не соображаешь?

– Не согласный. Никак не согласный. Шкодили мы все. Вот я – агроном и член бюро райкома. Я тоже старался. Рапорты писал, в барабаны бил, в сурьмы играл. Всех дядьков в колхозы загнали. Всех поросят обобществлять начали. А поправили с центра. И свою ошибку, и наши перегибы. И в прошлом году вышло тоже вроде этого. Колхозы поокрепли. Однако работали ни шатко, ни валко. До колхозной жизни дядькам еще долго привыкать надо. А тут как раз декрет про хлебозаготовки, и планы снизили. Пообещали: кто выполнит, торгуй вольно. Кто подумал: будет обратно НЭП – тот стал хлеб прятать. А кто не поверил, тот только для себя сеял. Но хлеб-то ведь нужен.

Вот с колхозов и потянули, сколько можно и сколько нельзя. У единоличников хлеб в земле гниет, а они сами пухнут, умирают... Страшно получилось. Но кто поправляет? Обратно же партия. Павел Петрович Постышев правильную линию взял. Да все мы умнее стали. Голод – всем урок. Ох, жестокий урок...

– Только мертвые с могил не встанут. Те хлеборобы, кто поумирал и сегодня умирает. И еще завтра умирать будет. Те, кого уже не спасет ни твой Постышев и никакой чудотворец. А мы вот выпьем за помин их души и будем радоваться, что на костях новые уроки учим.

– Не надо, Зиновий, не на-адо! Не растравляй сердце! Прошу тебя, не плюй в душу... Не на-адо. Я правду сказал: не понимаю!.. Так что же мне теперь – вешаться или топиться?

Он рванул на груди гимнастерку. По крутым красным скулам побежали мелкие слезы. И голова стала клониться к столу, сероседая, густо-курчавая. Все ниже, ниже.

Мама испуганно всхлипнула.

– Боже мой, Боже мой, ну что вы все спорите? Ведь такое несчастье. Ну что ты пристал к Кондрату Петровичу? У него родные погибли. А ты лезешь с попреками, с политикой! Что, у тебя души нет? Сейчас же извинись. И перестаньте пить. Хоть бы сына пожалел. Левочка такую болезнь перенес. Он же еле ходит. А ты ему водки подливаешь. Кондрат Петрович, дорогой, пусть это будет ваше последнее горе. Вы должны жить для семьи, для детей. И пусть они вам будут здоровы. Станем надеяться на лучшее. Должно же когда-нибудь легче стать?

Отец обнял Кондрата. Они оба плакали пьяными слезами и клялись друг другу в братской любви...

Уже после двух стопок перцовки я ощутил во всем теле зыбкую, жаркую легкость. Кожа на голове запульсировала, будто под ней газированнная вода. Стал есть масло прямо ложкой – „для смазки”. Но все же разморился и от могучего маминого борща и от водки. Спор я слышал внятно, все понимал. Но говорить не решался. Сознавал, что хмелею и могу понести неведомо что.

Кондрат Петрович был для меня героем. А с отцом я часто спорил. Считал его добросовестным спецом, но ограниченным, неустойчивым обывателем, отягощенным старыми, эсеровскими предрассудками. Он, как и большинство его друзей-агрономов, раньше сочувствовал эсерам и украинским „боротьбистам”.

Однако с тех пор, как начался голод, когда во время болезни я все думал-передумывал виденное и слышанное, гнал непосильные мысли, слушал все новые страшные рассказы, – с тех пор я начал даже не сознавать, нет, а смутно чувствовать некую горькую правду в речах отца. Раньше они только раздражали.

Но вот Кондрат Петрович повторял то же, что и я всегда говорил. И отец повторял то же, что я не раз от него слышал. Но теперь все звучало по другому. И росло удушающее едкое чувство жестокой вины и вместе с тем – бессилия.

Когда спор внезапно сорвался в хмельные слезы, мне стало легче. И я обнимался с ними и говорил Кондрату Петровичу, как с детства уважаю его и люблю.

Выпили по самой последней. Мама перестала плакать и принесла чаю. А мы втроем пели „Ой, на гори, тай женци жнуть" и „Реве тай стогне Днипр широкий".

В конце января 1933 года П.П.Постышев был назначен взамен Терехова секретарем Харьковского обкома и вторым секретарем ЦК КП/б/У. Первым остался Коссиор. Но уже очень скоро именно Постышев оказался главным человеком на Украине. Ему писали прошения, жалобы, деловые и победные отчеты. К нему взывали о помощи, о нем сочиняли песни.

Он часто приезжал на заводы, в деревни. На митингах перед тысячами слушателей и на совещаниях с немногими участниками он держался одинаково безыскуственно просто. О нем рассказывали гарун-аль-рашидовские были и небылицы: он становился в очередь в продовольственных магазинах, в столовых, в банях и вместе с просителями сидел в приемных различных учреждений. Во время поездки по одному из районов он увидел отвратительные дороги. Секретарь райкома ехал с ним в машине. Постышев попросил секретаря выйти, что-то посмотреть, а затем сказал: „Прогуляйся-ка пешочком, научишься лучше заботиться о дорогах". И уехал.

В Харькове он созывал совещания домоуправов, садовников, дворников, продавцов и говорил то, чего раньше никто не говорил. Что необходимо улучшать быт.

Мы привыкли презирать быт: важно лишь общественное бытие. А он доказывал, что нужно заботиться не только о промфинпланах, но еще и о людях, украшать их жизнь. Все это было непривычно и радовало.

По предложению Постышева на заводах во многих цехах устроили кафе-кондитерские. Соевый кофе и соевые пирожные на сахарине продавали без карточек. Эти сласти и нарядные светлые столики на фоне темных прокопченных цехов казались нам живыми приметами социализма. Так же, как баллоны с бесплатной газированной водой, установленные в литейном и кузнечном цехах. Всех дворников Харькова обрядили в новую форму – синяя роба, синие каскетки, белые фартуки, белые рукавицы. На городской конференции Постышева торжественно-шутливо назвали „старшим дворником и садовником" Харькова.

С весны по всему городу начали сажать цветы и кустарники на каждом свободном клочке земли. Вдоль некоторых улиц высаживали взрослые клены и липы. Это представлялось необычайным достижением социалистического научного градостроительства. Тогда же сняли ограды и заборы у парков и садов, даже у самых малых, тех, что при домах. Их заменили низкими, ниже колен, „постышевскими загородками" из бетона или кирпичей. Зелень деревьев и кустов выплеснулась на улицы...

Постышев стал не только для меня героем, вождем, образцом настоящего большевика.

Когда писались эти воспоминания, я хотел возможно точнее восстановить свое тогдашнее восприятие людей и событий. О Постышеве я всегда вспоминал добром. Когда потускнели ореолы книжных героев, когда уже стало ясно, что не придется подражать ни Петру Великому, ни д'Артаньяну, ни Суворову, ни Шерлок Холмсу, неизбывная потребность в олицетворенных идеалах обратилась к революционерам, к *настоящим* большевикам. Такими стали для меня Котовский, Дзержинский, Орджоникидзе, Киров, Блюхер, Якир и, конечно, Постышев.

Когда в 1938 году я услыхал о его аресте, то сначала не верил, а потом думал, что он оказался жертвой провокаций, которые удалось осуществить хитроумным вражеским агентам, пролезшим в НКВД и повлиявшим на фанатика Ежова. Летом и осенью 1941 года на фронте мы вслух говорили о том, что первое поражение Гитлер нанес нам в пору „ежовщины".

После 1953 года я думал, что Постышев погиб именно потому, что был одним из последних ленинцев, был противоположен Сталину, Молотову, Кагановичу, Берии и всем им подоб-

ным, беспринципным властолюбцам, своекорыстным и жестоким. Такое представление подтверждали мои воспоминания: я видел его, разговаривал с ним, слушал его речи, читал его открытые письма.

А ведь я помнил, как Постышев „прорабатывал" Скрыпника за национализм и тот застрелился. Помнил, как жестоко поносил он Кулиша, Вишню, Курбаса, Эпика и других украинских писателей, художников, ученых, уверял, что они заговорщики, агенты фашизма.

Весной 1933 г. на областной конференции рабкоров, мы, делегаты ХПЗ, пришли в комнату за сценой, где отдыхали члены президиума, чтобы показать Постышеву проект резолюции по его докладу. Разговаривал он с нами приветливо, деловито; читал внимательно. И сказал:

– За ОснОву, мОжнО, кОнечнО. ОднакО, вОт этО уберите – насчет дОрОгОгО вОждя ПОстышева. Дурная этО манера в вОжди прОизвОдить. ТО ТерехОв был вОждь, а теперь и ПОстышев, и КОссиОр, и ПетрОвский... Всех величаете, в вОжди прОизвОдите. Не гОдится этО, тОварищи. Один тОлькО вОждь есть у нас в партии – тОварищ Сталин. И никаких других. ЭтО надО твь-ОрдО пОмнить.

Тогда я воспринял это поучение, как неподдельную скромность большевика. Но и много лет спустя, уже с отвращением и стыдом вспоминая годы сталинщины, Постышева я отделял от других сталинцев. Хотя знал, что на Украине „37-ой год начался в 33-ем", именно при Постышеве; знал, что прежде, чем самому погибнуть в застенке, он успел обречь на расправу тысячи людей и на Украине, и в Куйбышеве, куда его назначили секретарем обкома в конце 1937 года. За несколько дней до своего ареста, он громил „врагов народа"... Все это я знал. Помнил. И тем не менее, его приезд на Украину в 1933 году вспоминал как благотворное событие, а его речи, его письма – как беспримерно искренние, правдивые, разумные.

Но вот сорок лет спустя я читаю его „Письмо Харьковского обкома" 19 марта 1933 года. Брошюра в тридцать страниц. Что именно „требуется, чтобы покончить с позорным отставанием сельского хозяйства Харьковской области". Вопросы и выводы пронумерованы (в его прежних речах и статьях еще не было этой сталинской манеры – нумеровать). Однако язык еще нестандартный, непринужденно разговорный, лишь слегка орна-

ментированный митинговой риторикой. „Первый вопрос важнейший" – засыпка семян. Второй – вывоз семенной ссуды, предоставленной государством. Третий – подвоз горючего. Четвертый – ремонт тракторов. Пятый – как пополнять недостающие семенные фонды. „В селах есть еще спрятанный хлеб... Тому, кто помог открыть яму, давать определенный процент от обнаруженного хлеба". Шестой – о коне. „Самое опасное, что коня к севу не готовят". ...Восьмой – об использовании бросовых земель. „В сорока районах области по неполным данным 79624 га бросовых земель". (Это огромное пространство, видимо, в значительной степени образовали земли умерших или бежавших от голода).

И, наконец, десятый – „весьма серьезный вопрос".

„В отдельных колхозах есть отдельные дворы, которые голодают, а вы, дорогие товарищи, только скулите об этом, только просите помощи из области. Мы в области имеем небольшой резерв для того, чтобы оказывать продовольственную помощь нуждающимся в период сева, в период прополки свеклы, т.е. в апреле и мае. К тому же, этот резерв крайне ограничен. Сейчас мы этот резерв разбазаривать не намерены и не имеем права.

Почему вы не организуете взаимопомощь в самих колхозах, не изыскиваете источников на месте? Я никак не допускаю, чтобы колхоз не мо́г предотвратить два-три случая голодухи... Достаньте деньги, купите овощи, корову на мясо, изыщите некоторое количество хлеба у колхозников и организуйте помощь. В первую очередь побеспокойтесь о бригадирах. Нет ли среди них голодающих? Обязательно помогите – это наши командные кадры. Посмотрите, нет ли голодающих среди колхозников с большим количеством трудодней. Помогите им – это лучшая, наиболее честная и добросовестная часть колхозников, это основа колхоза".

Итак – „в отдельных колхозах отдельные дворы"! Но в то же время прямо сказано, что голодают и бригадиры, и лучшие колхозники (о рядовых, „не лучших" – речи нет).

...В Геническом районе единоличник, отец двух красноармейцев, хлебозаготовку выполнил на 80 процентов, но у него отняли корову, самого арестовали, довели семью до голода. В том же районе колхозник, имевший 940 трудодней (!!!), *„репрессиями доведен до голодухи"*, потому что весь колхоз

оказался на „черной доске". „В некоторых местах единоличников и колхозников арестовывают все кому не лень. Сплошь и рядом враг подставляет под аресты и репрессии хороших, честных тружеников".

Именно это письмо я вспоминал на протяжении сорока лет как пример отважной искренности. Помнил, что в нем прямо, черным по белому – „голодуха", „арестовывают честных тружеников". А ведь Сталин говорил только о „недостатках работы в деревне... в новых условиях обострившейся классовой борьбы".

19 февраля 1933 года Сталин произнес длинную речь на всесоюзном съезде колхозников-ударников. Он говорил о голоде 1918-1919 годов, „когда рабочим Ленинграда и Москвы в лучшие дни удавалось выдавать по восьмушке фунта черного хлеба и то наполовину со жмыхами*. И это продолжалось не месяц и не полгода, а целых два года. Но рабочие терпели и не унывали, ибо они знали, что придут лучшие времена... Сравните-ка ваши трудности и лишения с трудностями и лишениями, пережитыми рабочими, и вы увидите, что о них не стоит даже серьезно разговаривать".

В эти дни уже умирали сотни тысяч крестьян.

Умирали в пустеющих селах, на дорогах, на городских улицах. Уже голодали Украина, Кубань, Поволжье.

Но он утверждал, что об этом *не стоило „серьезно разговаривать"*.

И мы не разговаривали.

Не только потому, что уже опасно было сомневаться и тем более опасно критиковать речи Сталина. И не только потому, что одной из страшных примет массового голода было ощущение бессилия, обреченности. (Еще за два-три года до этого, в начальную пору коллективизации, в иных местах бунтовали. Но к весне 1933 года деревня была смертельно парализована).

Мы не возражали, убежденные, что бедствие произошло не столько по вине партии и государства, сколько из-за неизбежных „объективных" обстоятельств, что голод вызван со-

*Восьмушка – т.е. 50 граммов! Этой абсурдной брехни никто не исправил в последующих изданиях в течение двадцати лет так же, как и „досрочное переименование" Петрограда.

противлением самоубийственно-несознательных крестьян, вражескими происками и неопытностью, слабостью низовых работников.

В той же речи Сталин торжественно обещал „сделать всех колхозников зажиточными".

После этого все докладчики, ораторы, газетчики, лекторы, пропагандисты на разные лады повторяли его обещания. Похвалы вождю и посулы грядущих колхозных благ звучали в те же дни, когда умирали сотни, тысячи голодающих. Эта уныло-монотонная разноголосица должна была заглушить стоны и плач. Прорывать страшное безмолвие смерти...

А наш Павел Петрович говорил не так, как все, а по-своему, и, как нам казалось, говорил откровенно, правдиво.

Кем же он был в действительности? Когда произошел в нем тот роковой „переход количества в качество", который все нараставшее число обманов и жестоких беззаконий, творимых для торжества революции, для блага социалистического отечества, превращал в привычную лживость, в слепое изуверство?

Когда именно бескорыстное стремление поддерживать Сталина, чтобы сохранить единство партии, чтобы предотвратить опасность троцкистского бонапартизма, чтобы оттеснить честолюбивых сановников и косных партийных „стариков", переросло в безоговорочную холопскую покорность новому самодержцу, кровожадному параноику?

Ответить на эти вопросы по-настоящему я не могу.

В его речах и статьях за 1928-29 годы, в которых он сурово честил оппозиционеров, ни разу не упоминается имя Сталина; в 1930 году он иногда его сочувственно цитировал. Но с 1932-33 года нарастали число и накал восторженных эпитетов, а в 1937 году уже звучали ритуальные молитвословия.

Когда я выздоровел, то ездил в подшефные села уже только в короткие командировки, на несколько дней, на неделю.

...Кисло-серое туманное утро. Снег еще не сошел. На темных соломенных крышах белесые пятна и полосы. По обе стороны улицы, вдоль тынов, вдоль хат лежит снег, посеревший, в синеватых оспинах и подтеках. А посередине улицы он перемешан с буро-желтой глинистой грязью, то подтаивающей, то подмерзающей. Колеи и вовсе темные, хотя по селу мало кто ездит.

Тащатся двое саней. Их валко тянут понурые ребристые клячи. Бредут трое возчиков. Поверх шапок навязаны, как башлыки, не то куски дерюги, не то бабьи платки. Грязно-рыжие кафтаны туго перепоясаны тряпичными жгутами. Шагают, медленно переставляя ноги, завернутые в мешковину.

В одних санях лежат два продолговатых куля, накрытые мешком и рогожей. Другие – пусты.

Они минуют слепые хаты; окна забиты или заставлены досками. В других окна целы, но двери распахнуты и обвисли. Видно, что никто не живет.

Подваливают к хате с дымящей трубой. Старший возчик стучит в окно.

– У вас е?

– Ни, слава Богу, нема...

У следующей хаты тот же вопрос. Тот же ответ. И еще у одной.

Подъехали к хатенке с облезшей штукатуркой и бездымной трубой.

– Прыська же вчора живая була...

– Була. А сегодня, бачь, не топить.

Молодой возчик, закутанный по-стариковски, идет в хату. Лошади тянутся к тыну. Грызут прутья. Парень возвращается.

– Ще дыхае. На печи лежит. Дал ей воды.

Минуют еще два двора.

Большая хата с чистыми, недавно беленными стенами. И солома на крыше светлая, едва начала темнеть.

– У вас е?

Из-за окна слабый, бесслезный женский голос.

– Е. Тато померлы цю ночь.

– То несить...

– Сил нема. Я ж одна с детьми.

Возчики переглядываются. Идут втроем. Выносят на мешке худое тело. Лицо закрыто полотенцем.

Женщина прилонилась к косяку. Обвисло накинутый платок, угасший взгляд. Медленно крестится.

Тело кладут на вторые сани. Накрывают. Еще один продолговатый куль.

За селом кладбище. На краю у леса – длинный ров, наполовину засыпанный землей и снегом – братская могила. Без креста.

Председатель сельсовета в городском пальто и в старой буденновке вертит ручку телефона. У стола несколько активистов. И шефы из города. Курят. Молчат.

– Алле! Алле! Гражданочка, дайте райвыконком*. Та я уже целый час кручу. Тут динаму можно запустить от того телефона. Алле! Выконком? Примите сводку. Сегодня фуражной помощи роздано колхозникам... И еще индивидуальникам тоже... Давали муку и пшено. Печеного хлеба нема. По форме „Д" имеем сокращение. Сегодня вывезли пять. Еще двое есть такие, что, может, до завтра доживут... Что значит „много"? На той неделе куда больше было!.. Фельдшер приезжал, провел инструктаж актива, объяснил, как опухших кормить... Теперь ветеринара надо. Считай, все кони у нас висят. Из-под хвостов букеты – овод лезет. Мы с председателем колхоза и конюхи, кто поздоровше, голыми руками коням в жопы лезем, выгребаем того овода. Ремонт начали. Тут шефы хорошо подмогнули. Еще и еще напоминаю: семян у нас не хватит. Что в поставку забрали, что поели. Нужно и пшеницы и жита подкинуть. Там наша точная заявка лежит.

Потом председатель разговаривал с приезжими шефами. Повеселел:

– Обещают за неделю семена прислать.

Закурил папиросу. После махорочных самокруток она тошнотно сладковата. Но из вежливости он одобрительно причмокивает.

– Не повезло нашему селу! Можно сказать, не повезло. Хорошая у нас местность. И народ подходящий. Больше 90 процентов в колхозе. В прошлый год хорошо работали. И убрались хорошо. Пшеница 15 центнеров с гектара уродила. Хлебозаготовку выполнили и перевыполнили. Но по району – прорыв. И пошли нам встречные планы. Один, другой. На трудодень почти ничего не осталось. Полкило начислили, да и тех не выдали. И теперь каждый пацан видит, что это перегибы. А ведь еще месяц назад как было: вези хлеб или клади партбилет. Вот и получилась форма „Д". Кто поумирал, кто из села поутикал... Сколько всего, не скажу. Это, может, в районе знают. А нам не сосчитать, кто уехал и живой, а кто по дороге умер? Но в общем каждая третья хата пустая стоит. И в других тоже форма „Д"

*Райисполком.

была...*

Весной в сельских лавках и в колхозных кладовых раз-два в неделю выдавали пособие: мешочки муки, гороха, круп, консервы, иногда печеный хлеб.

В очередях стояли и сидели женщины, закутанные в платки поверх кожухов или плюшевых жакетов. Им все еще было холодно, даже в солнечные дни. Отечные лица, тусклые, будто незрячие глаза. Мужчин было меньше. Худые, сутулые, они казались более истощенными рядом с опухшими закутанными женщинами.

Пугала тишина этих очередей. И старые и молодые бабы разговаривали мало, слабыми голосами. Даже самые сварливые переругивались тихо и как-то бесстрастно.

Председатель сельсовета, очень худой, бледножелтый — ожившая мумия — старался бодриться, рассказывая шефам:

— На сегодняшний день имеем обратно улучшение. Ни вчера, ни завчера смертности не было. За всю ту неделю только четырех похоронили и то двое — от разных болезней. Застудились и вообще уже старые люди. А кто от недостатка питания — так уже совсем мало стали умирать. И даже можно сказать, некоторые больше от несознательности. Как стали помощь получать, как вышла первая травка, первая зелень, начали очень

* Исследователь, тщательно изучавший материалы советской статистики, утверждает, что в 1931-1934 годах погибли от голода и репрессий не менее шести миллионов человек. В 1932-1934 годах умерли два с половиной миллиона истощенных новорожденных. Население Украины с 1932 до 1938 года не увеличивалось, как за предшествующие годы, а сократилось на 1 миллион. По переписи 1927 года в СССР числилось 31200000 украинцев, а по переписи 1939 года (январь) только 28100000.

(М.Максудов. *Потери населения СССР в 1917-1959 г.г.* Журнал „XX век". Самиздат, 1976 г.).

Когда будут опубликованы те статистические данные, которые и поныне остаются секретными, это, вероятно, позволит точнее узнать, сколько именно людей погибло от голода в 1933 году.

Но и сегодня очевидно — их были *миллионы*!

сильно есть. А здоровье ж слабое. Надо помалу, обережно. Но есть такие, что они хоть дорослые дядьки, а хуже малых детей: как увидел борщ или кашу, хоть макитру, хоть ведро, пока все не съест – не отвалится. А потом у него кишки перевертываются не туда, куда надо. Ну вот как у коня, если клевера пережрет или холодной воды перепьет – живот горою и копыта откинул... Или, бывает, что батько получил свежий хлеб на всю семью – буханки полторы или две, а пока домой нес, все и сжевал. Дети голодные плачут, а он за живот хватается, криком кричит. А потом уже и не дышит. Вот так и помирают, не с голода, а через глупость. Но это все больше мужики. Бабы – те, можно сказать, сознательнее насчет питания. Или терпеливее. И, конечно, они детей больше жалеют. Бабы не так умирают...

Не так, но все же умирали и бабы. Еще и в мае, когда началась прополка овощей. Самая женская работа.

...Жаркий майский полдень. Полольщицы бредут по черным бороздам между рядами ярко зеленых молодых листов. Тяжело ступают. Медленно нагибаются. Еще медленнее разгибаются. Некоторые уже только ползут на четвереньках. Тускло темные узлы среди свежей веселой зелени.

Одна остановилась. Не то прилегла, не то присела. Через час кто-то заметил.

– Ой, лышенько, тетка Одарка, сдается, померли! А я думала, они отдыхают.

...Тело с трудом тащат на растянутых платках. Такие же грязно серые. Такие же безмолвные. Одна потихоньку плачет.

Но весной хоронили уже в отдельных могилах. И в гробах.

Умирали все реже. Во второй половине мая целыми неделями не было похорон.

Июньский день. В колхозный полевой стан приехала районная агитбригада. Парни в расшитых сорочках, в синих шароварах; девчата в венках с лентами, в еще более пестро вышитых сорочках, в разноцветно-многослойных юбках, в нарядных сапожках.

Обеденный перерыв. За дощатыми столами бабы хлебают из глиняных мисок густой кулеш. На очаге под навесом котлы. Пахучий пар вареного пшена.

Бабам жарко: они в белых платках, в светлых кофточках или в холщевых нижних сорочках. Поэтому еще темнее лица и руки, закопченные загаром. Отечных не видно. Почти все очень худые, задубевшие, усохшие, как старая кора на поленьях.

И уже не безмолвные. Хотя работали с восхода – „проверяли" свеклу, окучивали картошку, выпалывали сорняки на капустном поле. Молодые пересмеиваются, разглядывая нарядных гостей.

Те выстроились перед столом. Дирижер в пиджачке возглашает сипловатым тенором:

– В честь ударников социалистических полей наш хор исполнит народные песни.

...Дывлюсь я на нэбо
Тай думку гадаю...

Поют голосисто, дружно. И сразу слышно, что певцы не городские. Поют не округленно-мелодично, как на сценах, на эстрадах, а заводят высоко-высоко, протяжно и громко. Так поют в селах – на гулянках, на свадьбах.

Бабы оставили миски, отложили ложки. И застыли. Иные прислонились друг к другу, жмутся кучками.

И вдруг одна заплакала. И еще одна. Тихо плачут. Закрывают лица косынками.

В хоре заминка. Дирижер оглянулся. Шепнул. Тоненькая девушка в венке начала весело:

Ой, за гаем, гаем,
Гаем зелененьким...

Хор подхватил торопливо, залихватски:

Там орала*дивчинонька
Волыком чернэньким...

А бабы плачут. Еще одна. И еще одна. Сперва те, кто постарше, а там и молодые. И плачут уже в голос, навзрыд.

Орала, орала,
Втомылась гукаты,
Тай наняла козаченька
На скрипочку граты...

* Пахала.

Певцы начали сбиваться. Нарядные девчата-хористки утирают глаза и мокрые щеки. Дирижер оглядывается растерянно.

– Что ж это, товарищи-бабоньки? Что такое? Почему слезы? Кто ж это вас огорчил? Мы ж стараемся повеселее...

Бабий плач прорвало криком.

– То не вы, то не вы! Ой, люди добрые! То мы сами. Мы ж больше никогда не спиваем... Ой, когда ж мы только спивали! Мы те песни и во сне уже не слышим... Мы ж все только хоронили... Мы ж сами уже мертвые... Ой, мамочка моя родная, где твои косточки?.. Ой, деточки мои коханые, голубятки мои, я ж над вашими могилками не плакала, я ж вас чужому дала без гробов хоронить...

Закричали, запричитали еще одна, и еще.

Хористы сбились кучей. И несколько девушек в венках заплакали в голос.

Дирижер метнулся к бригадиру, который стоит в стороне, с возчиками, привезшими гостей. Мужчины дымят самокрутками, глядят в сторону. Повариха села на землю, закрыла лицо косынкой. Плечи дрожат.

Бригадир, широкий, почти квадратный, красновато загорелый, с многодневной, рыжей щетиной до скул, досадливо отмахнулся от дирижера.

– Да заспокойтесь вы, товарищ дорогой... Нехай бабы наплачутся... Слезы-то у них накипели... Теперь за всех плачут. Не мешайте. Выплачутся – легче будет.

Глава десятая

КОНЕЦ ЮНОСТИ

Молодость моя, моя чужая
молодость!
...Молодость моя, иди к другим.

Марина Цветаева

Философский, исторический и литературный факультеты Харьковского университета после 1933 года разместили в здании, из которого выехало ГПУ-НКВД. В подвалах оставались еще решетки на окнах и железные двери с волчками. Там, в бывших камерах, мы устроили типографию – наборный цех, печатный, склад бумаги. Редакция заняла большую сводчатую полутемную камеру, где и днем приходилось зажигать свет. Уже в первом семестре меня назначили ответственным секретарем. Редактором был доцент-физик, член университетского партбюро. Он преподавал, писал научные работы, недавно женился на красивой студентке, и поэтому был постоянно занят множеством внередакционных дел; явными заботами о здоровье жены и плохо скрываемой ревнивой тревогой. Тем больше приходилось работать мне. На заводе мы привыкли к штурмам и авралам ежедневной газеты, а листовки для танкового отдела и строителей выпускали не менее десятка в сутки. И работа в еженедельной унивеситетской многотиражке казалась поначалу просто развлечением. Авторы – студенты и преподаватели – были куда грамотнее заводских. Их статьи и заметки приходилось только сокращать. Проблемы возникали главным образом из-за соперничества факультетов. Физики и математики традиционно презирали краснобаев-гуманитариев. Они, а

также химики, биологи и географы занимались в старом здании на Университетской горке, куда мы ездили трамваем, и воспринимали их как беспокойных туземцев другого континента.

Иногда с утра, перед лекциями, почти в каждую перемену и обязательно после занятий я приходил в подвал верстать, держать корректуру, собирать очередной номер.

Прохладный, сыроватый сумрак бывшей камеры случалось возбуждал тревожные мысли: кто здесь сидел? Не отсюда ли уводили расстреливать?.. Я пытался представить себе, какие они, эти шпионы, петлюровские, белогвардейские заговорщики, фашистские агенты... Почему-то считалось, что оппозиционеров и спец-вредителей держат не в подвальных, а в „верхних" камерах, вроде той, в какой побывал и я в 1929 г. О пытках, избиениях я не думал. Это было немыслимо.

А ведь уже в 31-32 годах прошла пресловутая „золотая кампания". Ювелиров, часовщиков, зубных врачей, священников, нэпманов и всех, кто считался богатым, кто ездил когда-то за границу, вызывали в „экономотдел" ГПУ и предлагали добровольно сдать имеющееся у них золото, валюту и другие ценности. Взамен обещали „боны Торгсина". (В закрытых магазинах „Торговля с иностранцами", предшественниках нынешних сертификатных „Березок", продавали всякую редкостную снедь и продукты, которые были несравненно лучше получаемых по карточкам.)

Тех, кто отказывался, или давал меньше, чем должен был по мнению оперативников, арестовывали.

В битком набитых камерах нельзя было даже лечь. Полураздетые люди сидели „раскорякою". Горели жарко ослепляющие пятисотваттные лампы, и камеры были натоплены во все времена года. Кормили ржавыми селедками и не давали воды. Но каждого, кто соглашался отдать „утаенное" золото, немедленно отпускали и утешали: в анкетах на вопрос „был ли под судом и следствием", он может отвечать „нет", так как все, что с ним происходило – не арест, а лишь „временное административное задержание". Нашего соседа, немолодого бухгалтера, который до революции работал в банке, „задерживали" трижды или четырежды. Каждый раз его выкупали жена и родственники, приносившие золотые монеты. И каждый раз он встречал в камере знакомых, которых тоже вновь и вновь забирали, чтобы „выкачивать золотишко".

Мне было жаль незлобивого старика, а его рассказы о том, что с ним происходило, не вызывали сомнения. Многие люди, чьи родственники, знакомые, соседи побывали в таких камерах, рассказывали о том же — об удушливой тесноте, слепящем свете, пытке жарою и жаждой, о циничных вымогательствах чекистов — „золотоискателей".

— Не отдадите все, не скажете, где спрятали, так и помрете. А там мы возьмем вашу жену, пардон, вдову, или сирот или других родичей. Так неужели вам будет от этого легче лежать в могиле? Ведь они, может, даже не знают, где ваши схованки. Им придется мучиться уже совсем напрасно...

И сам я видел, как мерзли в сельских „холодных" крестьяне, не сдавшие хлебопоставок.

Все это были поганые, жестокие дела. Однако неизбежные. Ведь и хлеб и золото необходимы стране. А прятать драгоценности могли только своекорыстные, классово чуждые людишки. Конечно, случались ошибки; страдали и вовсе ни в чем не повинные. Это плохо. Такого следует избегать. Но из-за отдельных промахов нельзя же прекращать широкое наступление на фронтах пятилетки.

Нет, я не поддавался сомнениям и колебаниям. И добросовестно редактировал и сам сочинял статьи, репортажи, заметки о борьбе против вражеской идеологии и философии, в политэкономии, в истории; обличал „меньшевиствующий идеализм" Деборина, „механическую метафизику" Бухарина, „ползучий эмпиризм" Сарабьянова, примиренчество к „субъективистской" теории относительности Эйнштейна и т.д. и т.п.

Думал ли я о том, насколько справедливы были эти грозные обличения?

Если иногда и задумывался, то бесплодно.

...На фронте, в первые месяцы войны, читая трофейные газеты, журналы, военные документы и слушая немецкое радио, я понимал, что их сводки и корреспонденции часто куда правдивее наших. А их статьи про нас, показания военнопленных, перебежчиков и рассказы жителей оккупированных областей были и не только выдуманными и не слишком преувеличенными.

Все это я объяснял так: гитлеровцы хитроумно используют „малую правду" фактов, событий, обстоятельств, чтобы

пропагандировать величайшую ложь нацизма. А нам приходится из-за неблагоприятных условий скрытничать, а в иных случаях даже врать, отстаивая и утверждая нашу всемирно-историческую правду.

В годы войны и потом в тюрьме я рассуждал менее примитивно и менее цинично, чем в пору юношеского радикализма. Но понадобилось еще не меньше двух десятилетий, прежде чем я стал различать понятия *искренность* и *нравственность*. Искренним бывает и злодей-фанатик, когда его слова и поступки соответствуют его убеждениям. А нравственен лишь тот, кто постоянно сверяет свои убеждения с жизнью, с тем, куда ведут слова и поступки, определяемые его убеждениями (Достоевский).

И еще позднее начал я сознавать, что „нравственность человека лучше всего выражается в его отношении к слову" (Лев Толстой). „*Убийство правдивого слова...* было одним из самых черных злодейств, совершаемых десятилетиями" (Лидия Чуковская).

Поднимаясь из редакционно-типографского подвала наверх, я окунался в океан знаний. На лекциях и семинарах старался ничего не упустить. Записывал все возможно подробнее. Читал все, что было обязательным, все, что преподаватели называли „факультативным", не обязательным, выискивал и такие книги, которые вовсе не называли. И, разумеется, хвастался каждым подобным „встречным планом".

Профессор философии В.Чемоданов (брат московского лингвиста) доказывал, что Фалес, Демокрит и Аристотель – прямые предшественники марксистского материализма, что Спиноза был чистейшей воды материалистом и атеистом, а Гегель стал по-настоящему велик и гениален лишь после того, что Маркс и Энгельс перевернули его диалектику „с головы на ноги". Тогда как без этого он повинен во многих грехах, и Ленин справедливо писал на полях его сочинений: „врет, идеалистическая сволочь!"

Профессор математики Воробьев так понятно и увлекательно объяснял нам основы аналитической геометрии, дифференциального исчисления, интегрирования и теории вероятности, что мы прощали ему явно примиренческое отношение не только к старинным идеалистам Декарту, Ньютону, Лейбницу, но

и к „неисправимому махисту" Эйнштейну.

Политэкономию читал маленький подслеповатый лысый профессор, страстно влюбленный в „Капитал". Он говорил о нем вдохновенно и косноязычно, как говорят о женщине или о стихах. Меня он заразил этой влюбленностью. До глубокой ночи, не уставая, читал я и конспектировал; старался уследить за каждым движением властных мыслей, то плавно растекающихся до необозримой широты, то стремительно порывистых, круто поворачивающих молнийными зигзагами, то нагромождающих утомительные подробности, сложные умозрения, то вспыхивающих поэтической метафорой, шуткой или врастающих в зримо пластический образ. Главу о первоначальном накоплении читал и впрямь, как поэму.

Профессор истории, пожилая неулыбчивая „парт-тетя", говорила не столько о событиях и фактах, сколько о различных порочных концепциях и теориях. В лекциях по античной истории она прежде всего изобличала всяческие буржуазные, фашистские и „социал-фашистские" толкования, опровергала зловредного Каутского, который представлял раннее христианство источником социалистических и коммунистических идей.

Русскую историю мы учили, „прорабатывая" ошибочные суждения Плеханова, а позднее и Покровского, которого на предшествовавшей экзаменационной сессии полагали главным марксистским историком. И особенно яростно проклинали украинских „буржуазных националистов" – Грушевского, Яворского, Ефремова.

Семинар по истории вела молодая ассистентка, которую мы прозвали „бешеной". Она с неподдельной личной ненавистью поносила Мирабо, жирондистов, глубоко презирала оппортунистов Дантона и Демулена, снисходительно жалела Робеспьера и его сторонников, „ограниченных мелкобуржуазностью" и пылко восторгалась геберистами, бешеными и, конечно, Бабефом.

Лекции по литературе мы слушали на литфаке. Александр Иванович Белецкий был первым, кто объяснил мне, что вторая часть „Фауста" – не рифмованная образованность, а великолепная поэзия. Его лекции учили снова и снова перечитывать „Фауста" и стихи Гете, каждый раз находя в них все новые неожиданные клады.

Языковед профессор Булаховский насмешливо зло полемизировал с Марром, который тогда считался основателем и ли-

дером марксистской лингвистики. Но рассуждения Булаховского были и понятнее и интересней, чем тягостно вязкие статьи Марра – иные оказывались для меня почти непролазными. Я старался критически воспринимать подозрительные по идеализму уроки Булаховского, но покоряли его знания, остроумие, изящная точность мыслей. К тому же тогда казалось, что в языковедении не может быть серьезных политических уклонов.

Именно поэтому два года спустя в Москве я поступил уже в институт иностранных языков, надеясь, что, познавая языки и словесность других народов, буду полезен стране и мировой революции, без таких сделок с совестью, которые стали неизбежны для тех, кто занимался философией, политэкономией, новейшей историей, – особенно отечественной, – и журналистикой.

Но еще за год до этого решения, которое мне представлялось трагически смиренным отказом от юношеской мечты о революционной политической деятельности, я хотел изучать прежде всего философию, историю, политэкономию – т.е. приобретать знания, необходимые для участника (а, может быть, и одного из руководителей) грядущих войн и революций.

Впрочем, новую стоическую решимость облегчила давняя любовь к Шиллеру, Гете, Гейне, Байрону, Диккенсу, Гюго, Твэну и многим другим зарубежным поэтам и писателям. Мне не приходилось заставлять себя; корни этой науки никогда не казались мне горькими.

Летом 1934 года все военнообязанные студенты нашего курса стали на три месяца красноармейцами-бойцами 337-го стрелкового полка 80-й донбасской дивизии и проходили сбор в палаточном лагере на крутом берегу Азовского моря вблизи Мариуполя.

С не меньшим рвением, чем „Капитал", изучал я винтовку и пулемет, зубрил уставы. И тайно завидовал товарищам, которые быстрее меня бегали, дальше бросали гранату, лучше „работали" на спортивных снарядах, метче стреляли...

Командир моего отделения, тихий, но упрямый сельский паренек с литфака Грицько Гелеверя ежедневно в немногие свободные часы натаскивал отстающих – в том числе и меня – мы прыгали через „кобылу", швыряли деревянную гранату, утяжеленную свинчаткой, перебирались через отвесный забор,

выламывались на брусьях.

Кормили нас плохо. Трижды в день каша из лежалой перловки. В обед суп из нее же и клочки жесткой солонины. Хлеб с закальцем и чаще всего черствый.

Не хватало воды. Умываться бежали повзводно к морю. И весь день донимала жажда – наждачно шершавая, удушливая.

К вечеру мы уставали до чугунного изнеможения.

Требовалось неистовое усилие, чтобы после ужина протащиться три сотни шагов вниз к морю умыться. Тепловатая соленая вода освежала не надолго. Обратно в лагерь взбирались веселей, но вскоре выдыхались и после бесконечной вечерней поверки – каждая минута казалась часом – не дожидаясь милого сигнала отбоя, который расшифровывали: „спа-ать, спать, по пала-аткам!" – сваливались на нары, на комкастые соломенные тюфяки и засыпали блаженно, густо, прочно. Иных не будил даже внезапный дождь. Только наш заботливый неутомимый отделком просыпался, опускал задранные „полы" палатки и на утро посмеивался:

– Колы б не командир, то вы бы як немовляты в записанных постелях спали.

Не реже одного раза в неделю нас будили ночью „по тревоге".

В толчее тесной палатки нужно было стремительно одеться, обуться – немыслимая задача правильно намотать портянки! – и ничего не забыв, ни скатки, ни противогаза, ни фляги, ни подсумка, ни лопатки, мчаться к бараку, где стояли винтовки и ручной пулемет отделения. Взять именно свое личное оружие. Потом обязательно всем взводом, всей ротой бежать на лужайку за лагерем, где полагалось строиться по тревоге. Там стояли командиры из штаба полка с часами и отмечали, в каком порядке и насколько быстро мы собирались и строились. Сперва наше отделение, а потом и взвод, хитро усовершенствовали готовность к тревогам. Все снаряжение мы на ночь привязывали к скатанной шинели, портянки засовывали в карманы штанов. Едва раздавался тревожный горн и крики дневальных „в ружье!", мы вскакивали мгновенно; бежали за винтовками в тесный барак не все, а трое-четверо самых сноровистых. Каждый брал на себя и на товарища. Другие тем временем наматывали портянки. Потом сменяли на ходу „оруженосцев", чтобы те успели переобуться...

После отбоя очередной тревоги, командир полка перед

строем сказал:

– Сегодня первой была вторая рота студбата. Три минуты двадцать семь секунд. Объявляю благодарность всем бойцам и командирам роты.

Мы долго орали „ура" и я радовался и чувствовал, как радуются все, кто рядом, впереди, сзади – вокруг. Это была двойная радость – почти счастье от того, что мы первые, мы опередили, и от самого ощущения МЫ – от слитности, сопричастности, связанности всех нас – таких разных и таких похожих, одинаковых парней в пропотевших гимнастерках и тяжелых кирзовых сапогах. Мы, пахнувшие оружейным маслом и дешевыми папиросами, орущие дружно и лихо, были готовы хоть сейчас, сию минуту в любой поход, в смертельный бой...

Наша дивизия считалась самой „скороходной" в Красной Армии и нас ежедневно тренировали.

Утром после зарядки еще до завтрака весь полк пробегал не меньше двух километров. От лагеря до полигона – где стреляли боевыми патронами и штурмовали „полевой городок" было пять с лишним километров. Туда шли обычным шагом, но обратно „марш-броском". Ни в коем случае нельзя было бежать. Но „шире шаг и даешь темп, так, чтоб три шага в секунду!"

...Сердце колотится под самым кадыком. Горячий пот слепит, жжет. Сапоги и винтовка словно тяжелеют с каждым шагом. Рука, сжимающая ружейный ремень, затекает. И уже начинаешь ненавидеть командира роты – ему-то в хромовых сапожках легче; и никакого груза, кроме планшета; а как безжалостно частит: „Ать-два-три! Ать-два-три... Шире шаг!"

Но вот он словно услышал наши безмолвные проклятья: взял у одного скатку, еще и попрекнул: „Не умеете скатывать. Это ж лепешка какая-то. Согревающий компресс в жару". Сам надел неуклюжую скатку. У другого взял винтовку. Еще у кого-то противогаз, лопату, подсумок... И все на ходу, все частя „ать-два-три!" И вот уже шагает с полной выкладкой, веселый, красноірожий, белобрысый, голенастый...

Мы его очень любили, нашего комроты Малахова, бывшего шахтера, ставшего кадровым командиром. Он бегал быстрее всех нас, жонглировал пудовыми гирями, сто раз выжимался на турнике, был лучшим стрелком в дивизии, играл на баяне и отлично пел хрипловатым, но задушевным голосом. Неумо-

лимо требовательный строевик, он никогда не ругался, не орал, только хмурился, грозно стискивая толстогубый рот в прямую щель, и говорил нарочито медленно со злой железной внятностью. Но он всегда знал, кто в роте захворал, кто растер ноги, кто не успел поесть. И неукоснительно следил, чтоб лечили, перевязывали, кормили. Вечерами он часто приходил в „ленпалатку" – дощатую беседку, где на столах лежали газеты и журналы, можно было сыграть в шахматы или шашки – иногда приносил свой баян и распевал с нами; знал множество народных песен, шахтерских романсов, частушек и, разумеется, все революционные и армейские. В дивизии была своя песня, которая нам казалась нескладной, похожая на десятки других полковых и дивизионных маршей.

Артиллерия Донбасса
Мощь Союза крепко нам кует.
В смертный бой идти готова
За трудящийся народ.

Комроты очень гордился, когда возникла наша ротная песня, вскоре ставшая батальонной. Слова сочинил я, а мотив подбирал он и кто-то из бойцов:

Мариупольцам запомнится,
Как пыль под небо прет,
Когда быстрее конницы
Студбат в поход идет.

И если будет нужно,
Под вражеским огнем
Мы тем же шагом дружным
К Берлину подойдем.

„Широкий быстрый шаг" стал и нашим кошмаром, и нашей гордостью.

Командовал полком бывший кавалерист, черно-смуглый, кривоногий. В первый день он представился нам:

– Мое фамилие Ургатаури. Я сам с Кавказа, из такого народа, что вы даже не слышали. Очень, очень маленький народ; только двенадцать тысяч душ есть. Но все за Советскую власть. В гражданскую войну все наши джигиты – это значит мужчины – были красные конники.

Комполка (тогда еще не было офицерских званий), заметив небрежно заправленную койку, невыметенный мусор, говорил сопровождавшему его дежурному неизменно ровным голосом:

– Товарищ дежурный, запишем: командиру взвода мое замечание. И чтоб доложил, какое взыскание даст бойцу, который делает такую безобразию. Записали? А вы доложите командиру роты, чтобы наложил взыскание на дежурного – значит, на вас – за то, что показывали командиру полка такую безобразию, не догадались убрать раньше... Понятно? Ну, а если понятно, почему не повторили приказания? И еще доложите, что забыли повторить приказание. Но за это взыскания не надо, а пусть ему, командиру роты, будет грустно, а вам будет стыдно.

Он тоже иногда приходил в ленпалатку и поучал нас, все так же негромко, без тени улыбки, только чуть щурился, когда мы хохотали.

– Вы должны ходить лучше, чем кони-лошади. А почему? А потому, что кони-лошади не такие сознательные. Лошад не принимают в комсомол, не принимают в профсоюз. Лошад может быть очень умный, но не может быть студент и иметь политическую сознательность. А вы все студенты. Имеются члены профсоюза. Имеются многие члены Ленинского Комсомола. Значит, вы должны быть политически сознательные. Должны ходить быстрее, чем кони-лошади. Чтоб завсегда 130 шагов минута, и когда надо скоростной марш-бросок 170-180 шагов минута. Это есть ваша святая заповед. Красная Армия должна быть самая быстрая армия на весь мир. Наша дивизия самая быстрая дивизия на всю Красную Армию. Наш полк самый быстрый на вся дивизия. Значит, если вы будете самая быстрая рота на полк, вы будете самые быстрые бойцы на весь мир... Это будет очень большая приятность для ваши отец и мать и девушка...

В то лето я очень старался быть хорошим бойцом и очень хотел стать хорошим командиром. Ежедневно выкладывался на спортивной площадке; скрывал хвори и к концу лагерного сбора получил значок „Ворошиловского стрелка” и звание помкомвзвода – три треугольника в петлицах.

Но, вернувшись в Харьков, опять свалился с тяжелым приступом колихолицистита. И опять болезнь помогла образова-

нию. За несколько недель в постели я законспектировал два тома „Капитала", „Малую логику" Гегеля, зубрил математику, физику; выздоровев, сдал все сессии за второй курс и перескочил сразу на третий.

...Шла партийная чистка. Ежедневно в самой большой аудитории старого здания заседала комиссия. Каждый желающий мог придти, задавать вопросы, высказывать свое мнение о том, кто проходил чистку. Комиссия оглашала те письменные заявления, иногда и анонимные, которые считала нужным проверить публично. Большую часть нашей газеты стали занимать отчеты о ходе чистки и заметки о разоблаченных перерожденцах, обманщиках, скрывавших свое происхождение или былые грехи, очерки о достойных коммунистах, чьи заслуги и добродетели были подтверждены проверкой.

Когда чистили нашего редактора, он стоял на трибуне, смущенный, растерянный, а ему из зала задавали вопросы о неправильно поставленных отметках, о квартирной склоке, о каком-то родственнике – нэпмане. Потом вышел к трибуне сотрудник редакции городской газеты, который стал рассказывать, что наш редактор писал „политически ошибочные статьи", восхвалял каких-то недавно разоблаченных физиков-идеалистов и даже вовсе буржуазных, иностранных ученых.

Тогда и я попросил слова и стал защищать идеологическое целомудрие нашего редактора, доказывал, что его обвинитель злонамеренно искажает факты, выдает за восхваление простую информацию о зарубежных научных работах, своей демагогической болтовней о бдительности проповедует невежество...

На следующий день в редакционный подвал вошел некто в темносинем френче и сапогах, пожилой, уныло серьезный, то ли партработник районного масштаба, то ли преподаватель истории партии.

Он положил на стол несколько листов бумаги, исписанных крупным почерком с завитушками. (Одно время я увлекался графологией и считал, что такие завитушки свидетельствуют о тщеславии, самодовольстве, умственной ограниченности.)

– Это надо передовой в следующий номер.

– Передовые у нас пишет ответственный редактор, а следующий номер уже в машине.

– Ваш редактор еще не прошел чистку. Хотя у него и очень языкастые защитники, но комиссия еще не приняла решения. А этот материал нужно давать немедленно. Так что машину придержите.

Листки были заполнены стандартными фразами о партийности, бдительности, о благотворных последствиях чистки, призывами повышать, углублять, усиливать... Подпись – Блудов – мне ничего не говорила.

– Не вижу причин, чтобы останавливать машину, задерживать номер. В нем серьезные конкретные материалы о чистке, а тут одни общие фразы.

– Вы слишком много себе позволяете. Это партийные установки, а не фразы. А вы – наглый мальчишка, вы еще не знаете, с кем дело имеете, сопляк!

– Нет, знаю с кем. С набитым дураком...

И в полумраке было заметно, как взблеснули его тусклые маленькие глаза. Взблеснули злобно и удивленно.

– Ах, вы так разговариваете?! Ну вы еще пожалеете, очень пожалеете!

Он сунул листы в карман и ушел.

На следующий день я узнал, что это был новый ректор университета. Прежнего уже вычистили. Друзья из университетского комитета комсомола советовали мне пойти извиниться, либо даже лучше написать письмо: „Простите, не знал, закрутился, распсиховался"... Но я не хотел. Ведь он первый начал ругаться. И спор был не идеологический, не политический. Обыкновенная свара, как в трамвае, и к тому же наедине.

Наш редактор благополучно прошел чистку. И вскоре докладывал новому ректору о газете. Тот ничего ему не сказал о стычке со мной. Дал ту же самую статью. И она, разумеется, была напечатана. Мы сочли, что „инцидент исперчен".

Шли последние ноябрьские дни 1934 года.

Холодный сумрак нашего подвала стал мне привычен. Случалось, я назначал там свидания девушкам. Иные пугались:

– Ой, неужели тебе здесь не бывает страшно? А если бы двери запереть? Я бы, наверно, с ума сошла, если бы тут одна осталась.

Такие испуги – и настоящие и тем более нарочитые – при-

ятно ускоряли и усиливали близость.

Кто мог бы тогда предсказать, что холодное дыхание тюрьмы, которое я впервые ощутил весной 29-го года и так бездумно воспринимал в подвале университета, просквозит через все последующие годы, то неслышно, гнилостно расползаясь моровой язвой, то взвывая в удушливых смерчах, круша, губя, испепеляя миллионы жизней, что это мертвенно-холодное дыхание нагонит меня уже на фронте, за Вислой, и скует на много лет.

Убит Киров. После 2 декабря 1934 года газеты были начинены гневными и скорбными словами, проклятьями, заклинаниями, призывами к мести, к бдительности...

Правительственное постановление: судить террористов без права апелляции, немедленно расстреливать. Опубликованы списки расстрелянных „в порядке возмездия". В одном из них трое Крушельницких – дядя и двоюродные братья известного артиста Харьковского театра, политэмигранты из Польши; еще несколько знакомых имен западно-украинских коммунистов...

Это означало террор. Неужели опять массовый террор, как в 1918 году после убийств Урицкого и Володарского, после покушения на Ленина?

В мире вокруг нарастала тревога. Гитлеровцы были уже почти два года у власти. Окрепли. Японцы все глубже проникали в Китай. Война приближалась и с Запада и с Востока... А мы едва начали приходить в себя после голода. Только что ввели продажу „коммерческого" хлеба, без карточек. На ХПЗ еще не отладили выпуск новых типов БТ. Еще недостроили три больших цеха.

И вот, оказывалось, у нас в стране возникло новое контрреволюционное подполье. Хотят истребить наших вождей.

Значит, необходим террор.

Сообщение о том, что убийцу Кирова направляли зиновьевцы, поразило и испугало. Но я поверил. Еще и потому, что помнил одну из листовок оппозиции в феврали 29 года, перед высылкой Троцкого. Квадратик бумаги со слепым шрифтом: „Если товарища Троцкого попытаются убить, за него отомстят... Возлагаем личную ответственность за его безопасность на всех членов Политбюро – Сталина, Ворошилова, Молотова, Кагановича, Калинина, Кирова, Куйбышева, Рудзутака..."

И еще помнил Мосю Аршавского, который в марте 1929 года представился:

– Я из Харьковского молодежного центра большевиков-ленинцев.

Долговязый, тощий, коротко остриженный, он никогда не улыбался, брезгливо презирал „хлипких интеллигентиков”, „дрейфующих либералов”, „бумажные души”, „кабинетных вождей”. Так он честил Зиновьева, Каменева, Преображенского, Радека и других лидеров оппозиции.

– Лев Давыдыч с них получше будет. Раньше имел хватку. Но он тоже трепач. Буквоед. Теоретик. Вот Сапронов и Шляпников – это пролетарские вожди без понту. Я лично – „децист”. Мы, конечно, входим в объединенную ленинскую оппозицию. Но только мы – настоящее революционное ядро. Ты на што надеешься? На листовочки, брошюрочки? Што вы переговорите, переумничаете аппаратчиков и они вдруг отменят решения 15-го съезда? Сталину дадут по жопе, а Льва позовут обратно в Политбюро? Маком!.. Все эти писанины, разговорчики – для болота. Штоб с либералов хоть какую-нибудь поддержку иметь, штоб в армию проникнуть. Решать будет настоящая борьба: забастовки, вооружение рабочих. А там, если понадобится, и Кремль штурмовать будем. Революцию бумажками не делают...

Аршавского я считал диким фанатиком, возражал ему, спорил, ссылаясь на документы „ленинской оппозиции”, которая должна действовать только внутри партии и комсомола, и к беспартийным рабочим обращаться только от имени партии, как ее лучшая часть. Но от споров он отмахивался.

– Ни хрена ты не понимаешь. Книжная труха у тебя в башке.

Об Аршавском кое-кто говорил, что он, возможно, провокатор ГПУ.

– Корчит из себя ультралевого боевика. Считается подпольщик, а в комнате у него, прямо против дверей портрет Троцкого пришпилен. И держит дома полный чемодан литературы, жалеет отдавать. Все это подозрительно.

Его радикальные монологи отталкивали. Я не верил тем, кто называл его провокатором, но все же скрывал от него имена, адреса своих друзей и сочувствующих. Он только хмыкал.

— В конспирацию играешься? Ну, давай, давай.

Если бы он действительно оказался агентом ГПУ и его фанатизм — провокацией, я, возможно, лучше бы думал об оппозиции. Но в мае 29 года его арестовали и притом одного. Тогда уже не было больших „выемок". Чемодан с литературой — книгами, брошюрами, листовками забрали. Его приговорили к трем годам ссылки. Новый представитель „центра" Саша Богданов — молодой рабочий-металлист, сдержанный, немногословный — внешне прямая противоположность Мосе, — говорил о нем сочувственно:

— Толковый парень. Настоящий большевик. Горяч малость, но в общем и целом на правильной линии.

Меня эти речи убеждали, что от оппозиции надо уходить.

В январе 1935 года я думал, что если где-то там, за границей, на Троцкого напали фашистские провокаторы, то здесь его подпольные сторонники-фанатики вроде Моси, в отместку могли решиться убить Кирова.

Сообщили о расстреле Николаева и членов „ленинградского центра" — Катальнова и других. Зиновьева и Каменева судили; они каялись и признавали свою „моральную ответственность" (тогда еще не было речи ни о прямом соучастии, ни о подстрекательстве). Их проклинали все бывшие оппозиционеры. Радек доказывал неизбежность преступного вырождения любой антипартийной группы. Горький и Алексей Толстой писали о них с отвращением. Изо дня в день во всех газетах требовали мести, взывали к революционной бдительности рабочие, колхозники, студенты, старые большевики, писатели, артисты...

В справедливости этих призывов я не сомневался. И, вспоминая, что лет шесть назад я считал себя единомышленником тех, кто уже тогда готовился воевать против партии, против советской власти, я испытывал стыд и страх — мучительное сознание, что теперь и на меня могут смотреть с подозрением, с недоверием.

Надя уехала на зимние каникулы в Киев, к своим родителям, а я перебрался к моим, на мамины харчи.

Вечером внезапно пришли Дус Рубижанович и Лева Раев, тревожно возбужденные.

— Илья Фрид объявил голодовку. Его уволили из редак-

ции. Говорят: иди обратно в цех или совсем уматывайся. Петя Грубник сперва не хотел увольнять – „Мы ж его все знаем". Но в парткоме как драконы: „Это политическое дело. Кирова убили зиновьевцы... А ваш Фрид исключался за оппозицию. Даешь бдительность! Нехай идет обратно к станку, докажет"... А ведь это ж они сами его из цеха в редакцию тянули. Мы ж все помним: как слона уговаривали. Ну вот, Илья объявил голодовку и написал заявление в ЦК, лично Сталину. Заперся в комнате. Никого не пускает. Написал, что будет голодать, пока не разберут партийное дело, не восстановят правду. Мы к нему приходили – гонит.

Тоскливый ужас. Что делать? Куда идти? Ведь я тоже числюсь „бывшим оппозиционером". Если попытаюсь к нему, решат, что сговариваемся. И что советовать Дусу и Леве? Что они могут сделать? О такой голодовке – на воле, не в тюрьме, – я читал в автобиографическом романе Василенко „Карьера подпольщика". Голодал революционер, которого товарищи заподозрили в предательстве. Но в романе голодавший подпольщик убедил товарищей. А убедит ли Фрид? И как долго ждать ответа от Сталина? Дойдет ли до него письмо?

– В парткоме знают о голодовке?

Дус пожал плечами.

– Вроде нет. Пожалуй, никто на заводе не знает. Илья не верит, что у нас тут чего добиться можно. Сколько лет уже даром старается. А теперь еще такая мура с бдительностью...

Тогда я был уверен – где-то вычитал, – что человек умирает на девятый день „сухой" голодовки и на 20-й, если пьет воду. Неужели просто ждать, пока Илья умрет? Я позвонил Александрову; ведь он-то знал Фрида.

Ответил Малиновский.

– Вот как, голодовка! Странно, что мы до сих пор не знали. Хорошо, что вы позвонили. – (В отличие от Александрова он всем „выкал"). – Конечно же, надо помочь. Но это, мягко выражаясь, странный способ доказывать: голодовка! Не по-большевистски. Не по-нашему... Да, знаю я, знаю вашего Фрида; все его заслуги нам известны. Конечно, надо помочь.

Прошло несколько дней и я услышал, что арестован мой двоюродный брат Марк.

Меня вызвали прямо в райком комсомола. Парторг фа-

культета Кубланов и комсорг курса Антоновский говорили, что я – не разоружившийся троцкист, поддерживавший подпольные связи со своим двоюродным братом и с „троцкистскими центрами" на паровозном заводе и на других факультетах университета. Они называли множество фамилий. Некоторые из них мне были знакомы по газетам – из корреспонденций о разоблаченных двурушниках, – но большинство совсем не известны.

Секретарь райкома спрашивал Кубланова и Антоновского:

– А кто его дружки-приятели на факультете? Ага, это вы еще не установили? Про внешние связи вам, конечно, другие сигнализировали, а вы сами, значит, только ушами хлопали. Он же у вас отличник считается. Через курс прыгал. В редакцию многотиражки пролез. А кто ему помогал из членов комитета? Из преподавательского состава? Там же у вас наверняка целое гнездо. А он еще тут в райкоме, слышите, как доказывает за свою сознательность, что он всей душой, значит, за генеральную линию. Вроде мы не знаем, как все они, такие, значит, умеют говорить и писать за Советскую власть. Даешь! Ура! А делать, значит, совсем наоборот, тихой сапой. Самое нахальное двурушничество.

Он даже не спросил, хочет ли кто-нибудь из членов бюро райкома высказаться. Заседали уже несколько часов. В тот день рассматривали десятки персональных дел; главным образом исключали. В кабинете секретаря было душно. Тускло желтый свет люстры со стеклянной бахромой расплывался в сизом табачном дыму. Все сидели усталые, осовелые, сонные. Непрерывно курили. Секретарь тоже явно устал. Он смотрел на меня без неприязни и гнева, с безнадежным и словно брезгливым равнодушием. А ведь мы были давно знакомы. Раньше он работал на ХПЗ, был секретарем цеховой ячейки, членом заводского комитета, приходил к нам в редакцию. Однажды после субботника на строительстве Тракторного он и еще кто-то притащили в котлован водки, луку и соевых пряников. Мы все выпили. Обратно шли с песнями, с частушками. Запевали попеременно то он, то я. После этого вечера мы встречались как приятели. Когда он стал секретарем райкома и пришел на собрание в университет, то окликнул меня по-свойски: „Здорово,

паровозник! Значит, в науку подался? Грызешь гранит? Философ? Это хорошее дело. Значит, держи комсомольский паровозный курс в философии. А кто тут еще из наших есть?"

Но теперь, когда я пытался возражать на абсурдные, лживые обвинения, он оборвал:

– Хватит, наговорился. Все ясно. Мы вам не верим, и верить не будем. Значит, одно мнение – исключить. И еще добавить пункт, что, значит, не место в университете. И еще: отметить притупление бдительности факультетской организации. И пункт на дальнейшее: чтобы, значит, проверили связи. Кто ему подсоблял, на кого он мог влиять. А также сообщить в организацию паровозного завода, где его принимали. Кто за? Против нет? Воздержавшихся тоже.

И я вышел на вечернюю зимнюю улицу. Одинокий в многолюдной толчее. Встречавшие и обгонявшие разговаривали, смеялись. За освещенными окнами – розовыми, желтыми, разноцветными – в трамваях, в автобусах – всюду люди, занятые своими делами, бедами, радостями. Они близко, но никому нет до меня дела...

Подумал, что, вероятно, так должен чувствоать мнимый покойник, оцепеневший в летаргическом сне. Вокруг жизнь. Друзья, родные, знакомые. Хлопочут. Живут. А его несут в могилу и никто не может помешать...

Через несколько дней вернулась из Киева Надя. Как отнесутся на ее химическом факультете к моему исключению? Я знал, что она ни за что не отступится от меня. Но она не умела ни отругиваться, ни лавировать-дипломатничать. И совершенно не умела говорить неправду. Что, если и там есть наглые демагоги, вроде Кубланова?

К счастью, Надя не была комсомолкой и на химфаке не нашлось особенно бдительных активистов. Ее не тронули. Зато неожиданно возникло „дело" у моего брата Сани. Он учился в химико-технологическом институте на втором курсе. Недавно стал комсомольцем. Сосед и приятель наших родителей Иван Иванович Плисс, сын сельского кузнеца, в юности был членом боевой организации боротьбистов; после 1905 года попал на каторгу; в 17-м году стал большевиком, комиссарил в Красной Армии; одно время был заместителем наркома сельского

хозяйства Украины. В ту зиму он работал где-то в России, но семья еще оставалась в Харькове. Иван Иванович, его жена – тоже член партии, и сын – школьник очень хорошо относились к Сане. Их книжный шкаф стал главным источником его политического образования. Саня нашел там и сборник „За ленинизм против троцкизма", изданный в 1924 году, составленный из статой Зиновьева, Каменева и Сталина, дружно поносивших Троцкого – автора „Уроков Октября", как меньшевика, отступника, врага ленинизма и т.д. Этк книгу у Сани выпросил на одну ночь секретарь его комсомольской ячейки. То ли ее заметил кто-то из бдительных соседей в общежитии, то ли сам секретарь поспешил отличиться, но доброжелатель из комитета предупредил Саню, что на него заведено персональное дело о распространении троцкистко-зиновьевской литературы и что его обязательно будут спрашивать, у кого он достал эту книгу.

Не прошло и года с тех пор, как во время партийной чистки Ивану Ивановичу напоминали о „боротьбистском прошлом", после чего вынесли выговор по какому-то другому ничтожному поводу. Наши родители и его жена были в панике. Если станет известно, откуда взята опасная книга, это приведет к жестокой расправе с Иваном Ивановичем и с его женой.

Сане только что исполнилось двадцать лет. День рождения 14 февраля был очень печальным; гостей не звали; заседал тревожный семейный совет. Мы решили, что он не смеет ни при каких обстоятельствах даже упоминать об Иване Ивановиче. А ответ на вопрос „откуда книга" подсказывала судьба. Когда арестовали Марка, то у него забрали два мешка именно таких книг. Саня, хотя и не дружил с ним, как раньше я, но все же иногда заходил, советовался перед зачетами по диамату. Решено было: он скажет, что книгу взял у двоюродного брата, без спроса, не застав его дома. Не подозревал, что это вредная книга, ведь в ней статья товарища Сталина. Саня обещал ни на шаг не отступать от этой версии, ни с кем больше не откровенничать, забыть об Иване Ивановиче и не вспоминать меня. Если спросят, говорить: „Старший брат уже пять лет живет в семье жены, общих интересов у нас нет, мы с детства не ладим."

Это все было в общем правдой. Ссылка на Марка тоже не была выдумкой: ведь Саня у него действительно брал книги. Иван Иванович действительно ничего не знал о том, кто рылся в его шкафу.

Но Саня был растерян и подавлен. Он впервые встретился с предательством и отступничеством. И должен был врать, чтобы не накликать беду на других людей.

Его, разумеется, тоже исключили из комсомола и из института.

В те же дни я узнал, что арестован Илья Фрид.

На собрании заводского комитета комсомола Дус и Лева отказались его осудить и не хотели признать, что его голодовка была „антисоветской, контрреволюционной демонстрацией". Они упрямо твердили, что знают его как честного коммуниста, который никогда себя не жалел, готов отдать жизнь за партию, за Советскую власть.

Секретарь комитета Костя Трусов, принимавший всех нас в комсомол, был для нас образцом прямоты, справедливости, самозабвенного служения долгу. Он спросил:

– Разве вы не понимаете, что заступаетесь за человека, который уже повторно действует против партии? Мы все его знаем и мы его осудили. Он арестован органами ГПУ. Если чекисты решили его арестовать, значит, за дело. Как же вы можете его защищать?

Дус возразил:

– Мы его знаем лучше, чем все. Арест может быть ошибкой. Второпях погорячились. Сейчас такое время, повышенная бдительность. Именно потому, что мы знаем про эту голодовку, какие у нее причины, чего он хотел, мы считаем – нельзя вот так: раз-раз и все наоборот. Вчера был свой – друг-товарищ, а сегодня – враг-вредитель. Не могу я говорить комсомолу неправду, если я так не думаю.

– Так с кем же вы, с ними или с нами? – Костя говорил негромко, но внятно произносил каждое слово. – Вы должны выбрать.

– Нам надо подумать.

– А ты как считаешь?

Лева не мог отречься от друга.

– Я тоже так. Надо подумать.

Ночью их арестовали.

На следующее утро после заседания райкома, на котором меня исключили, в университете был вывешен приказ ректора:

„исключить из состава студентов как неразоружившегося троцкиста".

Я позвонил в заводскую редакцию. Петя Грубник говорил нервно:

– Исключили, говоришь? И ты уверен, что неправильно? А про Фрида уже знаешь? И про этих, Рубижановича и Раева, тоже? Ты же с ними дружил. Что значит „все дружили"? Каждый должен отвечать за себя. Я уже свои ошибки признал. Потерял бдительность, как шляпа. Верил Фриду и его дружкам. И тебе верил. Я же тебе рекомендацию в партию давал и характеристику подписывал. А тебя вот исключили из комсомола. Я не отрицаю, что верил. Если надо, дисциплинированно приму кару. Умел воровать – умей и ответ держать. А сейчас ты чего хочешь? Чтоб я опять за тебя писал? Ручался, да? Ну и что ж, что знаю? Если спросят, скажу, что знаю. Я и про Фрида и про Дуську знаю, я им тоже давал характеристики. Вот и получил строгача с занесением. А теперь еще и за тебя отвечать? Нет, ты скажи, что бы ты на моем месте делал? Скажи честно! Не знаешь? Ну, вот, и я не знаю. Пиши заявление в комсомольскую организацию. Пусть коллектив решает, какую тебе давать новую характеристику по случаю исключения. Или в партком напиши. От нас ты уже больше года, как ушел. А что ты это время делал, лучше знают те, кто тебя исключал.

Секретаря парткома Василевского, того самого, кто в 32-м году уговаривал Фрида перейти из цеха в редакцию, мы не долюбливали. Считали его типичным аппаратчиком – смекалистым, деловитым демагогом и карьеристом, готовым на любые сделки с совестью. Обращаться к нему было бесполезно. К Трусову я не хотел идти; он только что исключил Дуса и Леву, обрек их на арест. И я опять позвонил в заводское ГПУ, Александрову. Он говорил, как всегда, приветливо, спокойно, хотя в иных словах слышались новые, жесткие интонации.

– Чего же ты раньше не звонил, пока еще дело в райком не пошло? Вот как, значит, миновали ячейку. Поспешные там у вас товарищи. На устав не смотрят. И уже из университета наладили? А насчет здешних дел знаешь? Да, это ведь ты Малиновскому про голодовку позвонил? Что значит, не понимаешь ареста?! Решали, конечно, не мы. А те, кто его знает не хуже, чем ты, да я, а много лучше. Мы дали объективную характеристику. Но высшие органы расценили голодовку, как провокацию. Да

ты не ахай, не ахай. Ты понимаешь, что я тебе говорю? Ты уже не пацан и не барышня с ахами да охами. Все, что ты можешь сказать, называется субъективная точка зрения. Субъективно он, может быть, тебе кажется честнее самых честных; душой и телом за Советскую власть и хотел доказать, как лучше. Но объективно получилась антипартийная провокация. А при его прошлом – вдвойне вредная, даже опасная. В Гражданскую войну бывали такие, например, факты и в армии, и у нас в Чека: свой парень, крепкий большевик, лично честный, даже геройский, субъективно хотел, как лучше, а вышло наоборот – упустил вражину или гробанул своих. И его к стенке. Безо всякого. Не взирая ни на старые заслуги, ни на хорошие намерения. Вот так и теперь. По всей стране боевая тревога. А эти дружки Фрида вообразили себя умнее партии, умнее органов. И что делают? Лезут защищать оппозиционера, арестованного за антисоветскую провокацию. Как это можно расценивать? У тебя же у самого в прошлом пятно есть... Ну и что ж, что пацаном был? Другие пацаны злее стариков. И родича у тебя опять посадили. Так чего же ты хочешь? Чтоб за тебя заводская организация заступилась или ты, наоборот, за этих заступаться будешь? Ты слыхал, как они себя вели на собрании?..

Он спрашивал не слишком настойчиво, без подозрительного недоверия и „подлавливания". Отвечая, я говорил о Фриде, о Дусе, о Леве только хорошее. И старался говорить возможно более достоверно, убедительно. Напоминал о необычайной доброте Фрида, о его бескорыстии, скромности, о том, как он подбирал беспризорных детей; снова и снова повторял, что он – человек, не способный соврать, беспредельно искренний. Для вящей объективности несколько свысока говорил о его чудачествах, как он теряется в обществе женщин, не выносит матерной брани. О Дусе и Леве я сказал, что совершенно уверен: они – хорошие, честные парни, только политически неграмотные, интересуются главным образом футболом, девчатами, выпивкой. А Фрида они просто очень уважали, как старшего товарища и жалели, как доброго чудака.

Сначала мне даже показалось, что Александров слушает сочувственно. И я стал как бы подсказывать ему возможные защитные аргументы. Предложил, что сам все это напишу подробно. Он прервал резко:

– Этого еще недоставало: твоей писанины. Ты радуйся,

что нам все доподлинно известно. И тебя не спрашивают. Дело на все сто процентов ясное. Не то, могли бы и еще кой-кого привлечь. А ты ведь с ними компанию водил. И ты же не только футболом интересуешься. Ты должен за собой особенно строго следить. Мы тебя знаем. Но университетские товарищи, видишь, как лихо распорядились. И это безо всякого конкретного дела. А ты сообразил, что может быть, если полезешь в адвокаты? Ты что, газет не читаешь? Совсем заучился?

...И я испугался. Начал „отстраняться" – сказал, что уже почти два года не встречался с ними, что единственная встреча за последние месяцы была, когда они рассказали мне о голодовке и я сразу же стал звонить ему. Говорил, что из-за напряженной учебы – я ведь перешел с первого курса сразу на третий, – и общественной работы, – я ведь почти что один делал еженедельную университетскую многотиражку, – и из-за болезней, я вообще отдалился от всех старых заводских товарищей... Все это тоже было правдой „в общем". Но я старательно подчеркивал выгодную для меня правду.

Александров, должно быть, услышал мой испуг.

– На тебя у нас компромата нет. Это я, как раз, точно знаю. Был разговор в связи с этим делом. Но ты имей ввиду: „кто прошлое помянет, тому глаз вон. А кто забудет, тому оба долой!" Твое комсомольское дело сейчас пойдет в горком. Ты напиши им, чтобы запросили завод – организацию, которая тебя в комсомол принимала и на учебу послала. Я поговорю в парткоме, как член бюро. У нас без вины виноватых не должно быть. Это не по-советски. Но только ты сам будь аккуратней с разговорчиками. А то язык и дальше Киева довести может.

И я последовал его совету.

В горкоме комсомола мое дело не рассматривали, но завод запросили и потом все материалы передали в бюро обкома. Меня вызвали на заседание. Все было совсем по-иному, чем в райкоме. Неторопливо. Спокойно. Секретарь обкома Гриша Железный доложил коротко, что парткомитет и комитет комсомола паровозного завода „характеризуют положительно". Вот пишут „активно боролся на идеологическом фронте, также и с троцкизмом и с правым уклоном. Хорошо проявил себя в трудных условиях, в прорывах и на селе..."

Исключение отменили. Но вынесли мне выговор за при-

тупление политической бдительности. Ведь мой двоюродный брат был арестован, а я, хотя раньше его знал, как троцкиста, проглядел его деятельность в последние годы.

Ректор, не напоминая о нашей первой встрече, отказался восстановить меня в университете. Сослался на выговор и на то, что не сдана сессия, которая проходила как раз в те дни, когда я был исключен.

Пришлось апеллировать в Наркомпрос Украины и для этого поехать в Киев.

До середины мая я жил в Киеве, то у родственников, то у друзей, дольше всего у Олеси С. Еще в школе Олесю, лихую спортсменку, прозвали „девка-бек". В нее попеременно были влюблены два моих друга, некоторое время и я. Ее отец Иван Федотович С. до революции был подпольщиком, политкаторжанином, в Гражданскую войну членом ревкома, армейским комиссаром. Потом бывал секретарем разных горкомов и окружкомов. В 1934 году стал Наркомсобес. Все друзья Олеси его почитали. Ко мне он всегда относился хорошо: ему нравилось, что я увлеченно изучал политграмоту, историю, старался побольше узнавать о событиях и людях революции и гражданской войны. И все это не для зачетов, а для себя. Я рассказал Ивану Федотовичу о своих злоключениях. Он задал несколько вопросов, поглаживая серо-седые запорожские усы – „подковой".

– Добре. Я тебе помогу. Только потерпи. И сам никуда не суйся.

Он был приятелем Наркомпроса Затонского и уполномоченного НКВД-ОГПУ по Украине Балицкого.

Мне оставалось только ждать, пока он находил „подходящие условия", чтобы поговорить, а потом, чтобы напомнить. (Весной 1935 года отношения между старыми партийными товарищами, которые стали сановниками, наркомами, были уже достаточно усложнены престижными, номенклатурными соображениями, оглядками на внутрипартийные союзы и конфликты.)

Иван Федотович в конце концов добился: наркомпрос отменил мое исключение из университета. Помог он и Сане, его восстановил ЦК Комсомола Украины.

Подробно рассказывал я ему также о Фриде, Дусе и Леве; просил совета и помощи.

Но он возразил хмуро.

— Допускаю, что они — хорошие хлопцы. И этот твой Илья Фрид, что называется — щирая душа. Но очень уж мягкий у него характер. Христосик. А политическая борьба — жестокое дело. Его голодовка — вредная глупость. За такое панькаться не будут. И нельзя панькаться. Те хлопцы, которые за него против целой организации уперлись, может, даже еще вредней. В оппозицию играться вздумали. В такое время. Вот ты вчера за чаем нам докладывал про саарский плебисцит. Какой богатый край Гитлеру достался. И варшавские паны с ним уже дружки-приятели. И румыны, и прибалты в ту же сторону гнутся. А у нас тут черт-те-шо делается. Выстрел в Кирова — грозный сигнал. Очень грозный. Для нас оппозиции всегда поганое дело были. Ты же сам покоштувал того меду. Должен понимать. Теперь любая оппозиция — уже прямая контрреволюция! Никакой снисходительности быть не может. У Сталина крутой нрав. Но сейчас необходим именно такой вождь. Прекраснодушные слюнтяи, добренькие болтуны могут привести только к поражениям, к страшной катастрофе... Ты говоришь: эти хлопцы хотели хорошего, чтоб все по-честному. Один заграничный мудрец, — забыл я его прозвище, — сказал „благими намерениями вымощена дорога в пекло”. Вот они и вымостили себе дорожку в ДОПР. Мой совет и наказ тебе — не путайся в ихние дела. Дружба дружбой, но партия нам дороже всех друзей. Я взялся тебе помогать не за твои карие очи, а потому что знаю: ты дельный комсомолец, полезный партии и Советской державе. А если б ты такие же дурацкие штуки или вроде выкаблучивать стал, если б тебя за дело притянули, я бы и мизинцем не поддержал. А, может, и сам бы дал хорошего тумака. Кто бы там ни был, хоть брат, хоть сват, хоть мои дорогие дочки, — если пойдет против партии, — и знать не хочу.

В мае Сталин произнес речь о том, что „люди — самый ценный капитал”... что необходима чуткость и забота о человеке.

Вернувшись в Харьков, я узнал, что Марк Поляк и Фрид осуждены на пять лет лагерей каждый, а Дус и Лева — на три года.

В университете я на занятия не ходил, оформил восстановление, сдал сессию за третий курс и отчислился.

Отца перевели на работу в Москву и мы с Надей решили

ехать с ним.

Марк погиб на Колыме. Фрид погиб на Воркуте. Иван Федотович, Затонский и Балицкий были арестованы и погибли в 37-м году.

А Дус Рубижанович летом 1957 года приехал в Москву из Красноярска, нашел меня через редакцию московского журнала и назначил по телефону свиданье в сквере. Часа полтора мы сидели там на скамье. Он больше расспрашивал – о войне, о том, как я попал в тюрьму и в лагерь. Рассказал, что Лева Раев после лагеря и ссылки живет где-то на дальней периферии. Я звал его к себе домой, он держался отчужденно, почти неприязненно.

– Ладно, ладно, если будет время.

Не пришел и больше не звонил.

Тогда я подумал: это потому, что у него жизнь не задалась, не мог доучиться, работает фотографом, кормит большую семью, а во мне видит столичного пижона; счел это мизантропией гордого неудачника.

Я написал в красноярский адресный стол, узнал его адрес, послал большое письмо. Ответа не было. И сообразил: он не хотел и не мог простить. Возможно, подозревал и худшее. Ведь я отступился от них – от Фрида, от него, от Левы; не пытался их защищать. И не искал их родственников; не писал им; не посылал посылок. Я не сделал ничего дурного, но и ничем им не помог. От нескольких добрых отзывов в разговорах не могло быть толку. А ведь я знал, что они ни в чем не виновны. Знал, что они настоящие, советские, партийные, – никак не хуже меня, а Фрид и много лучше. И все же отступился от них из страха и по расчету: им не помочь, а мне опасно.

Однако тогда я и самому себе не позволил бы объяснять все так просто: „страх и расчет". Нет, я убеждал и тех ближайших друзей, от кого ничего не скрывал, что это определено высшей необходимостью.

К счастью, я все же был не всегда последователен в подобных обстоятельствах.

Когда погиб Иван Федотович, а его жену отправили в лагерь, большинство друзей Олеси и ее младшей сестры остались им верны. Все мы старались помочь им жить и учиться. Олеся стала инженером-электриком.

Когда в 1937 году в Киеве арестовали моего давнего друга, его отец приехал в Москву хлопотать и рассказал, что кроме всего прочего, сына обвиняют еще и в „троцкистских связях” со мной. Тогда я послал большое письмо прокурору. Писал, что мой друг всегда был приверженцем генеральной линии партии, не знал никаких колебаний и даже приврал, что именно он в 29-м году побудил меня порвать с троцкистами.

Его освободили в конце 39-го года – помиловали. Помог кратковременный отлив террора, наступивший после падения Ежова, а также ходатайства родственников и друзей. Но в этом случае я сознавал свою личную ответственность за судьбу невинного человека. Он не должен был страдать из-за меня. Тогда как о Марке его мать говорила, что арестован он за то, что переписывался со старыми товарищами – троцкистами, которые оставались в ссылке и в лагерях, посылал им деньги и книги. А Фрид, Дус и Лева попали в беду сами по себе.

Мне было мучительно вспоминать, что я им ничем не помог, но отступничества от друга детства я бы себе не простил...

Впрочем, этот и некоторые другие, подобные же добрые поступки были, в конечном счете, исключениями. А правилом оставалась неизменная преданность кумиру, в сотворении которого и я участвовал.

Наше столетие начинено такими кумирами больше, чем любое иное со времен Магомета. Наши прадеды чтили пророков, царей, полководцев, мыслителей; Петра, Наполеона, Бисмарка, Гарибальди, Руссо, Ницше... Но в них видели героев, законодателей, мудрецов, а не универсальных богоравных гениев, не вождей всего человечества – зачинателей новых „всемирно-исторических” эпох. Тогда как Муссолини, Гитлер, Сталин, Мао Цзе-дун становились уже именно кумирами. Их жрецы, служители и служки приписывали им сверхъестественные доблести, приносили им кровавые человеческие жертвы, стремились насаждать их людоедские вероучения на всех континентах. Для этого сочинялись и мифические генеалогии, учреждались посмертные культы мнимых предшественников – цезарей, императоров, героев, Маркса, Энгельса, Ленина...

Чумная зараза кумиротворчества расползается по земле, вспухает все новыми нарывами и чирьями, в новой мифологии „предтеч” – Хо Ши Мина и Че Гевары, в канонизации новых региональных идолов – Насера, Кастро, Ким Ир Сена, Иди Амина.

„И еще не весь развернут свиток, и не замкнут список палачей" (Волошин).

Потребность чтить живых богов — вождей, пророков, мессий — издревле присуща людям. И, вероятно, еще долго — если не всегда — будет рождать мифы и творить кумиров.

Только бы они в отличие от прежних не порождали смертоносной ненависти к инаковерующим, инакомыслящим, не требовали раболепного поклонения, не отучали думать — и, значит, сомневаться — не подавляли ни совести, ни слова.

От прошлого не уйти.

И поэтому надо вспоминать, вспоминать обо всем, что было с нами, с нашей страной, с миром. Ничего не скрывать, не укрывать. И заново обдумывать давние и недавние были. „Как в прошедшем грядущее зреет, так в грядущем прошлое тлеет" (Ахматова).

На это я и надеюсь. На целебные силы памяти, освобожденной от недобрых пристрастий — идеологических, сословных, этнических. Хочу верить, что память людей и народов можно очистить от лжи всех кумирен, от жестоких предрассудков, от инстинктов мести и безрассудного эгоизма — личного и сверхличного: партийного, церковного, националистического... И тогда наши дети и внуки постепенно обретут пока еще редкую способность извлекать уроки из прошлого.

История учит не доверять больше тем откровениям, утопиям, идеологиям, которые, суля всеобщее блаженство, возвещают один-единственно возможный, и потому для всех обязательный, путь к этому блаженству.

Вопреки чудовищному безумию, вопреки самоубийственно-гибельным силам, владеющим сегодня моей родиной и значительной частью земли, я надеюсь, что в будущем веке и мои соотечественники и все люди в мире будут жить лучше, разумнее, чем жили мы и наши предки.

В этой надежде для меня главный смысл жизни. Его питают не какие-либо сверхреальные божественные истоки и не мнимо-реальные кладези научного глубокомыслия, а простая вера в человека.

Человек возник во мгле миллионолетий. Он был жесток и милосерд, безрассуден и мудр, подл и благороден. Он возвестил: „Воздай за вражду благодеянием" (Лао Цзы); „Не при-

чиняй другим того, чего не хотел бы, чтобы причинили тебе" (Конфуций); „Любите врагов ваших... благотворите ненавидящим вас" (Матфей, *8, 44*); „...теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше" (Коринф. *13, 13*). Человек разрушал и творил, отчаивался и надеялся, губил и спасал...

Сегодня я убежден: никто не может предсказать и никто не вправе предписывать будущие пути человечества. Вслед за Владимиром Короленко я повторяю, „что *не сотвори себе кумира* – великая истина и что народа, как мы себе его часто представляем, единого и неразделимого, с одной физиономией, – нет. А есть миллионы людей, добрых и злых, высоких и низких, симпатичных и омерзительных. И в этой массе, – в это я глубоко верю, – все больше и больше распространяется добро и правда. И значит нужно служить этому добру и правде. Если при этом можно идти вместе с толпой (это тоже иногда бывает) – хорошо, а если придется остаться и одному, что делать. Совесть – единственный хозяин поступков, а кумиров не надо." (1893)

И для этого необходимо

...Отнюдь не забвение,
А прозрение вдаль.
И другое волнение
И другая печаль.*

1960-1977

*Давид Самойлов.